Юрий Трифонов

СТАРИК

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

СТАРИК
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Юрий Трифонов



Юрий Трифонов

СТАРИК

Роман

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Повесть

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1980

Р 2
Т 69

Проблематика творчества известного советского писателя лауреата Государственной премии СССР Юрия Трифонова созвучна тем нравственно-этическим исканиям, которые ведутся в современной литературе.

Главный герой романа «Старик», Павел Евграфович Летунов, вспоминает прошлое, задаваясь вопросами: так ли жил, правильно ли жил, чему посвятил жизнь? Композиционные особенности романа позволили автору переносить действие романа из одного десятилетия в другое, из нашего времени во времена гражданской войны.

«Другая жизнь» — повесть о преодолении личного горя, о победе человеческой души над одиночеством.

ХУДОЖНИК ИРИНА ГУСЕВА

Т $\frac{70302-410}{083(02)-80}$ 131—81. 4702010200

СТАРИК

роман

В июле пришло письмо: «Дорогой Павел! Пишу тебе наугад, на редакцию журнала, где прочитала твою заметку про С. К., к сожалению, с опозданием на пять лет и совершенно случайно. Недавно была в Бердянске у приятельницы и там среди старых журналов, которые мы собрались сдавать ребятишкам как макулатуру, наткнулась на этот журнал, номер 3 за 1968 год, с твоей заметкой и маленьким портретом С. К. Ты не представляешь, дорогой Павел, что я испытала в ту минуту. Ведь я совершенно ничего не знала, я не знала, что ты жив, что С. К. теперь считается чуть ли не героем гражданской войны. Ты, может быть, меня забыл, но я тебя отлично помню и навсегда сохранила к тебе теплое чувство, нас так много связывает. Я, Ася Игумнова, твоя соседка по Васильевскому острову, по Пятнадцатой линии, а ты, Павлик, очень дружил с Владимиром, он жил в нашей семье, мой двоюродный брат, его зарубили красновцы зимой девятнадцатого года в станице Михайлинской. Я едва выжила. Ты, наверное, помнишь. Меня спас Сергей Кириллович. Ты был писарем или ординарцем в ревкоме, где командовал какой-то твой родственник, а я была машинисткой в штабе корпуса Сергея Кирилловича. Мне было тогда восемнадцать, тебе столько же или немного меньше. Я помню, что мы все трое — ты, я и Владимир — ходили в пригодинскую школу в один класс, у меня был еще старший брат Алексей, студент, он воевал на стороне корниловцев, а я очень мучилась, не знала, как мне быть. Владимир был моим первым мужем. Мама прокляла его и меня после того, как Алексей был убит. Потом я стала женой Сергея Кирилловича Мигулина, очень его любила, он вернул мне жизнь, но это длилось всего несколько месяцев, и в мае случилась известная тебе трагедия. Милый Павел, в моей жизни было много страданий, но я сейчас не стану тебе писать, потому что не знаю, получишь ли ты письмо, жив ли ты и здоров и захочешь ли со мной пе-

реписываться. Я бы очень хотела тебя увидеть под конец жизни, никого не осталось от тех времен, братья погибли, отец умер в Ростове от тифа. А мама с сестрой Варей и Вариным мужем уехали в двадцать первом году в Болгарию, потом во Францию. О них ничего не знаю. Я счастлива, что с такого замечательного человека, как С К, теперь снято позорное клеймо, которому я никогда не верила. Мне ничего не сообщали, потому что никто не знает, что я была его женой и родила от него сына. Даже мои родные не знали. Не понимаю, отчего я тебе так откровенно пишу? Твоя заметка меня расстроила. Я все годы была как каменная, Не понимаю, почему написал именно ты. Неужели никого нет? Я давно не Игумнова, не Мигулина, я Нестеренко, по мужу, Нестеренко Георгию Федоровичу, с 1924 года, когда вышла за него замуж. Георгий Федорович был военным инженером, мы без конца ездили по стране, были на Дальнем Востоке, в Монголии, он погиб в Ленинграде, в блокаду. Сына моего любил, как родного. Сын умер три года назад от болезни крови. Я живу недалеко от Москвы, в поселке городского типа Клюквино, здесь большой институт, где мой внук работает. И его мать работает здесь же. Ехать из Москвы несложно: поездом до Серпухова, потом минут сорок автобусом. Я бы мечтала тебя увидеть, дорогой Павел! Когда-то не могла тебя видеть. Но это было недолго. Дай бог, чтоб ты был жив и здоров. Иногда по ночам — особенно в последнее время, когда стала старухой — вижу во сне нашу улицу на Васильевском острове, наш трехэтажный дом с граненым выступом, где было что-то вроде чердака и где мы прятались иногда от взрослых. На жизнь я не жалуюсь, хотя было много тяжелого. Павел, ответь, пускай двумя строчками. Обнимаю тебя. Твой старый друг Ася. Анна Константиновна Нестеренко.

P. S. Мне семьдесят три года, я совершенно седая, тощая и, конечно, больная. Хожу с трудом, но по дому делаю всю работу, потому что найти помощницу очень трудно. Посылаю на всякий случай фотографию внука и его жены Светланы, которая выглядит здесь гораздо наивнее и юнее, чем на самом деле. Они женаты полтора года. Павел, я навсегда запомнила, что ты был первый, кто подошел ко мне тогда, в Михайлинской, запомнила твои слова, твое лицо — все думали, что я без сознания, но я видела и слышала, только ничего не чувст-

вовала, конечно. Павел, прости меня, старуху, и откликнись».

Павел Евграфович вертел фотографию, смотрел на пучеглазого молодого человека с бородкой, не видя, не понимая, а лишь ощущая, что нахлынуло наподобие сердечного приступа — беспокойство, озноб, удушливая и теснящая грудь память из глубочайших глубин — и от этого некоторый страх. Бывало, ночью уговаривал себя в мыслях: «Успокойся, тебе уже лучше, значительно лучше, боль проходит, проходит». И проходило. Так и теперь: «Ничего особенного, обыкновенное письмо, волноваться не следует. Подумаешь, не виделись пятьдесят пять лет!»

Асю Игумнову вспомнил сразу. И Пятнадцатую линию, дом с граненым выступом, ворота из железных прутьев. Вдруг обрадовался — пойти рассказать детям! Ведь интересно — через пятьдесят пять лет. Но тотчас сообразил, что рассказывать нельзя, потому что поругались. Вчера тяжело и обидно ругались, опять натолкнулся на непонимание, нет, не то — все понимают, но делают вопреки пониманию. Того хуже, недомыслие. Недочувствие. Как будто других кровей. Рассказывать неохота ни Руське, ни Вере, ни свояченице, никому. Была бы Галя жива.

Он взял письмо, еще раз прочитал, опять заколотилось сердце, и — поскорее в ящик стола поглубже, под бумаги. Вчера затеялся гнусный практический разговор. И странно: Вера и Руська, такие разные, спорящие всегда обо всем, тут мгновенно сошлись. И с какой злобой набрасывались, какие аргументы беспощадные выдвигали. Вера сказала: «Надоело наше вечное блаженное нищенство. Почему мы должны жить хуже всех, теснее всех, жалчее всех?» Руська грозил и пальцем тряс: «Имей в виду, на твоей совести будет грех. Ты о душевном покое думаешь, а не о внуках. А ведь им жить, не нам с тобой». Что-то о старческом эгоизме, несправедливое, отвратительное. Такой дурак, такой безжалостный. Нет, простить нельзя. Вчера рукой махнул и ушел, потому что говорить бесполезно. Ошибка, ошибка! Не вчера было, а позавчера. Вчера пустой день. Ни с кем не разговаривал, сидел наверху, в комнатке над верандой, временно свободной, потому что свояченица уехала в Москву получать пенсию и показаться врачам, и составлял ответ Гроздову П. Ф., жителю Майкопа, который

в длинном безграмотном письме утверждал архиглупость — будто станица Кашкинская взята в январе 1920 года, хотя всем ведомо, что это произошло в феврале, а именно 3 февраля. Письмо переслали из Совета ветеранов. Отвечать было трудно, мучился, подбирал слова, а голова-то неспокойная и сердце болит из-за дураков, самые простые слова пропадали. Вера поднималась, стучала сердито и с этаким вызовом: «В чем дело? Почему ты не отзываешься? Нарочно нас нервируешь? Иди чай пить». Вот еще вздор — нарочно их нервировать. Как будто не знают, что он недослышит.

А все оттого, что не согласился исполнять их приказ: поговорить с председателем правления насчет этого несчастного домика Аграфены Лукиничны. Но ведь не мог, не мог, окончательно и бесповоротно не мог. Как бы он мог? Против Полины Карловны? Против памяти Гали? Им кажется, если матери нет в живых, значит, и совести ее нет. И все с нуля начинается. Ан нет, совесть Гали существует, еще не исчезла, пока он в этом мире есть. Исчезнет, конечно, и скоро, тогда делайте что хотите.

Накаляясь обидой и вдруг забыв про письмо от Аси, Павел Евграфович спустился ветхой лесенкой вниз, намереваясь взять на кухне судки, чтобы идти в санаторий. Было несколько рановато. Обеды отпускали с двенадцати. Но он любил идти не спеша, посиживать на берегу на скамейках и приходить на кухню первым, чтоб не томиться в очереди. Очередь тут была совсем не та, что в городе в «Диете» или в продовольственном. Все только чем-то хвалились или на что-то жаловались. Павел Евграфович взял чисто вымытые судки, лежавшие в разобранном виде на окне, на солнцепеке для просушки — все-таки Валентина молодец, ссоры не ссоры, а она свое дело знает,— собрал их, взял бидончик для молока и вышел на веранду, где было много народа.

По случаю воскресенья все съехались: Руська, Вера со своим Николаем Эрастовичем, какая-то их знакомая, коротышка в сарафанчике, появившаяся вечером накануне, ну и Гарик, его друг Петька, и Виктор был тут же, и Валентина шныряла туда-сюда — с веранды на кухню, из кухни на веранду. Кто уже позавтракал, кто допивал чай, а Гарик с Петькой на краю стола, сдвинув в сторону посуду, играли в шахматы. Павел Евграфович привык к тому, что его не ждали с едой, да и вообще

никто никого не ждал, все шло враздробь. Валентина кормила своих, то есть Руслана и Гарика. Верочка питалась вроде бы самостоятельно с Николаем Эрастовичем, когда тот приезжал, а если его не было, то вроде бы со свояченицей, теткой Любой. Мюда и Виктор, которые прикатывали частенько, хотя их никто не звал, питались вроде бы с Верочкой, всегда привозили ей сласти. Ну, а Павел Евграфович обедал то с теми, то с другими, а то и один — тем, что приносил из санатория. Но иногда все садились за большой стол вместе и получалась вовсе неразбериха. Хотя в прежние времена так и было — вместе. При жизни Гали.

А умерла Галя — будто выпала чека, колеса болтаются вразнотык, вот-вот и ось полетит... Пускай! Павел Евграфович не имел ни сил, ни охоты приводить телегу в порядок, да и не приведешь теперь. Глухо, будто сквозь слой воды, доходили до его сознания голоса и зовы детей, внуков, в жизни которых что-то происходило, но Павел Евграфович не прислушивался. Кое-чего он совсем не знал, кое о чем догадывался: например, о том, что у Руслана опять появилась женщина, Валентина страдает, может быть, разойдутся, и о том, что Верочка чем-то больна и нужно, чтобы она оставила работу и начала лечиться. А чем больна Верочка, Павел Евграфович не знал, боялся узнавать и не понимал, что́ бы он стал делать, узнав, потому что всем этим занималась Галя. Вот и теперь — собрались на веранде, толкутся, шумят, спорят, а о чем? Наверно, о какой-нибудь ерунде, по телевизору посмотрели. Тот актер хорош, этот нехорош — вот и спор. И могут этак полдня языками молоть, даром что воскресенье. Нет, прислушался и разобрал: о чем-то будто другом. Об Иване Грозном, что ли. На историческую тему. Да им все едино, лишь бы гром, спор, лишь бы свое «я» показать.

Особенно злой спорщик, конечно, Руслан, и всегда он то с сестрой схлестывается, то с занудливым Николаем Эрастовичем, которого не поймешь: поистине святоша, а значит, вырос, да ума не вынес или же притворяется, зачем-то хитрит. Этот Эрастович не очень-то Павлу Евграфовичу нравился, даже не потому, что у Верочки с ним счастья нет и, видать, не будет — семь лет дело тянется, все на той же точке,— а потому, что мужик какой-то мороченый, непонятный. Как будто образованный человек, с Верочкой в институте, а насчет библии, икон,

церковных праздников и тому подобной муры рассуждает, как богомольный старец.

— Папа, ты хочешь есть? Ты еще не завтракал? — спросила Вера, бросив на отца разгоряченный, но совершенно пустой, невидящий взгляд.

Павел Евграфович, не отвечая, а только рукой показав: «Не беспокойся и не мешай разговору!» — сел к столу, придвинул к себе блюдце с чашкой. Верно, чайку захотелось. За столом, между тем, кипела баталия: Николай Эрастович частым, гнусливым говором сыпал свое, Вера ему, конечно, подпевала в большом возбуждении — и все насчет Ивана Грозного, как же их проняло! — а Руслан за что-то их ужасно корил, и пальцем в них тыкал, и гремел оглушающим, митинговым голосом, напомнившим старые времена. Впрочем, всегда орал в споре. То, что раньше называлось: брал на глотку. Павел Евграфович давно зарекся с ним спорить. Ну его к богу в рай. Только давление поднимать.

— Времена были адские, жестокие, поглядите на Европу, на мир... А религиозные войны во Франции? Избиение гугенотов? А что творили испанцы в Америке?

— Оправдываете изувера! Садиста, черта! Сексуального маньяка! — орал Руслан, вскидываясь из-за стола и норовя своей здоровенной размахивающей рукой приблизиться к лицу Николая Эрастовича; видно было, что пито уже с утра.— Времена, времена! Какие, к черту? Возрождение, Микеланджело, Лютер...

— Братцы, мы отклонились от темы. Мы говорили о Достоевском...— пропищала коротышка в сарафанчике.

— Нельзя же помнить лишь зло — казни, изуверства... Ваш Белинский называл его необыкновенным человеком...

— Белинский ваш! Заберите его себе!

— А расширение границ? Казань, Астрахань?

— Да не нужны мне даром! Что мне это расширение границ? На крови да на утопленниках?

— Карла никто не называет злодеем, хотя Варфоломеевская ночь и Новгород — почти одно время, а русский царь — это уж, конечно, страшилище.

— Братцы, мы подошли к царю Ивану от «все дозволено». Но «все дозволено» — если нет бога...

— Царь Иван сделал бесконечно много для России! — тонким голосом прокричал Николай Эрастович.

Его лицо стало каменным и темным от прилива крови. И чего так разволновались из-за царя? Вот и Руслан вспылил, побагровел и ручищу вознес, будто приготовился предать анафеме.

— Молчать! Вам кол по истории, товарищ кандидат наук! Царь Иван разорвал Россию надвое и развратил всех: одних сделал палачами, других жертвами... Ах, да что говорить! Когда напал Девлет-Гирей и надо было... надо было...— Тут Руслан вдруг поник, опустился на стул и слабым, задушенным голосом закончил: — Опричники, сволочи, и воевать-то не умели... Откуда им?.. И сам сбежал, царь называется... Отдал нас на поругание, спалили Москву поганые...— Еще что-то бубнил невнятное, вытирая ладонью щеки, бороду. Ну, конечно, слезы. Когда выпивал, становился безобразно слезлив.

Павел Евграфович смотрел на сына с тоской и тайной брезгливостью. Одно хорошо: Галя не видит. Пять лет назад, когда Галя еще была с ними, он этак не выкамаривал. Вдруг Руслан вскочил и опрометью, будто его срочно позвали, бросился в комнаты. Внутри дома что-то грохнуло с треском. Это он дверью лупанул. Вера вздрогнула. Гарик, игравший в шахматы, сказал: «Во папа дает!» А Валентина спокойно продолжала убирать посуду, будто ничего не слышала. И Павел Евграфович подумал о ней с горечью и сердито, это была не его горечь, а Галина, которую он вдруг почувствовал: нет, подумал, не бережет, не любит, и значит, не годится. Ей главное — удержать. Хоть пьяного, инвалида, какого угодно развалюху, лишь бы с ней. Вот и допускает до такого свинства, еще и сама способствует, потому что человек, лишенный воли, никуда не уйдет. Это она понимает, хитрая женщина. А что можно сделать? Галя могла бы, а он нет, не умеет. Никогда не умел. Теперь уже все на излете. Уже и детей жизнь на излете. Но за этим привычным и грустным, что было тенью его мыслей в последние годы, невнятно теплилось что-то, какой-то нечаянный, издалека, согрев. Не сразу догадался, что это письмо от Аси. Захотелось тихо уйти, чтобы подумать наедине, вспомнить подробно и хорошо, и он сделал движение — наклонился корпусом вперед, чтобы встать со стула,— но Вера остановила:

— Папа, я тебя забыла познакомить с моей приятельницей, Инной Александровной. Она юрист, работает

в юридической консультации. Кстати, может дать ряд полезных советов... без очереди и бесплатно...

— Нет, буду брать гонорар вашим чудесным воздухом! — Коротышка в сарафанчике улыбалась и глубоко вздыхала, глаза прикрыв, изображая необыкновенное удовольствие.— Воздух у вас совершенно божественный!

Павел Евграфович безо всякой задней мысли, просто так, из любви отмечать смешное подумал: воздух воздухом, а торта третий кусок ломает. Да, конечно. Воздух что надо. Очень рады. Юридическая наука шагнула вперед, а он, между тем, стоял у ее истоков, участвовал в судебном процессе пятьдесят лет назад. Хотел было начать рассказывать о процессе над Мигулиным, очень драматичном и бурном, для молодежи поучительно, но почувствовал после первой же фразы: «Осенью девятнадцатого года, когда Мамонтов прорвал наш фронт на юге...» — что особого интереса ни у кого нет, Валентина ушла, Вера и Николай Эрастович стали о чем-то шептаться, а воротившийся было Руслан смотрел пустым взором, и умолк внезапно. Ни к чему все это. Метать бисер. Обойдутся без рассказа о Мигулине. А ведь интереснейшая фигура! Дураки, ей-богу, что не хотят о нем ничего знать. И он опять задумался о письме, об Асе и представил себе, с каким страстным вниманием — даже увидел мысленно, с каким лицом,— стала бы его слушать Галя.

Коротышка в сарафанчике что-то объясняла Вере про дом Аграфены Лукиничны. И как не надоест? Слушать скука. Павел Евграфович опять наладился встать и пойти, но Руслан остановил его и даже рукой нажал на плечо, заставляя сесть.

— Ты послушай, послушай, тебе полезно.— И, обращаясь к юристке: — Понимаете, на что напирают? На то, что восемь лет снимали у Аграфены, ремонтировали... А те раньше всех подали заявление...

— Но и у вас свои плюсы. Во-первых, вы самые старые жители кооператива... Во-вторых, разрослась семья...

Теперь все говорили разом. Юристка, важно хмуря чело, чеканила очень громко и авторитетно. Голос у нее обнаружился — как рожок. Павел Евграфович заметил, что нынче в старости — глупость, конечно! — стал бояться людей с громкими голосами. Сначала хотел было вступить в разговор и объяснить юристке суть. Почему

он против затеи с домом? Потому что Полина Карловна — друг Гали и Галя сюда их всех заманила восемь лет назад. Была б жива Галя, о таком споре и помыслить нельзя. Но дети считают: раз мамы нет, значит, можно. Да и Полине недалеко до мамы. Обо всем этом говорено было до крика.

Поэтому ну их к богу в рай.

— Я сказал, ни с кем разговаривать не стану! — Павел Евграфович, угрюмо супясь, стал выползать из-за стола, опираясь о палку и клоня туловище вперед.

— Да ради бога, папа! Как хочешь... Обойдемся...

Вдогонку был голос Николая Эрастовича:

— Кстати, насчет царя Ивана Васильевича... Вот вы, Руслан Палыч, на царя кидаетесь, а сами что ж? Тоже стремитесь расширять территорию и не считаете зазорным...

Шум, смех, звон посуды — никто не заметил ухода Павла Евграфовича, вечное с утра до ночи чаепитие продолжалось. Гнусливая дробь Эрастовича, голосок Веры и буханье Русланова баса остались за спиной. И чуть только Павел Евграфович спустился с крыльца на землю — крыльцо высокое, для Павла Евграфовича это всегда задача,— тут же стал думать о письме Аси. Перечитывать его решил позже, после похода в санаторий. Когда сделает дело. После обеда. Пройти надо было немалый путь, километра полтора по асфальтовой дороге через весь поселок; можно идти и речкой, там дольше, зато есть скамейки и возможны краткие остановки с отдыхом. День затевался такой же, как предыдущие, жара несусветная. Черный пес Арапка, обычно сопровождавший Павла Евграфовича в путешествии, сегодня идти отказался: разморенный жарой, лежал в тени веранды и не двигался, хотя услышал знакомое звяканье.

— Не пойдешь? — спросил Павел Евграфович. Пес едва шевельнул хвостом, но даже морды, опущенной на лапы, не поднял. Тысячи молодых с музыкой, с шарами, в купальниках валили навстречу с троллейбусного круга на пляжи. Никого и ничего не замечал Павел Евграфович, думал о письме, и что-то вдруг недодуманное, недочитанное до конца неприятно стало свербить. Чепуха какая-то. Чушь ничтожная, фразочка: «Не понимаю, почему написал именно ты». Отчего же не понимает? Глупо не понимать. Да и все письмо какое-то, прости господи, немного, что ли, старушечье, глуповатое.

Дни мои все более переливаются в память. И жизнь превращается в нечто странное, двойное: есть одна, всамделишняя, и другая, призрачная, изделие памяти, и они существуют рядом. Как в испорченном телевизоре двойное изображение. И вот задумываюсь: что же есть память? Благо или мука? Для чего нам дана? После смерти Гали казалось, что нет лютее страдания, чем страдание памяти, хотел уйти вслед за ней или превратиться в животное, лишь бы не вспоминать, хотел уехать в другой город, к какому-нибудь товарищу, такому же старику, как я, чтобы не мешать детям в их жизни и чтобы они не терзали меня вечным напоминанием, но товарищей не осталось, ехать не к кому и некуда, и я решил, что память назначена нам как негасимый, опаляющий нас самосуд или, лучше сказать, самоказнь, но через какое-то время, может, года через четыре или лет через пять я почувствовал, что в страданиях памяти есть отрада, Галя оставалась со мной, ее неисчезновение продолжало приносить боль, но я радовался этой боли. Тогда подумал, память — это отплата за самое дорогое, что отнимают у человека. Памятью природа расквитывается с нами за смерть. Тут и есть наше бедное бессмертие. Я не знал, была ли жива Ася, моя соученица по пригодинской школе, подруга по Южному фронту, ее не было ни вблизи, ни вдали, нигде, ее засыпало и похоронило время, как рудокопа хоронит обвал в шахте, и теперь как мне спасать ее? Она еще жива, еще дышит спустя пятьдесят пять лет где-то под горючими сланцами, под глыбами матерой руды, в непроглядных, без воздуха катакомбах...

Она еще дышит. Но мне кажется, умерла. Первое, что вижу, вбежав в дом: неподвижная белизна на полу, груда чего-то белого, круглого. Ранний рассвет, сумеречная тьма, и я не могу понять, что на полу голый человек. Совершенно нагая женщина. Не сразу вижу, что это снеговое, застывшее странным горбом, вовсе не белое; оно грязное, в кровоподтеках, ссадинах. Но в темноте ничего, кроме белизны, и, когда притрагиваюсь рукой, холод. Подымаю женщину, кричу, зову, не откликается, несу ее на руках и пока еще не догадываюсь, *кого несу*. Потому что лицо запрокинуто, мертвое лицо. От тела женщины — запах сивухи. В какую-то секунду показа-

лось, что смертельно пьяна. И очень тяжелая. Но потом вдруг — еще держу на руках, не знаю, куда нести и зачем,— страшная догадка, и понимаю внезапно, *кто у меня на руках*. Все, все понимаю мгновенно, весь ужас того, что произошло ночью и что теперь, спустя пятьдесят пять лет, кажется гораздо большим ужасом, чем казалось тогда. Были дни омертвения чувств. Слишком много смертей, насилий, сокрушающего напряжения, изо дня в день. Понимаю умом, что ужас, но понимание не леденит кровь, не подгибает колени, какие-то трезвые мысли в голове: «Достать спирт. Сначала согреть, если жива. Убили ребенка». И при этом удивление, тоже умственное: впервые в жизни держу на руках нагую женщину. И кого? Страшная мысль, еще страшнее первой, но ведь все перевернуто и искажено— мне восемнадцать лет, а я уже столько видел и столько познал. Ничего не видел, ничего не познал. Все это бредовое, секундное подавлено умственным ужасом, и вот колени мои действительно подгибаются от непомерной тяжести, и поверх всего злобное, ослепляющее: «Стрелять их всех, как волков!»

Тут вбегают люди, мигулинские штабные, сам Мигулин в рыжей бурке, хрипящий от бега, расталкивает каких-то забежавших вперед. И Шура с ними. Мигулин выхватывает у меня из рук мою ношу, вырывает грубо, властно, бурку на пол, заворачивает в нее. Тогда впервые догадываюсь — по его лицу, по свирепым движениям... Бедный Володя! Но Володи нет. Той же ночью.

Зажгли свет. Навсегда запомнил, как возвращается жизнь: не глазами, не стоном, а икотой...

Это февраль девятнадцатого, станица Михайлинская. Северный Дон. Мигулин двумя кавдивизиями гонит красновцев на юг. Фронт в двухстах верстах южнее. А в Михайлинскую Мигулин прискакал с четырьмя сотнями, прознав о банде Филиппова. Опоздал на несколько часов. И мы бы с Шурой, не заночуй мы в Соленом, лежали бы теперь на снегу в темной крови. Володя и восемнадцать ревкомовцев, среди них четверо латышей из 4-го латышского полка и трое питерских рабочих, остальные местные, лежат на дворе друг на дружке, внакидку, уже застыли, руки-ноги вразброс. Все босые. Заиндевели мертвые лица, заиндевели голые, залубеневшие ноги и темна кровь пятнами на снегу. Тошнотный на морозе запах крови. Налет был в полночь. Зарублены

все, кто находился в ревкоме. А там как раз сидели допоздна, спорили яростно — нас с Шурой хоть и не было, но знаем, споры шли всю неделю,— как быть с заложниками. Под замком сидели человек семьдесят. Филиппов освободил всех. Ревкомовцам скрутили руки, вытащили во двор и — по всем правилам казачьей рубки...

Женщина рассказывает: длилось минут десять, было слышно, вой стоял нечеловеческий. И старого казака Мокеича, семьдесят восемь лет, зарубили ни за что, спехом, просто за то, что сидел в ревкомовской избе, дремал. И мальчонку тринадцати лет, сына одного питерского, тот его повсюду таскал с собой. Так и лежит, вижу, рядом с отцом, обхватил отцову босую ногу. Сапоги содраны со всех. Вот Володя — зажимает рукой перерубленное горло. Рот открыт и перекошен уродливо, отчего Володя на себя не похож, но в глазах застыло его, Володино, отчаянное, заледеневшее навсегда изумление... «Как же можно невинных людей без суда, без следствия казнить?» Говорят, «рубачами» — теми, кто рубил ревкомовцев — вызвались быть заложники, кого Филиппов освободил. Не знали они, как Володя насмерть за них стоял, какой бой принял, как Шигонцев, Бычин и другие ревкомовцы его потрошили и клеймили, называли меньшевиком, «трухлявым интеллигентом», а Шигонцев сказал, что не будь Володя «молокососом», он бы его предал суду, как в Ростове в восемнадцатом предал суду Егора, каторжанина и старого друга, за то, что тот распустил меньшевистские нюни. А теперь с перерубленным горлом, и изумление в мертвых глазах. Я всегда чуял драму, кровь и внезапность в его судьбе. «Не понимаю, хоть убейте, как можно без суда, без разбора, лишь за принадлежность к казачьему сословию...» — «А вот из-за таких, как ты, революция гибнет!» — «Из-за таких, как ты!» — «Нет, из-за таких, как ты!»

Два свойства были ему присущи: изумление и упрямство. Он и к большевикам-то примкнул, внезапно изумившись идее. Я любил их обоих: его и Асю. Детство прошло с ними. Вот он лежит с перерубленным горлом, а Асю унесли в теплый дом, она будет жить, Мигулин возьмет ее к себе, она станет его женой.

А потом вот что: спустя год, Ростов, дом на Садовой, какая-то нелепая, холодная, полутемная зала нежилого вида, стекла выбиты, кое-как закрыты фанерой, а на улице мороз, небывалый для здешних мест, и я стою перед

дверью в соседнюю комнату, откуда должна появиться Ася. Там что-то греется, оттуда тянет дымом. Вместо Аси выходит Елена Федоровна. Я столько раз бывал у них дома в Питере, пил чай в гостиной, где чугунный рыцарь держал лампу на бронзовых подвесках, ел самодельное мороженое, пахнущее молоком, и Елена Федоровна говорила мне: Павлик. Она в пальто, голова закутана чем-то белым, наподобие чалмы. Узнать ее почти нельзя. Взгляд полон такого холода, что я отшатываюсь. Она не приглашает войти, не говорит «Здравствуй, Павлик!», смотрит злобными, в воспаленных веках глазами, то ли она больна, то ли плачет и произносит твердо: «Оставьте дочь в покое. Не измывайтесь над ней». Она давным-давно говорила мне «ты». Хочет затворить дверь. Но я успеваю вставить ногу между створками и кричу: «Ася!» Мне наплевать. Я все забыл. Кто такая Елена Федоровна? От меня все отскакивает: слезы, ненависть и то, что меня не называют больше Павликом и говорят мне «вы». Мне надо увидеть Асю, и, глядя поверх чалмы, я кричу громче: «Ася! Ты здесь?» Незнакомый голос отвечает из глубины дома: «Да!» Мне показалось, голос мужчины.

Я должен сообщить ей, что прошлой ночью в Богаевке арестован Мигулин вместе со всем штабом. Ася приподнимается на подушке, вытягивает шею, голова ее обрита после тифа, в каком-то цыплячьем пуху, в глазах смятение. «Что в Богаевке? Ничего не случилось?» На моей роже все написано. Но язык не поворачивается, и я лгу: «Ничего, тебе приветы, беспокоятся о твоем здоровье... Вот!» Вынимаю из сумки яйца, шматок сала. «И никакого письма? Как же так? Неужели ничего не написал?» Вот этого я не ожидал. Продолжаю врать: у него не было свободной минуты. И вообще ничего не было под рукой, ни бумаги, ни карандаша. «Что ты говоришь! — Она смотрит на меня со страхом и сожалением.— Павлик, что случилось? Я же знаю, он всегда ходит с полевой книжкой, такая желтенькая глянцевитая, издательства «Воин»...» Что делать? Бормочу, бормочу. Ей нельзя ничего знать. Она ужасно плоха, и мать стоит в дверях и целится в меня щелевидными, набухшими глазками, вот-вот спустит курок. Но меня это совершенно не трогает. Я боюсь, что мать догадывается и, может, даже рада тому, что случилось, тем более молчу. Продолжаю вранье. Потом мне это не простится так же, как

то, что в Балашове я был *назначен* секретарем суда.

Она не понимала, что я всегда делал то, что мог. Я делал лучшее из того, что мог. Я делал самое лучшее из того, что было в моих силах. И практически я первый, когда появилась возможность, начал борьбу за реабилитацию. Да и в ту пору, пятьдесят лет назад, я делал, как секретарь суда, все, что мог. Я устраивал его встречи с адвокатом. А ее последнее свидание с ним? После этого она удивляется: «Не понимаю, почему написал именно ты».

Как странно, что я ее так долго любил. Она не понимала меня. И я, догадываясь о непонимании, мучаясь им, так долго не мог от нее освободиться. Даже в те времена, когда возникла Галя, в первые несколько лет, мы жили в Новороссийске, и я не мог забыть навсегда... Никогда не мог уйти от нее сам. И тогда, в Ростове, морозным февралем, когда все было сказано, все наврано и совершенно нечего было делать в той квартире, где тосковали о другом человеке, где ее мать меня ненавидела, я не мог заставить себя подняться и уйти.

Жгучая жалость к некрасивой, худой, с цыплячьим пухом на голове, со смертельным страхом — не за меня, за другого — в глазах, смотревших пронзительно и пусто, как смотрят на почтальона, на телеграфный столб, наполняет тяжестью и приковывает к земле. Я, как шахматная фигура со свинцом в ногах, не могу оторваться. Мне кажется, что-то еще будет сказано, что-то произойдет. А они чересчур хорошо воспитаны, чтобы меня прогнать, Елена Федоровна приносит чайник, мы пьем горячую бурду непонятного вкуса. Шматок сала немного смягчил Елену Федоровну.

Но начинается спор, не могло быть без спора, сначала рассказ со слезами, о том, как умирал отец Аси Константин Иванович, в этой же квартире, в ноябре, как погиб старший Асин брат Алексей во время отступления добровольцев, как они бедствуют, нечем жить, все продано, Асина старшая сестра Варя зарабатывает тем, что дежурит у сыпнотифозных, а ее муж, литератор, сотрудничал в «Донской волне», теперь без всяких средств и не может получить абсолютно никакой работы, потому что относится к дворянскому классу паразитов, ему так и было объявлено в одной конторе: «Вы, как паразит трудящихся масс, получите самую тяжелую физическую

работу. И скажите спасибо». Он бы сказал «спасибо», но и физической работы нет. На что же его толкают? Что он должен делать? Как жить? И какой он паразит, если с юных лет жил своим трудом, у него не было ни поместий, ни капиталов? Одна слава, что дворянин...

Вспоминаю, что сама Елена Федоровна может быть с полным правом отнесена к паразитам: у нее акции, ценные бумаги. Впрочем, сейчас, наверное, все пропало. Оттого и озлобление. Мама, видя мою привязанность к дому Игумновых, не раз говорила: «Ты все-таки не забывай, что Игумновы — типичные буржуа. Она очень богатая дама, а он из обслуживающего персонала». Богатая дама пьет бурду из жестяной кружки и сидит дома в шубе. Мне ее жаль, но не потому, что она все потеряла, голодает, а потому, что — мать Аси. Стараюсь говорить с нею спокойно и веско. Ведь ни один общественный переворот не проходит без потрясений. Наивно предполагать, что имущие классы отдадут позиции без боя. А времена Робеспьера? Почитайте виконта де Брока. Любимое чтение мое и Шигонцева. Шигонцев приучил: чуть что — обращаться к истории.

«Но революция произошла три года назад!»

Приходится объяснять простые вещи: революция продолжается. Пока есть враги, революция будет продолжаться: «А враги у вас будут всегда!» Эта женщина слепа в своей ненависти. Она пострадала. Я понимаю. Но с человеком непримиримым разговаривать тяжко. Мне бы немедленно уйти, самое время, просто необходимо, но я, как глупая собака, привязанная к месту, не распоряжаюсь собой. Нет ничего долговечней и обманней детских любовей. Ну, что в ней было? Что осталось от девочки, когда-то поразившей насмерть? После всего, что с нею стряслось, что стряслось со мной, после Володи, после Мигулина, который годился в отцы... А на Садовой, хорошо помню, она ведь истинная уродка. И я ощущаю ее невероятную любовь к другому, о ком она думает, не видя меня, не слыша моих споров с матерью. Ей и говорить трудно, она молчит, слабо улыбается, иногда машет рукой на мать, протестуя, но мысли ее далеко и она чует несчастье...

А мы с Еленой Федоровной уже ругаемся вовсю, пошли резкости, употребляются слова «уголовники», «убийцы», «преступление». Елена Федоровна злорадно смеется. «Я столько наговорила, теперь можете меня аресто-

вать. Предать суду трибунала. Так это называется? Ведь вы комиссар, Павел? Вы имеете право арестовать меня тут же, на месте?» — «Я не комиссар, Елена Федоровна».— «Нет, вы комиссар. Вы стопроцентный комиссар, я вижу по вашему лицу, по тужурке. У вас комиссарская тужурка».— «Мама! — кричит Ася.— Он не комиссар!» Потом вдруг появляются Варя и ее муж, которого я вижу впервые. Они говорят, что в городе стрельба. Какие-то части добровольцев прорвались к предместьям, идет настоящий бой.

И правда, часа два уже слышны выстрелы, буханье орудий, но никто не обращает внимания. Все привыкли к этой музыке. Елена Федоровна с видом веселой безнадежности машет рукой. «Ах, все равно ваш верх! Отобьетесь...» — это мне и Асе.

Но Варя взволнованно возражает: «Нет, мама, что-то серьезное. На Садовой строят баррикаду. Господи, дай-то бог». Она крестится устало и похожа на монашку в своем длинном сером платье, закрытом до горла. Варя неприятная, фальшивая, она мне никогда не нравилась. Елена Федоровна знакомит: «Викентий Васильевич, литератор, ныне безработный по причине неудачной родословной... Павел, наш петербургский друг, ныне комиссар... Кстати, может помочь... Большие связи в комитетах... Не правда ли, Павел?»

Опять язвительности. Жалкие, бессильные. Муж Вари немногим старше меня, он бледен, худ, как и я, но всем обликом говорит о том, что другого мира, другого возраста, все другое. Бородка, усы, голос тихий, взор легкий, немужской, отлетающий, пух какой-то, а не взор. «Благодарю, не беспокойтесь,— говорит тихим голосом.— Я совершенно доволен своим положением».— «Да как же вы довольны? — восклицает Елена Федоровна.— Вам хлеб не на что купить! У вас башмаков нет!» — «Нам с Варей достаточно. Я ни о чем не прошу. Человек, умевший услышать внутренний голос, не нуждается в том...» — далее странный лепет, похожий на бред, на проповедь религиозника, толстовца, о каком-то Обществе Истинной Свободы в память Льва Толстого, о делании добра, о курсах свободно-религиозных знаний, где он только что читал лекцию, и еще, бог ты мой, о каком-то вновь созданном «Бюро защиты противников насилия»...

«Но вы обивали пороги советских учреждений? И вам

было отказано? — выкрикивает Елена Федоровна, глядя на зятя гневно.— Или уж и это хотите отрицать?»

«Да, обивал пороги. Но делал это для вас».— «Ах делали добро для меня? Что вы сегодня ели, несчастный человек?» Странная личность объясняет: на курсах в качестве гонорара дали тарелку перловой каши и чашку кофе.

Между тем стрельба усилилась. Снаряд грохнул рядом, лопнуло и посыпалось со звоном стекло в соседней комнате. Теперь уж мне и подавно надо бежать, но я медлю. Представить себе не могу такую дикость — деникинцы в городе. Ведь фронт далеко. И положение Деникина незавидное. Куда ему пускаться в авантюры? Однако пустился, рискнул, генерал Гнилорыбов, прорвав фронт, достиг ростовских окраин и завязал бой в городе. Я ничего не знаю, поэтому спокоен. Стрельба — уничтожают какую-нибудь банду. Происходит ежедневно. Артиллерийские залпы немного настораживают, но не настолько, чтобы я тут же бросился на улицу.

«Господи, господи...— шепчет Варя, стоя у окна, мелко, быстро крестясь.— Хоть бы, хоть бы, хоть бы...» Елена Федоровна приказывает: «Варвара, отойди!» Все взвинчены, теперь очевидно — самый настоящий бой. Битва за город. На улице кричат. Внезапно озаряется небо, желто-розовый свет наполняет комнату — горит соседний дом. Нам дома не видно, но зарево полыхает рядом. И слышно, как трещит дерево, что-то глухо ударяется о землю, кричат люди. Запах гари вползает в комнату. Вдруг Варя кричит: «Я вижу русское знамя! Несут русское знамя!»

Все подбегают к окну, я подхожу к Асе, чтобы проститься. И она, схватив мои пальцы горячей рукой, шепотом спрашивает: «Павлик, скажи правду, с Сергеем Кирилловичем беда? Он погиб? Фронт прорван?» Я не знаю, что случилось вчера и позавчера. Утром третьего дня на линии, которую занимает корпус, было полное спокойствие. Деникин мог пробить фронт южнее. «Но с ним беда! Я чувствую. Я вижу! Что-нибудь из-за убийства Шигонцева?»

И я мгновенно колеблюсь: может, все-таки надо сказать? Ее мать, умеющая соображать быстро, говорит: «Придут добровольцы и узнают, что здесь жена Мигулина. Что они с нами со всеми сделают, как вы думае-

те?» — «Господи, да пусть делают что хотят!» — Варя внезапно начинает рыдать.

Ни сказать, ни решить что-либо, ни уйти не успеваю. В комнате появляются совершенно неожиданно, как в театре, будто впрыгивают из-за кулис, три человека: офицер и два солдата. Офицер бросается к Елене Федоровне, объятия, слезы. Какой-то старый знакомый. Тут же рассказывает — кажется, для того и прибежал — о том, как погиб Алексей. Солдаты подходят к окну, один хладнокровно, мощным ударом вышибает прикладом раму, рама летит на улицу, внизу звон, солдаты устраиваются на подоконнике и открывают стрельбу. Но стреляют недолго. Непонятно, что они там видят — улица полна дыма. В тужурке у меня «смит-и-вессон», я спокоен. Держу руку в кармане. Вот это отчетливо и замечательно помню: я спокоен. Не знаю, почему. Может, потому, что тут Ася. Мы вместе: она и я.

Офицер смотрит на меня сначала беглым, потом все более внимательным взглядом. Он небрит, желтолиц, желтоватые белки воспаленных глаз. Его взгляд меняется в течение двух секунд. Насторожила кожаная, «комиссарская» тужурка и, наверное, что-то еще: может быть, то, что в моем лице нет ни радости, ни волнения. Елена Федоровна и Варя плачут, обняв друг друга.

«С кем имею честь?» — спрашивает офицер, не вставая со стула, но всем телом, глазами и рукою, сжимающей эфес шашки, подавшись ко мне. Я вижу внезапно засиявшие очи поборника Истинной Свободы. Викентий Васильевич не может скрыть сладострастной улыбки. Но мать Аси говорит сквозь слезы: «Это Павлик, наш друг...»

Через два дня деникинцев вышибают из города. Когда это было? В феврале. Стояли морозы. Утром я шел через Темерник и видел трупы, побелевшие от ночного мороза. В конце февраля двадцатого года.

Шигонцева убили в январе. Нашли зарубленным, с простреленной головой в балке неподалеку от станицы, где стоял штаб корпуса. После Новочеркасска начались неудачи, топтались на Маныче в бесплодных попытках закрепиться на левобережье, время упущено, все злое, враждебное Мигулину зашевелилось в эту паузу, и вдруг — Шигонцев зарублен. Он появился недавно. Тре-

тье появление Шигонцева. В первый раз — январь восемнадцатого в Питере после долгих мытарств, после Сибири, Австралии, Дальнего Востока. Затем на Дону в девятнадцатом, теперь третья встреча. И всякий раз он другой. Теперь он нервный, желчный, больной, кашляет постоянно. «Тебе лечиться надо,— говорит Мигулин миролюбиво.— Ты гнилой ужасно, ты дохлый насквозь. Куда тебе на фронт?»

Но Мигулин редко миролюбив, чаще напряжен, подозрителен, груб. В первый миг, увидев Шигонцева с ординарцем во дворе штаба, узнав его и слегка опешив — телеграмма от РВС фронта о назначении комиссара пришла накануне, но Мигулин не связал фамилию Шигонцева с тем человеком, с которым жестоко лаялся в девятнадцатом году, в пору лютования «Стального отряда»,— а кроме того, придя в ярость от неловко напыщенного, отнюдь не казачьего вида Шигонцева, который сидел на коне мешком, кривясь набок, Мигулин прохрипел насмешливо: «А, наше почтение! Старые знакомые!» По черной бороде, угольному взору из-под мохнатых бровей принял Шигонцева за нерусского. И весь первый день полон скрытых насмешек, ехидства, на что Мигулин горазд. Слышу я и бешеную, гневную ругань, но не в присутствии Шигонцева, а при своих, в штабе: «Зачем же такое делают? Нарочно, что ли? Хотят меня извести?»

Суть в том, что давние счеты. По девятнадцатому году. А может, того давнее. И, конечно, Мигулин оскорблен: прислан человек, бывший некогда неуступчивым и злобным противником. Я так и не смог узнать, было это сделано намеренно или же простая корявость, спешка. Потом, когда между Мигулиным и Реввоенсоветом вскипела резкая телеграфная брань, отступать тем было негоже. И они уперлись. «Реввоенсовет не видит причин замены комиссара. Вопрос не подлежит дальнейшему обсуждению». Что-то в этом духе, крайне обидное принял наш телеграфист Петя Гайлит. К тому времени воздух сух и трещит, насыщенный электричеством.

Помню всполошной крик казака на рассвете: «Комиссара вбилы!» Мгновенно догадываюсь, и мгновенно мысль: «Это убили Мигулина». На улице наталкиваюсь на Асю, она бежит куда-то простоволосая, неизвестно куда, в минутном безумии, бежать некуда. Мигулин ночевал тогда верстах в шести, на Дурной Поляне, на ху-

торе — все подробности ночи помню досконально, они стали роковыми,— и Ася, набежав на меня в потемках, падает прямо мне в руки, будто только и бежит за тем. «Ты понимаешь, что это значит?» Я понимаю. Крепко держу ее, она трясется, хотя в теплой дохе внакидку, от холода ли трясется, от ужаса — я отчетливо помню, что и я начинаю дрожать...

Да ведь был стариком! Сорок семь. А ей девятнадцать. Сорок семь, бог ты мой, возраст изумительной и счастливой зрелости казался мафусаиловым, потому что самому почти девятнадцать. Это почти — пытка. Во все времена. И особенно в детстве. В те сумерки, когда я обнимал ее на январском рассвете, дрожащую, с потемневшим лицом, обугленную ударом молнии, я испытывал острейшее ощущение, столь сильное, что дотянулось до сего дня, озноб души: жалость к ней, страх за нее. Это и было, называемое любовью. Но никогда не говорил о ней. Все запуталось. И я не помню, что испытал в ту секунду, когда возникла мысль: это убили Мигулина.

...Первая военная осень, туман, Петербург, после уроков идем всем классом в госпиталь на 22-й линии, нам четырнадцать лет — ей исполнилось, а мне еще нет, скоро исполнится, но недостаточно скоро, я мучаюсь, мне кажется, что все мои беды происходят от этого «почти», она со мною небрежна, плохо слушает, убегает из класса, когда я прихожу к Володе, и все от проклятой нехватки месяцев: она не может быть внимательна к тринадцатилетнему мальчику в то время, когда к ней пристают пятнадцатилетние. Нет, мне надо поскорее с нею сравняться, пускай ненадолго, на какие-нибудь полгода, но зато уж эти полгода будут мои. Мы идем нашей невзрачной Пятнадцатой линией, мимо лавок, серых домов, и я страдаю от ее равнодушия. Она разговаривает со всеми, смотрит на кого угодно, на собак, на идущих навстречу маленьких гимназистов, но не на меня. Хотя я рядом, ее рука в перчатке иногда бесчувственно задевает мою руку. Мне не трудно пристроиться к ней поближе, потому что всем известно, что я товарищ Володи, а они брат с сестрой. Правда, двоюродные. Но живут в одном доме, в одной квартире, Володя в семье Игумновых как сын. Его мать в Камышине, отец за границей, непонятно

где, о нем не говорят, может, он оставил Володину мать, сестру Елены Федоровны, а может, какой-то анархист, беглец, помню сказанное о нем вскользь: «Без царя в голове». Моя тяга к Володе — не просто дружба, но и вот это общее, о чем никогда не говорим с ним. Безотцовщина. Ведь и у меня где-то отец. И у него с мамой что-то произошло. И мне порой становилась до чертиков ясна жизнь Володи в доме Игумновых — в доме милом, куда я любил ходить, где было суматошливо, толкотно, шумно, уютно, доброжелательно, где подтрунивали друг над другом, где придумывали для собственного услаждения разные веселые занятия, игры «в монетку» или «в слова» или вдруг от мала до велика увлекались лепкой, ходили с перепачканными руками, полы в комнатах заляпывались, пахло сырым гипсом, все друг с другом страстно соревновались, устраивался домашний конкурс, и Константин Иванович приглашал судьей знаменитого скульптора, который лучшей работой признавал какую-нибудь чепуху, слепленную прислугой Милдой — в доме, где все было почти родное, почти собственное, где так добры к Володе были почти отец и почти мать. Он, как и я, страдал от почти. Володя и Ася были необыкновенно дружны. Если с Варей Ася нередко ссорилась из-за всякой безделицы, как это бывает между сестрами, иногда до легких потасовок, с очень злобным выражением лиц, я видел однажды, как они били друг друга веерами — не сильно, но вдохновенно,— а со старшим братом Алексеем была и вовсе далека, то с Володей ее связывала непостижимо глубокая дружба. Мне казалось, тут нет ничего запредельного. Дружба двух очень хороших людей. В жизни такая редкость! Я верил этому долго и был спокоен. Гораздо больше меня тревожил солдат Губанов. Все начинает выскакивать из памяти, когда приступаешь к раскопкам, и оказывается, ничего не пропало. Память — склад ненужных вещей, чулан, где до поры, пока не выкинут окончательно, хранятся пыльные корзины, набитые старой обувью, чемоданы с отбитыми ручками, какие-то тряпки, зонты, стекляшки, альбомы, куски проволоки, одинокая перчатка и пыль, пыль, густая, вялая, пыль времени. Вот сохранилась фамилия солдата, мелькнувшего на пороге жизни. Легко раненный под Сувалками солдат Губанов. Он покоится, как алмаз, в невообразимой пыли.

Уже не первый раз мы идем в госпиталь на 22-й линии. У нас своя палата на пятом этаже. В мешках несем подарки: яблоки, конфеты, папиросы, четвертку чаю, бумагу и карандаши. Как только появляемся в коридоре на пятом этаже, солдат Губанов кричит радостно: «Посвятители пришли!» Никак не может запомнить, что мы не посвятители, а посетители. «Эй, беленькая! Анюта! Родимая! — горланит Губанов.— Поди сюда, дочка!» И нахально сгребает Асю длинными руками, тянет к себе, сажает на колени, как настоящий отец. Что ж удивительного? Она самая улыбчивая, самая красивая. Вся такая плотная, ладная, спелая, белобрысая, не похожа на бледных питерских барышень, она — как девчонка с мызы, чухоночка, дочь молочницы. С белыми ресницами. Красота Аси представляется мне такой же несомненностью, как, к примеру, ценность первых английских марок с королевой Викторией. И, конечно, люди эту красоту видят и на нее посягают. Я не могу оградить, потому что не имею права. С чего бы? Да и дурного солдат Губанов не делает, я лишь чувствую — и все чувствуют — в его повадках какую-то гадость.

Солдат Губанов читает вслух сочинение, которое писал несколько дней с помощью Аси: «Сражение под Сувалками». Мы задумали издать журнал, каждый должен помочь одному раненому написать воспоминание. У меня тоже есть подопечный, но он туг, неразговорчив, не желает ничего вспоминать, бормочет угрюмо: «Какой интерес описывать, когда по живому бьют?» Зато Губанов, проворный и исполнительный, написал почти самостоятельно несколько страниц. Одной рукой переворачивает страницы, читая, другой держит Асю у себя на коленях. Я вижу, что ей неловко, стыдно, она уже не маленькая девочка, она барышня, из тех, о которых говорят «в теле», и теперь она делает деликатные попытки освободиться от руки солдата Губанова, но ничего не выходит. Губанов поймал ее и держит крепко. На первых страницах описывается бой, ранение, как он добежал до своего окопа, там был штабс-капитан, который спросил жалким голосом: «Ранен, брат?» и «Где твой бинт?» и другие подробности. Я смотрю на Асю, думая напряженно: как ей помочь? Что бы такое сказать солдату Губанову? Он герой, и Ася не хочет его обидеть. Но, хоть и герой, он скотина. Я его ненавижу. Дальше он читает, как раненых привезли в Петроград, как все ему

в Петрограде понравилось: трамвай, госпиталь, сестрицы, мягкие тюфяки, белая простыня, хорошие утиральники. «Очень, очень хорошо принимали. Утром сестрицы приходят и здравствуются. Еще напоминаю, нас хорошо вымыли в бане. Когда вымоешься, сейчас надевали чистые рубахи, и кальсоны, и носки». Мне кажется, что все это глупо и не годится для нашего журнала. Но все слушают, раненые тоже слушают, Губанов продолжает читать и правой рукой, которой обхватил Асю, поглаживает и похлопывает ее, как будто она его собственность. «А девятого октября нас посетил какой-то человек из правления книжного склада высочайшего утверждения,— читает Губанов, делая особое ударение на последних словах,— и дарил нас псалтырями и евангелиями...»

И вдруг Володя подходит к Губанову, сидящему на койке с Асей на коленях, и молча отгибает его руку, держащую Асю. И Ася, освобожденная, вскакивает и отбегает от своего истязателя. А солдат Губанов, будто и не заметил ничего, продолжает читать. Володя поразил: есть минуты, когда не нужны слова, нужно просто подойти и действовать.

Володя поражает меня часто. Его поступки невозможно предвидеть. А та история с крысой, взволновавшая школу. Была замечательная школа совместного обучения, мне повезло, лучшая на Васильевском острове да, наверное, в целом Питере, ее называли пригодинской по имени Николая Аполлоновича Пригоды, основателя, директора, энтузиаста, поклонника Томаса Мора и Кампанеллы, он преподавал историю, его жена Ольга Витальевна — биологию. Странные люди! Им ничего не было нужно, ничто их не занимало в жизни, кроме школы и учеников. Школьные советы, введенные после февраля семнадцатого, в пригодинской существовали много раньше. Все решалось голосованием. Ольга Витальевна просила принести крысу, надо было разрезать, учиться анатомии. Кто-то обещал поймать, долго не удавалось, наконец принесли. Вся школа знала, что в этот день в нашем классе будут резать крысу, живую, мальчик принес ее в клетке и почему-то сказал, что ее зовут Феня. Он сам и вызвался резать. Внезапно на урок приходит депутация из старшего класса, во главе Володя.

«Мы не хотим, чтобы в нашей школе убивали живое существо. Нам жалко Феню». Одни кричат — жалко!

Другие — резать! Начинается страшный спор. Помню, Ольга Витальевна этот спор еще более разжигает. Заявление о том, что крысу зовут Феней, оказывается роковым. Крыса перестает быть просто крысой, она становится индивидуальностью. К ней присматриваются. Она ведет себя, как Феня. На собрании произносятся пылкие речи и, забыв о крысе, которая скромно ждет решения своей участи, рассуждают о науке, об истории, о гильотине, о Парижской коммуне. «Великие цели требуют жертв! Но жертвы на это не согласны! А вы спросите у крысы! А вы пользуетесь ее немотой, если бы она могла говорить, она бы ответила!» Наконец решаем голосовать. Голосует не только наш класс, крысиный вопрос взбудоражил всю школу. Крыса помилована. Володя торжественно выносит клетку во двор и в присутствии всех выпускает несостоявшуюся жертву науки на свободу. Волнующая минута! Особенно возбуждена Ольга Витальевна, да и мы догадываемся, что дело касается не крысы, а чего-то более важного. Немного омрачает настроение финал: наша Феня, оказавшись на воле, сбита с толку и зазевалась, и ее тут же хватает какой-то пробегающий по двору кот...

Зима в Сиверской, сухой снег летит облачком с сосен, финские сани несутся вскачь под уклон, поворачиваясь полозьями, отчего надо крепко держать рукоятку, а на веранде дачи Матисена, лесника, развешаны гирляндою разноцветные ледяные бочонки... Мы живем третью зиму у Матисенов. Недалеко от нас живут Игумновы. У них свой дом. Ася соскальзывает на повороте с сиденья финских саней, кажется, они называются «потткури», слетает с «потткурей» головою в сугроб, я барахтаюсь в снегу на другой стороне. Обледенелая дорога блестит фарфоровым блеском. Асина красная шапка отлетела далеко, а ее замечательно толстая красная фуфайка в бело-черных полосах — куплена в шведском магазине для спорта, называется «sweater» — вся в снегу, и Ася хохочет как сумасшедшая... Ее смех меня иногда пугает. Мне кажется, она смеется для кого-то, зачем-то... А ледяные бочонки делают так: в чашки наливают подкрашенную воду, опускают веревочку... Отец Аси Константин Иванович купил автомобиль, но зимой в Сиверскую приезжать опасно, однажды он застрял, вытаскивали лошадьми. В окрестностях Сиверской — так рас-

сказывают — бродит шайка некоего Грибова, дезертира, его ловят несколько месяцев, не могут поймать. Какая же это зима? Рождественские каникулы, мама работает уже не в статистическом управлении, а в издательстве корректором, надо ездить в Питер за работой, привозить тяжелые пачки, и я хожу на станцию ее встречать. Еще и потому, что «Грибов шалит». Никто этого Грибова живьем не видел, но рассказывают о нем всякие ужасные небылицы. Особенно, говорят, Грибов ненавидит фараонов, финансовых служащих и лифляндских помещиков. Эти три разряда людей ему крепко насолили в жизни, он поклялся им мстить. Грабит богатые дачи, а бедных не трогает. В ту зиму я с упоением читаю тоненькие книжонки про Ника Картера и Джона Вильсона и представляю себя одним из них — в схватке с Грибовым...

Но вот сталкиваюсь с ним лицом к лицу. Происходит это под вечер на лесной горе, куда мы вчетвером — я, Володя, Ася и недавно вернувшийся из Сибири мамин брат Шура — приехали кататься на лыжах. Шура! Тогда я к нему еще присматриваюсь. Он меня занимает. Александр Пименович, или Шура, как зовет его мама, человек нестарый, лет тридцати, но весь какой-то закопченный, обугленный, с пятнами и шрамами на лице, голова у него бритая, седая, и очки в стальной оправе. Мама говорит, что он изменился. Они не виделись много лет. Шура — революционер, но какой именно и чем прославился, неизвестно, спрашивать нельзя, эти правила я хорошо знаю. У нас в доме иногда появляются таинственные личности, и я учен, как с ними себя вести. Все же кое-что мне не терпится у мамы выпытать. Какая у Шуры профессия? Революционер. Я понимаю, но профессия какая-нибудь есть? Профессиональный революционер. А до того, как стал революционером? Был им всегда. Сколько мама его помнит. Учился в церковноприходской школе, мальчишкой, и уже тогда... Постепенно узнаю: дружинник в первую революцию, ссылки, побеги, убийство караульного, каторга. В Питер Шура приехал не как Александр Пименович и не как Данилов, а как Иван Спиридонович Самойленко, и это меня не удивляет. Мама тоже носит чужую фамилию и чужое имя. Все считают, что она Анастасия Федоровна Меркс, мещанка города Ревеля, а она Ирина Пименовна Данилова, по мужу Летунова, крестьянка Новгородской губернии.

Стоим на горе и собираемся катиться вниз, Ася тру-

сит, хохочет, отказывается, говорит, что снимет лыжи и будет спускаться пешком, мы ее подзадориваем, и вдруг трое в полушубках появляются из-за сосен.

«Здравствуйте, господа лыжники, не пугайтесь,— говорит один.— Я Грибов». Они тоже на лыжах. Незаметно подкрались. Мы ошеломлены. Я смотрю на Грибова: ничего страшного в его облике нет, молодой, в темной бородке, очень краснолицый, на нем меховая шапка с опущенными ушами, с козырьком, в каких ходят финны. Смотрит Грибов довольно добродушно и даже будто улыбается. «А, Грибов! — говорит Шура.— Здравствуй, брат...» Я слышу скрип палок, шорох лыж, оглядываюсь — Володя несется вниз. Вот хлопнул лыжами, подскочив на трамплине, вот промчался между сосен, повернул направо, замелькал в чаще, исчез. «Лихо!» — говорит Грибов, а один из его спутников свистит по-разбойничьи.

Шура подходит к Грибову, они тихо о чем-то разговаривают. Потом трое прощаются и уходят, а мы идем домой. На поляне ставим дощечку в виде мишени — Шура стреляет из браунинга. Дает пострелять мне и Асе. У Шуры неважное зрение — ухудшилось в тюрьме после побоев,— и он долго, тщательно целится.

Гильзы с шипением погружаются в снег. Я их собираю зачем-то, они теплые. Наступают сумерки, стрелять больше нельзя. Мы идем домой, стараясь не говорить и не думать о Володе. То, что с ним случилось,— катастрофа. «Неужели струсил?» — спрашивает Ася шепотом. Ничего не могу понять. В ее голосе изумление, но еще более мы изумлены тем, что произошло на наших глазах: Шура и Грибов разговаривали как два добрых знакомых. Очень хочется разузнать у Шуры про Грибова, но я молчу, помня завет матери: вопросов не задают. Спустя три года, когда мы с Шурой мотаемся в вагоне по России, проводим целые ночи вдвоем, я узнаю: через Грибова добывали оружие. Вскоре Грибов погиб, убитый стражниками на границе.

Приходим на дачу Игумновых в полной темноте. Нас с Шурой оставляют ужинать. Какой вкуснейший, горячий, спасительный чай! Как тепло и уютно на этой даче, пахнет сигарою Константина Ивановича, горящими свечами, гудят печи, потрескивает дерево... Володя сидит за столом, понурив голову. Я его понимаю. Вообще-то, думаю я, надо обладать порядочной выдержкой, чтобы пос-

ле того, что он отколол, сидеть тут и пить чай, хотя бы и с таким каменным выражением лица. Чаепитие длится мирно, Константин Иванович расспрашивает Шуру о Сибири, но осторожно, не давая понять, что знает, что́ Шура в Сибири делал, речь идет о промыслах, нравах населения, говорят о войне, о старце, о том, что Германия истощена, об эпидемиях, шпионах, взятках, участившихся грабежах и насилиях, о чем Константин Иванович, как юрист, знает доподлинно. Внезапно Ася весело и беспечно — я-то уверен, что без умысла, вот именно беспечно, по глуповатой доброте — говорит Володе: «Жалко, Володя, что ты убежал, разбойник-то оказался очень милый!» Какой разбойник? Кто убежал? Начинаются расспросы, мы кое-как, умалчивая о главном, рассказываем про Грибова, Володя вдруг вскакивает с пылающим лицом — он краснел почему-то верхом лица, лбом и глазами — и выбегает из комнаты.

«Что произошло?» — спрашивает Елена Федоровна шепотом.

«Вот так же унесся стремглав... Когда появился Грибов...»

«Ах, струсил?» — В глазах Алексея огонек злорадного удивления. Ася смотрит испуганно. Она огорчена, не знает, как быть: пойти за Володей или защищать его здесь? Я высказываю предположение: стоял на спуске, на очень раскатанной лыжне, одного движения достаточно, чтобы скользнуть вниз и там уж без остановок. Но почему не вернулся? С Грибовым разговаривали четверть часа, не меньше. Господа, да что такое, в сущности, трусость? Мгновенное затемнение сознания. Тут, если хотите, повод для невменения. Я порываюсь пойти за Володей, но Елена Федоровна говорит: не надо.

«С юридической точки зрения,— говорит Константин Иванович,— трусость почитается настолько свойственной человеку... Как писал Таганцев, нельзя наказывать за то...» — «Но проявление трусости в военных условиях?» — «О, да, уклонение от опасности признается уголовнонаказуемым...» А Шура говорит: у каждого человека бывают секунды прожигающего насквозь, помрачающего разум страха. Мгновение — и он уже покатился с горы, не мог остановиться, не мог вернуться, не мог смотреть нам в лицо, не мог жить. Нельзя все в мире определять законами и параграфами. Нет, можно. Более того — нужно. В этом залог прочности мира. Гнилое об-

щество вы называете прочным миром? Оно гнило как раз оттого, что законы мало что определяют. Они чересчур слабы. Черт возьми, да все валится у нас на глазах! Этот храм рассыпается, а вы говорите о каких-то законах! Только законы могут его спасти. В таком случае, мир делится на две категории: то, что подсудно и что неподсудно. Куда вы денете все остальное? Ничего остального нет. Ну как же, хотя бы суд собственной совести. Ведь момент трусости может быть пожизненной казнью. Объясню на примере, говорит Константин Иванович, великую силу законов. Вот, скажем, Володя струсил. В острый момент, когда вы столкнулись в лесу с преступниками, он сбежал. Слава богу, кончилось благополучно, преступники не нанесли вам вреда. Но коли бы произошло несчастье...

На этих словах появляется Володя в пальто, в шапке. Может быть, все слышал. Никогда не забуду его лица: какое-то серое папье-маше с остановившимся взором. Ни на кого не глядя, произносит в пространство: «Уезжаю в город, прошу никого не следовать за мной. Если кто-нибудь увяжется, я буду стрелять...» — и показывает пистолет.

Спустя несколько минут, когда прошло ошеломление, мы бросаемся за ним. Но в саду и на дороге полный мрак. Он исчезает. На станции его тоже нет. Через четыре дня пришла телеграмма из Камышина, от матери. Но эти четыре дня...

У каждого было. И у меня тоже. Миг страха, не физического, не страха смерти, а вот именно миг помрачения ума и надлом души. Миг уступки. А может быть, миг самопознания? Но после этого человек говорит: один раз я был слаб перед вами, но больше не уступлю никогда. В двадцать восьмом году. Нет, в тридцать пятом. Галя сказала: «Я тебя бесконечно жалею. Это не ты сказал, это я сказала, наши дети сказали». Ей казалось, все делалось ради них. Помрачение ума — ради них. Теперь Гали нет. А дети — есть они или нет? Петр, который отрекся во дворе Киафы, не имел детей; зато потом заслужил свое имя Петрос, что значит «камень», то есть «твердый».

И Володя много раз после того полудетского страха, или, будем говорить, мига слабости поражает редким присутствием духа в роковые минуты. А летом семнадца-

того на Лиговке? Случайно и дико вляпались с ним в какое-то монархическое сборище. Зашли в аптеку, я спросил рицинового масла, аптекарь, ни слова не говоря, тащит нас в заднюю комнату, распахивает дверь в коридоре и, толкая в спину, шепчет: «По лестнице вниз! Скорее, уже началось!» В подвале человек сорок, внимательно слушают осанистого господина, который сыплет какими-то цифрами, именами, говорит возбужденно и то и дело со злобой: «эти предатели» «иуды русского народа», «так называемое правительство». Если бы просто спросить касторки, нам бы дали коробочку, и мы бы спокойно ушли. «Рициновое масло» оказалось паролем. Такая кровавая чепуха могла быть только в те дни. Корнилов еще не выступил, но какие-то люди знали и ждали. Нас чуть не застрелили в подвале, Володя разбил лампу, и мы скрылись в потемках...

А первые дни — март, пьяная весна, тысячные толпы на мокрых, в раскисшем снегу петроградских проспектах, блуждение от зари до зари втроем: Володя, Ася и я... И полная свобода от всего, от всех! В школу можно не ходить, там сплошные митинги, выборы, обсуждение «школьной конституции», Николай Аполлонович вместо лекции о великих реформах рассказывает о французской революции, и в конце урока мы разучиваем «Марсельезу» на французском языке, и у Николая Аполлоновича на глазах слезы. Мама проводит дни неведомо где, то в издательстве, где печатают всякие списки, программы, платформы, то в Таврическом, то ездит к морякам, я ее совсем не вижу, и часто ночую не дома, потому что мама не приходит домой, а у Игумновых, в Володиной комнате на топчане. Там очень удобно. Всю ночь с Володей разговариваем или играем в шахматы. И Ася рядом, за стеной! Но тут-то и мука.

Вдруг утром бежит в халате по коридору и вскрикивает рассеянно: «Ой, Павлик! Я и забыла...» Постоянно забывает, что я здесь. Но я не забываю про нее ни на минуту. Странные отношения в этом доме: все дружны и, однако, немного равнодушны друг к другу. Вечерами вдруг разбредаются кто куда. Но могут и собраться вместе, и страшно веселиться, шутить, дурачиться. Константин Иванович слегка поддразнивает Елену Федоровну, Алексей поддразнивает Володю и Асю. Ася закрылась в ванной, Володя мнется в коридорчике, ожидая, когда ванная освободится, вдруг Алексей нагло стучит

в дверь и даже приоткрывает, говоря: «Родному брату можно, а ты, двоюродный, изволь подождать». Вижу, как Володя темнеет лицом. Он единственный в доме, кто не очень расположен к шуткам. Все воспринимает слишком, с болью, всерьез. Константин Иванович и Елена Федоровна, да и Ася с Варей и Алексей относятся к тому, что происходит в городе, не то что иронически, но как-то полушутливо, полупугливо, а в общем-то, как к большой игре. О да! Добрые, недалекие... А я живу как во сне. Все вокруг меня — шумный, обволакивающий, затягивающий куда-то сон. Асе уже шестнадцать лет, а мне еще только пятнадцать, и она отрывается все дальше, все безнадежней. Вот ее приглашает товарищ Алексея, студент, на какой-то вечер «поэзо-танца» в клуб «Ланселот» на Знаменской, нас с Володей туда не берут, вот какой-то юнкер катает ее в отцовском автомобиле... Но это, кажется, летом... А в марте ничего, кроме бесконечного бега, толпы, перестрелок, новостей ужаса и восторга. Все орлы на решетках дворца обмотаны красной материей. Повсюду красные флаги. На крепости тоже красный флаг. У департамента полиции горят бумаги, улица усыпана пеплом. В доме Игумновых организован домовый комитет, чтобы осмотреть все квартиры, чердаки, не прячутся ли городовые. Константин Иванович выбран председателем. Он ходит с большим красным бантом. Игра, игра! И наш Шура теперь большой человек — комиссар рабочих депутатов на Васильевском острове. Его никто не называет Шурой, он — Иван Спиридонович Самойленко, мученик царской каторги. В конце марта похороны жертв революции, невероятная жижа и грязь, улицы не убираются, каждый день огромные толпы месят грязь, разбрызгивают, превращают в лужи сырой снег, мы идем в длинной процессии к Марсову полю, на Нижегородской присоединяется какой-то завод, потом фельдшерская школа, меньшевики, украинцы, пожарные, какой-то запасной полк, гробы, обмотанные красной материей, выплывают из Военно-медицинской академии; идем дальше, по Литейному мосту, мимо сгоревшей «предварилки», красные и черные флаги вывешены на домах, на Невском стоим часа два, отовсюду поют «Вечную память» и «Вы жертвою пали...» Какой-то человек в черном пальто вскакивает на гранитный цоколь парадного крыльца и, обхватив одной рукою фонарь, а другой сорвав с головы шляпу и размахивая

ею, кричит: «Друзья! Мы должны пропустить Петроградский район! Проявляйте выдержку и имейте терпение, друзья! Сегодня день великой скорби и великой свободы... Нет страны в мире, друзья, более свободной, чем Россия сегодня...» И еще что-то рваное, отчаянно громкое, медленно поворачиваясь всем своим черным, гнутым телом, и я вижу обугленное, в седом бобрике, в сверкающих сталью очках лицо Шуры.

Мигулин вырвал Асино тело из моих рук так властно, с грубой поспешностью, будто отнимал *свое*, я догадываюсь об этом позже. И весь этот внезапный рейд для спасения ревкома, хотя и неуспешный... Почему не выслать четыре сотни под командой кого угодно? Поскакал сам. Я увидел искаженное горчайшей мукой лицо старика — темные подглазья, впавшие, в черно-седой щетине щеки и в страдальческом ужасе стиснутые морщины лба... Когда Шигонцев подошел и со злорадной, почти безумной улыбкой спросил: «Как же теперь полагаете, защитник казачества? Чья была правда?» — Мигулин отшатнулся, поглядел долго, тяжелым взглядом, но того, каторжного, взглядом не устрашить, и ответил: «Моя правда. Зверье и среди нас есть...» А Володя — на снегу с перерубленным горлом.

...Потом, в апреле — уже после Финляндского вокзала, встречи Ленина, дворца Кшесинской, куда меня протащил Шура,— уже в тепле, в весне мы с Володей и Асей болтаемся по городу и заняты делом: собираем на Совет рабочих депутатов. Часа за три собрали шесть рублей. Ходим, пока держат ноги, на улицах все та же сумятица, неразбериха, жутковатая качка толпы, митинги, драки, стрельба. Вижу, по Невскому идут вооруженные рабочие завода Парвиайнена со знаменем «Долой Временное правительство!». Им навстречу с Литейного сползает демонстрация студентов, офицеров, каких-то хорошо одетых дам, несут знамя «Да здравствует Милюков и Временное правительство!». С крыши бросают камни. Непонятно, в кого. Две демонстрации вязнут друг в друге, вскрикивают женщины, свалка, падают, бегут, с треском рвется знамя, ломают древко. На Мойке какой-то господин, стоя в открытом автомобиле, ораторствует, выбрасывая правую руку с белым манжетом, будто деньги в толпу кидает. «Америка!.. Объявила!.. Тевто-

нам!..» Кричат «ура», один звероватый, в папахе, проталкиваясь к автомобилю, вытягивая руки, борясь сразу со всеми, хрипит: «Дай сюда эту гниду! Я его гузном... на проволоку...»

И еще слышу, двое разговаривают, стоя у стены дома. Один вполголоса: «Эти толпы на улицах напоминают знаете что? Точно кишки вывалились из распоротого живота. Не оклемается Россия от этого ножа...» — «Господь с вами!» — «Вот увидите. Это смертельно. Но что приятно...— тихий смешок,— я умираю, и России конец, одним махом... Так что и умирать не жаль...» Посмотрел — старик с белой окладистой бородой, в шляпе, надвинутой низко на глаза. Так и остается со мной, навсегда.

В потемках приплетаемся в игумновский дом. С утра и до вечера я с ними, с Володей и Асей, не могу отлепиться. Все-таки болван! Иногда замечаю, как, стиснутые толпой, Володя и Ася прижимаются друг к другу, как Володя обнимает ее, стараясь оградить от толчков, и единственное, что мне приходит в голову: счастливый, может обнимать ее, как брат! И в тот вечер: надо бы пойти домой, уже находились, наговорились, дай отдохнуть от себя, но Ася предлагает, скорей всего машинально, зайти попить чаю. «Павлик, зайдем?» Голос звучит рассеянно, она устала, Володя зевает, да и я устал неимоверно, однако волочусь вслед за нею в парадное... Нет сил отказаться. Как я, наверное, надоел!

Вскоре приходит Алексей. На его лице запекшаяся кровь, тужурка разорвана. Возбужденно, невнятно, рассказывает о каких-то стычках, о том, как избили Кирика Насонова, гнались за ним. Вдруг увидел кружку, с которой мы носились по городу, собирая на Совет. «Это еще что за дрянь? (Володе). И ты этим занимаешься? Ничтожество! Бездарность!» И даже замахнулся ударить. Почему же бездарность? Не к месту и глупо. Впервые вижу, как между братьями закипает ссора, стремительно и зло. Алексей внезапно обрушивается на Володиного отца, своего дядю, называет его почему-то болтуном, непонятна связь, я понимаю лишь, что вырывается наружу скрытное, накопившееся. Ты смеешь так о моем отце? А ты, если живешь в доме, изволь подчиняться правилам этого дома! Каким правилам? Нашим! Тут и Варя, и Елена Федоровна — и никому не до шуток... Потому что на улице толпа, а у Алексея лицо в крови. Ася

бросается на защиту Володи. Немедленно извинись! О каких н а ш и х правилах ты говоришь? Да, говорю, потому что до этого дошло — людей убивают. Полчаса назад, на моих глазах... Кирика Насонова...

Кирика Насонова все хорошо знают. Он племянник Николая Аполлоновича Пригоды, студент Межевого института. Но дело не в Кирике. Все начинают спорить друг с другом, а я в стороне. Меня будто нет в комнате. Хотя вся свара из-за меня. Мама просила помочь в сборах, ведь я хочу вступить в партию, мечтаю об этом, но тормозит возраст, хотя я уже почти имею право — опять п о ч т и! — и Володя с Асей от нечего делать, по дружбе взялись мне помогать. Но ни Володя, ни Ася не держали кружки в руке, они просто ходили со мной.

И опять Володя внезапно, опрометью шарахается из комнаты в середине разговора, оборвав собственную фразу на полуслове, и Елена Федоровна в его отсутствие пытается смягчить Алексея и всех примирить, Константин Иванович рассуждает о двойственности приказа номер один — с одной стороны, с другой стороны, а в целом ответит опыт истории, придите за справкой через четыреста лет, при этом с аппетитом поедается кусок пирога с вязигой, достать которую было чудом, доступным лишь гению Елены Федоровны,— а я думаю о том, что мне тоже, пожалуй, пора покидать сей дом. Ведь они не обращаются ко мне с укоризнами только потому, что хорошо воспитаны. Но их молчание со мной, непринятие меня в орбиту спора и есть укоризна. Льдина, на которой так долго стояли вместе, где-то треснула, и теперь две половины медленно разъезжаются. Мама об этом догадывалась раньше. «Тебя там не подкалывают, у Игумновых, тем, что твой дядя комиссар района? Они люди хорошие, но до предела. Не забывай все же, что они буржуа». Нет, не подкалывают. Я не чувствую. Но я ведь не чувствую многого.

Опять, как когда-то зимой в Сиверской, Володя рвется уехать, но теперь его хватают, задерживают, Варя и Ася отнимают чемодан, Елена Федоровна умоляет чуть ли не со слезами: «Дети мои, заклинаю, что бы ни случилось в городе, в мире, вы должны оставаться друзьями. И ты, Володя, и ты, Павлик, и вы, дети, подайте друг другу руки немедленно...»

Алексей не может сразу, сию секунду подать руку — он занят своей раной. Ася промыла ее, залила йодом, он

должен придерживать пальцами ватку, вид у него страдающий, но непреклонный — нет, он не может в один миг забыть Кирика Насонова... Люди шли совершенно мирно, без оружия, откуда-то вывалились какие-то со знаменем... Начались оскорбления, угрозы... И лишь за то, что он крикнул: «Предатели! На немецкие деньги!..» Тут уж я не выдерживаю: не надо кричать подлое. Нет, кричать можно все, дорогой Павлик. Ради этого сделали революцию, упразднили цензуру. А вот сапогами по голове — нельзя. Все норовили, скоты, когда уж сбили с ног, опрокинули, сапогами по голове... лежачего...

Кирик Насонов умер в больнице через несколько дней. Но мы этого не знаем. Константин Иванович неожиданно принимает мою сторону. Вот гибкий адвокатский ум! Вижу и его: рябоватый полный блондин, всегда чему-то неопределенно улыбается, сочные, влажные губы в кружке светло-рыжих усов и коротенькой бородки постоянно подрагивают, приготовляясь то ли засмеяться, то ли сказать что-то юмористическое, губы — самое живое на его лице, живее глаз, отчего все лицо приобретает выражение несколько дамское. Вот так, улыбаясь и крупными белыми пальцами шевеля в воздухе перед собой, рассуждает: «Но не будем гневить бога. Кирика безумно жаль, он пострадал вследствие неосторожности, однако тем не менее Россия — счастливая страна. Величайшая революция произошла практически бескровно, жертв ничтожно мало. Почитайте Олара, что творилось в эпоху французской революции...»

Елена Федоровна его горячо поддерживает: «Да, да, мальчики, почитайте Олара!» Она целует Володю, обнимает сына, улыбается мягкой счастливой улыбкой мне. Эта женщина всегда счастлива. Она лучится здоровьем, сияет румянцем, добротой, аппетитом к жизни, бриллиантовая брошь сверкает, как страшный, искусственный глаз, на ее пышной груди...

С балтийским матросом Ганюшкиным продаю в Думе газету «Правда». Берем в редакции экземпляров по пятьсот, вечером отвозим деньги. Да еще хлеб добывать — в хвосте часа полтора... Да потом в городскую управу за номером для велосипеда или куда-нибудь на Голодай насчет дров, по ордеру, через Совет, и тоже повсюду хвосты... Голодное, странное, небывалое время! Все возможно, и ничего не понять. Шура то исчезает, ходит с наклеенными усами, под чужим именем, даже

не Самойленко, а кто-то другой, то опять командует на Васильевском острове — организует милицию, покупает оружие. Константин Иванович то восхваляет правительство, то поносит последними словами. Он в комиссии по раскрытию тайных сотрудников охранки. Упоен, взвинчен, непрерывные звонки, визиты. Улыбчивость пропала, белыми пальцами больше не шевелит, все только рубит прямой ладонью. Вечерами сообщает загадочно: «Если б вы знали, господа, какая щука оказалась в нашем неводе!» Кто же? Кто? Папа, скажи! Нет, нет, не приставайте, други. У нас гласность, но не до такой степени. Узнаете из газет. Про одного сообщил: жилец из бельэтажа, банковский служащий, известный в Петрограде игрок на скачках. Володя вечером подстерег его сына-гимназиста и избил.

Шура говорит: «Недолго им этой забавой тешиться. Лета не доживут. Разгонят их...»

И правда, в середине лета Константин Иванович пал духом, клянет правительство почем зря. «Дураки! Прохвосты! Хотят выиграть великую войну, а не могут победить в мелком домашнем сражении!» Комиссия распущена. Никто из доносчиков по-настоящему не наказан. Автомобиль Константина Ивановича, в котором тот гордо выезжал по утрам, конфискован для военных нужд. Старую дачу в Сиверской кто-то поджег, сгорела дотла со всей мебелью, книгами. Константин Иванович пытается подать в суд, получить страховку, но где там! Никому ни до чего, август, слухи о страшном, о предстоящей резне, мести казаков, одни радуются, другие в панике, все возбуждены, множество людей покидают Питер. Слух такой: будто Керенский телеграфно объявил Корнилова арестованным, а Корнилов точно так же по телеграфу объявил арестованным Керенского. Корпус Крымова идет на Питер. В эти дни я рядом с Ганюшкиным. Не отстаю ни на шаг. С ним ничего не страшно — ни генерал Крымов, ни «дикая дивизия», которая тоже, говорят, идет усмирять столицу.

О Савва Ганюшкин, потрясший навсегда! Как же он выпал из жизни, куда делся потом? Савва Ганюшкин — недавний матрос, хриплый, площадной крикун, читатель газет и лютый кулачный боец на уличных сходках. Он легко вонзается в любой спор, встревает в драку с кем попало, хоть с солдатами, хоть с кадетами, и, что удивительно, всегда его верх. Одного, двух уложит разом,

остальные бегут прочь. Потому что чуют, сила у Саввы непомерная. Поехали с ним в Морской корпус слушать Ленина еще весной, билеты достал Шура, народу набилось видимо-невидимо, тысяч пять, висят даже на лестницах для гимнастики, какие-то умники стали ломать дверь из коридора, беспорядок, Савва беспорядка не любит, и я вижу, как он их вышибает: повернулся к ним медвежьей спиной, руками в косяки вперся и выдавил всех, как поршнем. Ну, Савва! Ах, Савва... Как же можно забыть о нем?

Зимой, когда умерла мама, Савва говорит: «А я мечтал, заживем с тобой, парень, одним домом...» Это он мне.

Я молчу, будто так и надо, будто обо всем знаю. А ведь ни о чем не догадывался. Для меня как бомба разорвалась. Только вдалеке, запоздало, беззвучно. Неслись, летели куда-то — мама ничего о моей жизни, я о ее...

В конце лета — корниловская паника в разгаре — кто-то принес листок Военной лиги «На страже». Призыв помогать мятежникам всеми силами. Разбросано во множестве на Большом проспекте. Нагло стоит типография — 16-я линия, дом 5. Я бегу к Шуре в районный Совет, тот дает красногвардейцев, Савву командиром, идем по адресу. И первый, кто стоит на пороге, когда распахнули дверь, Алешка Игумнов! Глядит на меня оторопело, вдруг хохочет. «Это ты? Какая прелесть! Какая причуда судьбы!» Савва легчайшей лапой сдвигает его в сторону, как занавеску, ныряет в комнату. В глубине квартиры какие-то люди встречают нас холодно, разговаривают высокомерно. «Поступаете опрометчиво, молодые люди. Через два дня здесь будет генерал Крымов. А мы вас всех запомним, до единого...» Через два дня сообщение: генерал Крымов застрелился.

Он спрашивает: «А почему вы, Павел Евграфович, так упорно занимаетесь судьбой Мигулина? Вы не родственник его? Какой-нибудь далекий? Со стороны жены, возможно?» Нет, говорю, не родственник. «В чем же дело?» Да ни в чем. Просто добиваюсь, и все. Вам не-

пременно дело нужно. А вот у меня никакого дела нет, кроме того, что сердце болит. «Мы о том и беспокоимся, Павел Евграфович, что у вас сердце больное. Годы ваши не малые, а вы в Ростов приезжаете в третий раз, силы тратите, время. Удивляемся вашей настойчивости. Сколько вам лет, Павел Евграфович?» Отвечаю. А я, говорю, удивляюсь тому, что есть люди, которым совершенно не интересна история своего народа. Им что так, что эдак, что то, что это — все едино. Какой-то старичок, чахлый, надрывный, вскакивает со стула. «Тогда объясните, зачем вы неправду защищаете? Хорошо, пускай он успешный военачальник, с Красновым и Деникиным воевал, почетным оружием награжден, все так, но зачем из него революционера делать? Зачем такую ложь допускать?» Глаза у старичка горят, кулачки веснушчатые, сжимаются, но я спокойно отвечаю: неправды никогда не защищал и защищать не стану. И если что говорю, значит, имею факты. «Нету фактов! — трясется старичок.— Он трудовик был! Народный социалист! Я с его братом Атаманское училище заканчивал и хорошо это гнездо знаю. Они все были мракобесы, большевикам служили из-под палки...» Вот этого не понимаю: черные да белые, мракобесы да ангелы. И никого посередке. А посередке-то все. И от мрака, и от бесов, и от ангелов в каждом... Кто я такой в августе семнадцатого? Сейчас, вспоминая, не могу ни понять, ни представить себе отчетливо. Конечно, и мать, и дядя Шура, и какие-то новые друзья... Общий хмель... Но ведь достаточно было в январе, когда умерла мама, тронуться чуть в сторону, куда звал отец, или еще куда-то, куда приглашали старики Пригоды, или, может быть, позвала бы с собой Ася, не знаю, кем бы я был теперь. Ничтожная малость, подобно легкому повороту стрелки, бросает локомотив с одного пути на другой, и вместо Ростова вы попадаете в Варшаву. Я был мальчишка, опьяненный могучим временем. Нет, не хочу врать, как другие старики, путь подсказан потоком — радостно быть в потоке — и случаем, и чутьем, но вовсе не суровой математической волей. Пусть не врут! С каждым могло быть иначе. Бог ты мой, зачем я вступаю в спор? У других стариков было, наверное, по-другому. Не следует никого обижать. Я был мальчишка, одинокий, мечтательный, живущий уличной жизнью и к тому же влюбленный без памяти... Человек, который отнял у меня Асю, едва не погиб три-

дцатого августа семнадцатого года в станице Усть-Медведицкой. Его едва не зарубил сотник Степан Герасимов.

Неужели революционеры лишь те, кто еле слышными, но живыми голосами могут о себе рассказать, доказать? А те, кто рвались, ярились, задыхались в кровавой пене, исчезали бесследно, погибали в дыму, в чаду, в неизвестности... Перед глазами: станичный сбор, многотысячная лава картузов, папах, окна распахнуты, мальчишки на крышах, и в светлом генеральском кителе смуглый, зноем испитой Каледин. Пылюга, жара. Меня там нет, но я вижу, слышу. Хриповатый, обреченный, высокий голос: «Наша программа известна всем — нам, казакам, не по пути с социалистами, мы пойдем с партией народной свободы...» Два месяца назад на Войсковом круге Каледин избран Донским атаманом. В дни мятежа Каледин шлет временным ультиматум: если откажутся от соглашения с Корниловым, то он, Каледин, с помощью казаков отрежет Москву от юга России. Временные распорядились атамана арестовать. Но Каледин не знает об этом, прискакал в Усть-Медведицкую «поднимать Дон».

Не знает и того, что творится под Питером: полки рвутся не в столицу, а по домам. Какую же силу надо иметь, чтобы после стольких лет сечи наново «поднять Дон»? Нет такой силы у смуглого старого генерала, который выкрикивает, напрягая шею, что-то всем ведомое, давно слыханное, пустое. Выборные старики стучат в ладони, орут «Верна!», но фронтовики матюкаются и свистят. Мигулин хочет продраться к трибуне, его не пускают. Мигулин — войсковой старшина, помощник командира 33-го Донского полка. И все же казаки проталкивают его, помогают плечами, пробивают ему путь. Говорит речь. Выступать он любит. Я слышал не раз. Спустя два года, летом девятнадцатого, когда он формирует Особый Донской корпус и мы мотаемся в эшелоне от станции к станции, он, чуть где остановка, высовывается из окна, кличет людей и открывает митинг. Умеет сразу, не мешкая и не петляя, зацепить какую-то такую жилу, что толпа содрогнется и загудит...

«Граждане станичники! Что для казаков главное было, есть и будет...— и, выждав паузу, насладившись общим секундным томлением, громоподобно и с размахом руки, будто гранату в толпу: — Воля, казаки! Давно

уже, лет двести, этой сласти у казаков нет, но любят о ней погутарить, языками ее помусолить. Воля, воля... Какая там воля, когда казаки — всякой бочке затычка? Где шум, бунт, туда их гонят, как пожарных огонь заливать. И воли не спрашивают. Революция этой лживой «воле» конец положила. Довольно из казаков делать всероссийского черта! Хотим мирной жизни, покоя и труда на своей земле. Долой контрреволюционных генералов!» — вот что бросает сидящим в зале Мигулин. Повскакали с мест, орут, кулаками трясут. Окна битком набитого помещения открыты, и толпа, теснящаяся на майдане, услышав шум и крики, начинает грозно бурлить. Вот-вот раздробят двери, ворвутся в зал. Мигулин пытается говорить дальше, но разъяренные старики и калединцы стаскивают его с трибуны, кулачный бой... Внезапно из толпы выскакивает сотник Степан Герасимов — фамилия врезалась, хотя читал о Степане Герасимове позже, когда рылся в архивах, в «Усть-Медведицкой газете» за 1917 год и вспомнил при этом, что в комендантском взводе при штабе 8-й армии служил Матвей Герасимов, тоже из казаков-северян, так что, возможно, родня тому, горячему,— и кричит Мигулину: «Извиняйся перед атаманом, не то голову прочь!» И шашкою замахнулся. Мигулин — наган из кобуры, дулом ему в лоб. «Бросай шашку!» Так стоят мгновение, замерев, сверля друг друга ненавистливыми взглядами, потом какой-то казак вырывает шашку у Герасимова и, сломав ее, выбрасывает в окно. Каледин между тем исчезает через черный ход.

Потом Мигулин выходит на площадь. Во время его речи перед гудящей толпой к крыльцу протискиваются писаря с телеграммой от военного министра Верховского: Каледина арестовать как соучастника мятежа. Мигулин крикнул группу верных себе фронтовых казаков, кинулись искать атамана, но того след простыл. Ускакал в Новочеркасск. Развело казаков — пока еще не кровью, а словами кровавыми. Как быть? Податься к кому?

Отца я почти забыл. Еще тогда забыл, когда он был жив. Последний раз он приезжал в Питер из Баку, потом он переселился в Гельсингфорс — в 1912 году. Помню, темная курчавая борода, очки, длинные мягкие руки, постоянное ковырянье с трубкой и все какие-то шуточки

над мамой. Он инженер. Мама его жалеет. Говорит о нем как о постороннем добром человеке. «Беда в том, что он робок. Нет, не трус, физически он смёл, но робок в мыслях». Расстались они много лет назад. Не знаю точно, почему. Кажется, причины тут были идейные. В студенческие годы он тоже бунтовал, протестовал, был сослан на год куда-то на север, но потом ушел в свою инженерию. И вот сидит в громадной холодной комнате, пьет чай, согревает пальцы стаканом и разговаривает вполголоса с Шурой. О чем? Мама тяжело больна. У нее воспаление легких после инфлюэнцы. Она может умереть. Кто-то сообщил отцу в Гельсингфорс, и он приехал.

Январь восемнадцатого. Только что объявили: хлебный паек уменьшен с трех восьмушек фунта до четверти. Я провел три часа на улице, сначала стоял за керосином, потом за хлебом. Воды нет. Трамваи не ходят. О чем говорят отец и Шура? Они шепчутся. Мама с утра без сознания, она не услышит. Они шепчутся, чтоб не услышал я, но некоторые фразы долетают. «Теперь, после декрета... Независимая страна...» — «Пусть решает сам...» — «Я думаю, она была бы за такое решение...»

Чувствую, что говорят обо мне. Отец — далекий, благополучный человек. Стал грузен, обрил бороду, оставив чуть заметный клинышек под губой, как у Луначарского. Привез корзину съестных припасов, лекарство — уротропин, которое в Питере трудно достать, и большую бутылку молока. Мама ничего не ест и не пьет. Лежит с закрытыми глазами, иногда лепечет что-то бессвязное.

Шура, поглядев на меня как-то странно и холодно, сощуриваясь, как он смотрел на новых людей, оценивая, на что они годятся, говорит: «Отец предлагает тебе уехать с ним в Гельсингфорс. Как ты на это предложение?» Никак. Куда я могу теперь уехать. «Не теперь, не сегодня и не завтра,— шепчет отец.— Я говорю о ближайшем времени, в принципе». У отца прекрасный теплый костюм из серого сукна в клетку, шерстяные носки и ботинки на толстой подошве, он сидит, положив ногу на ногу, покачивая ботинком. Взгляд у отца добрый. Такой проницательный и сочувственный сквозь очки, какой бывает у посторонних людей, исполненных добрых чувств. Они с Шурой говорят так, будто мамы нет. А мама вдруг разлепила глаза, но не может посмотреть ни на меня, ни на брата, ни на моего отца, глаза ее

устремлены на наш музейный, в лепнине, закопченный буржуйкою потолок, и явственно произносит: «От Шуры никуда не надо...»

Я и так знаю. Мы наклоняемся к ней, хотим дать то, другое, но она опять не видит, не слышит. Потом приходит Савва с винтовкой, в лентах, с двумя кобурами на поясе, и с ним бородатенький старичок, доктор, необычайно малого роста, как гномик. Савва привез его на автомобиле. Этот автомобиль должен отвезти Шуру в Таврический дворец, где открывается съезд Советов. Гномик осматривает маму, ничего не спрашивает, только хмыкает, покряхтывает, откашливается, как будто тоже болен или только что плотно поел, а мы четверо стоим вокруг и глядим на него — он перестает быть гномиком, вырастает на наших глазах. Его лицо становится грубым, тяжелым, мы видим тяжелый, грушею нос, окаменевшие скулы.

«Это может произойти через час. Может — ночью...» — говорит доктор. Он стоит возле кровати, держа саквояжик двумя руками, отставив ногу и глядя на нас свысока и очень зорко, будто определяя, сколько осталось жить каждому.

Под окном автомобильный гудок. Шуру вызывают. Он должен ехать на съезд. Он колеблется. Савва его отпускает: «Езжайте, Александр Пименович! Я с Ириной побуду». Да кто такой Савва? Простой матрос. Чужой человек. Шура хмуро молчит, не слышит. Он презирает чужие советы. Шура привык все решать сам: быстро, твердо и окончательно.

Гномик исчез. Снова гудок автомобиля внизу.

Долгим взглядом смотрит Шура на сестру, лежащую совершенно недвижно, с закрытыми глазами, и вдруг опять она поражает нас: медленно приподнялась рука и опустилась. Мама шепчет: «Шура, иди...» Шура уходит. Автомобиль затрещал, зафыркал, уехал. И тогда между Саввой и отцом возникает злой разговор, они как бы кричат друг на друга, но шепотом. Началось с того, что отец, мрачно усмехаясь, бормочет что-то как бы сам с собой: «Да, теперь очевидно... Таких людей победить нельзя...» — «Каких людей?» — «Таких, как брат Иры. Мне это стало сейчас совершенно ясно. И надеяться не на что...» — «Что вы желаете сказать про Александра Пименовича?» Я прошу их говорить тише или уйти в другую комнату. Опять мама подымает руку и шепчет:

«Пусть здесь...» Они говорят, шепчутся, спорят до сипоты, Савва мог бы застрелить или арестовать отца, потому что тот говорит оскорбительное — я удивляюсь, ничего не боится, а мама говорила, что он трус,— называет матросов бандитами, не Савву, а тех, кто убил Шингарева и Кокошкина. Матросы убили их в Мариинской больнице. «За анархистов не отвечаю,— шепчет Савва.— Сам бы их удавил».— «Нет, отвечаете за все. За всех и за все. И за то, что Ирина умирает, отвечаете...» Отец закрыл ладонями лицо, согнулся. Так стоит, согнувшись, длинный, я вижу лысину в венчике темных волос, лысина качается, громкий утробный звук раздается из-под ладоней, закрывающих лицо. Быстрыми шагами отец уходит из комнаты в коридор и оттуда куда-то дальше, на кухню. И Савва уходит за ним. А я остаюсь с мамой. Ничего сделать нельзя. Можно убить миллион человек, свергнуть царя, устроить великую революцию, взорвать динамитом полсвета, но нельзя спасти одного человека.

Вот о чем думаю. Человека, который умирает, спасти нельзя. Потом в моей жизни много этого. Оно как бы вплетается в жизнь, перемешивается с жизнью, образуя какую-то странную, не имеющую имени смесь, некое сверхъестественное целое, жизне-смерть. Все годы — накопление смертей, вбирание их в кровь, в ткань. Не говорю о душе, никогда не знал, что сие, и теперь не знаю. Сосуды мертвеют не от холестерина, а оттого, что смерть постоянно малыми дозами проникает в тебя. Уход мамы был первым. Уход Гали — наверное, последний. И тогда и теперь меня покидает единственный человек. Но между двумя смертями — между временем, когда я еще не успел стать собой, и временем, когда перестал быть собой, во всяком случае, в глазах других, потому что никто не знает, что ты остался тем же, и надо играть роль до конца, притворяясь, что действительно изменился, о чем кричит твоя внешность, докладывает твоя походка и свидетельствуют слабые силы, но это ложь,— между двумя смертями пролегла долгая жизнь, в течение которой меняешься не ты сам, а твое отношение к целому, не имеющему названия, к жизне-смерти. В юности ощущаешь так, теперь совсем иначе. Как я пылок, порывист, легкомыслен в январе восемнадцатого, несмотря на все свое горе! Испуг и жалость — вот что меня душит. Испуг перед тайной, которая отверзлась, я

оказался перед нею в одиночестве, и жалость к маме: она не увидит того, что произойдет в прекрасном, переразгромленном, переотстроенном мире, и не увидит того, что произойдет со мной. Ведь она так любила меня. При этом лютая жажда жить, познавать, понимать, участвовать! И нет того, что возникнет потом — каждая смерть поселяется в тебе. Чем дальше, тем эта тяжесть грознее. Когда умирает Галя, груз становится так тяжел, что это уже почти конец.

Отец держится твердо, будто заледенел на кладбищенском морозе, не шевельнется, не сморгнет, никого не видит, не отвечает, но вдруг подламываются ноги, грохается на колени, меховая шапка отлетела, головой в снег... Потом провожаем его на Финляндский вокзал. Савва простил отцу все, тоже поехал провожать. Савва убеждает отца: «А ты в Гельсингфорсе не теряйся, затевай заваруху! Человек ты наш, умственный пролетарий, тебя самого буржуи корячат!» Отец вздыхает: «Не так это просто...» — «Да ты начинай, примкни!» Отец говорит, что приедет в феврале снова и тогда решим, как быть: я к нему или он к нам. Но решать-то нечего. Он хороший чужой человек. В феврале он не приезжает, потому что в конце января там без его помощи затевается «заваруха» — сначала красногвардейцы, потом немцы, все там завертелось, отрезалось, получил какую-то открытку, когда вернулся с Урала, и потом исчезло навеки. Столько людей исчезло. Наступает великий круговорот: людей, испытаний, надежд, убивания во имя истины. Но мы не догадываемся, что нам предстоит. Нам кажется, стоит разгромить калединцев, рассеять банды Дутова на востоке — и революция победит во всей стране. Победа близка! Оренбург уже взят нами в январе! Дело двух-трех месяцев...

Так думаю не только я, но и Шура, и многие. Шура работает в Коллегии по организации Красной Армии. Я помогаю: перепечатываю на больших глянцевых листах ведомости. Называются бумаги так: «Информационный лист. Движение организации Красной Армии по России». Что, где, сколько, какие трудности... Помню, почти везде: нужны деньги, агитаторы, литература... Нужны два, три миллиона рублей... Вначале похоже на какую-то бумажную игру. И нас, играющих в эту игру в помещении Коллегии, немного. Потом оттуда выходит непобедимая сила.

Старики ни черта не помнят, путают, врут, им верить нельзя. Неужто и я? И мне? Ведь отлично помню, Мигулин коренаст, плечист, среднего роста. Руки необыкновенно сильны. Руки не кавалериста, а кузнеца. Партию новых сапог привезли снабженцы. Мигулин на снабженцев за что-то в большом гневе. Схватил сапог и разодрал руками по шву. «Вот какую гниль, собаки, привозите!» После него никто не мог, как ни пыхтели, ни один сапог разорвать. Сапоги были нормальные. Года четыре назад в Ростове в музее разговариваю со стариками, смотрю фотографии. Все Мигулина хорошо помнят. Один старик говорит: «Я был мальчишкой. Видел его в Ростове. Он был худощавый, стройный, как юноша. Лет тридцати...» Другой старик возражает: «Нет, ему сорок пять лет, когда он погиб». Третий старик, низкоросленький, говорит: «Он был небольшой. С меня ростом». И ведь каждый считает, что только он знает истину. Еще один там же, в Ростове, допрашивал с пристрастием: «А ты скажи, коли ты его видел, какая у него самая отличительная черта? В его внешности?» Я был в затруднении. Он сказал с торжеством: «Самая отличительная — левый глаз прищуривался в минуты волнения!» Про глаз совершенно ничего не помню. Вполне возможно, что врет.

А Каледин застрелился, кажется, в начале восемнадцатого. Чуть ли не в январе. Это значило: конец, полное отчаяние. Донские станицы объявляли о признании советской власти. Пожара на Дону могло не быть.

Прощание с Володей, выпал первый снег. Несколько дней после Октябрьского восстания. Я поехал в «Электрическое общество 1886 года» платить за все лето, мама почему-то не хотела, но Шура дал деньги и велел поехать и заплатить, на обратном пути у дома столкнулся с Володей. Он показывает телеграмму: «Заболела приезжай срочно». Потом оказалось, что мать просто вызывала его, испугавшись событий. Билеты на поезд достать немыслимо. Все рвутся из Питера. Володя ждет меня целый час: хочет, чтоб я поговорил с Шурой, чтоб тот достал. Пока Шуры нет, мы сидим с Володей в большой комнате — хозяева смылись, теперь вся квартира при-

надлежит нам — и при свечах роемся в громадной библиотеке. Хозяином квартиры был управляющий Трубочного завода. Я видел его несколько раз. Неприятный тип. Маме говорил «мадам». И всегда что-нибудь колкое: «Мадам, не обидитесь, если сделаю замечание, отнюдь не политического характера, вашему другу-матросу... Ради бога, не обижайтесь... Дайте деликатно понять, что не следует в туалете садиться орлом. Туалет — вещь хрупкая, а матрос весит пудов семь». У мамы после разговора с ним белеет лицо. Но она сдерживается. Внезапно управляющий со всей семьей собрался и уехал, не сказав куда. Даже записки не оставили. Просто мы пришли домой очень поздно, около полуночи, и удивились — дверь на лестничную площадку распахнута, внутри тоже все раскрыто, на полу бумаги, обрывки газет, веревок, как после грабежа. Теперь сидим, листаем чужие книги, есть много ценных и замечательных.

Володя говорит: нужно два билета до Камышина, с ним поедет земляк, студент. Но врать Володя не умеет. Вижу отчетливо: врет. Не смотрит в глаза, нервничает, то и дело подбегает к окну,— ему кажется, что подъехал автомобиль. Электричество не горит. На улице мрак. Если высунуться из окна, можно увидеть вдалеке костер на Большом проспекте. Я спрашиваю: «Что с тобой происходит? Ведь ты врешь».— «Вру».— «А зачем?» Пожимает плечами: «Да черт меня знает... Я еду с Асей».

Вот и все. Забытая боль.

Володя начинает бурно, торопясь, рассказывать: сомнения, колебания, мучительные подробности... Я спрашиваю: «Ты читал статью о масонах в последнем номере «Былого»? Не хочу его слушать. Не хочу ничего знать. Внезапно стук в дверь. Шура подъезжает на автомобиле, шофер всегда сигналит в клаксон у подъезда, а мама звонит в особый звонок. «Кто?» Мужской голос отвечает не сразу: «Здесь живет Александр Пименович Данилов?»

Входит некто в полушубке, меховой шапке-ушанке, охотничьих сапогах, но при этом темные очки, иссохшее остроносое лицо, в руке не соответствующий полушубку дорожный баул иностранного облика.

«Шигонцев Леонтий Викторович»,— представляется некто, сняв меховую шапку, обнажив странно узкий, вытянутый кверху череп. Этот череп поражает сразу. В нем какие-то вмятины над висками, которые суживают его еще сильнее. Человек со странным черепом, похожим на

плохо испеченный хлеб, сыграл заметную роль в моей жизни, и тогда, и в девятнадцатом, и отбросил тень на годы вперед. Поэтому хорошо помню первое появление. Сразу догадываюсь, что человек, называющий Шуру Александром Пименовичем Даниловым, должен знать его давно, может, по каторге или по ссылке. Такие люди возникают часто. Особенно много нагрянуло весной, жили у нас по неделям, но этот что-то припозднился. Откуда он?

«Из Австралии»,— говорит Шигонцев. Все верно, Шуру знает по тобольской каторге. Потом перевели в Горный Зерентуй, потом в ссылку, оттуда бежал, попал в Австралию, вернулся два месяца назад во Владивосток. И только теперь, второй день — в Питере. «Еще никого не видел, ничего не знаю, первым делом бросаюсь искать Александра. Ведь как мечтали в тобольских п а л я́ х, чтобы, когда случится революция, быть вместе в Питере. И долги свои стребовать». Какие долги? «Всякие! Все! Весь мир у нас в долгу!» Шигонцев широко разводит руки, будто обнимая и стискивая воображаемый мир или, может быть, очень большую женщину, потрясает руками, улыбается, подмигивает, все как-то неестественно бурно и откровенно, я вижу, как сверкают под очками маленькие темно-грифельные глаза, в них лукавый задор. И любит в разговоре оскаливаться, как бы от страсти, от нетерпения, тяжело дыша, показывая стиснутые зубы. Никогда не видел такого темпераментного, несколько комичного революционера. Все прежние, бывавшие в нашем доме, были люди степенные, молчальники. А этот не закрывает рта всю ночь. Приходят Шура, мама, садимся пить чай, Володя просит Шуру насчет билетов, тот куда-то звонит, распоряжается, мама рассказывает о последних новостях — Духонин смещен, Главковерхом назначен прапорщик Крыленко, двенадцатого будут выборы в Учредительное собрание,— и все это переплетается или, лучше сказать, сопровождается неумолчным говором Шигонцева.

Он говорит даже тогда, когда его не слушают. Похоже, он изжаждался и по возможности молоть языком... Бог ты мой, о чем только не рассказывает! О бегстве из Сибири, о духоборах, о тайных курильнях опиума, о коварстве меньшевиков, о плаванье по морю, об Австралии, о жизни коммуной, о своих подругах, которые не захотели возвращаться в Россию, о том, что че-

ловечество погибнет, если не изменит психический строй, не откажется от чувств, от эмоций... Шура называет своего приятеля шутя Граф Монте-Кристо.

Но потом все поворачивается такой стороной, что не до шуток. Правда, происходит не сразу. Года через полтора. А тогда, в ноябре семнадцатого, разговоры, веселье, вспоминают друзей, кто исчез, кто перекрасился, многие очутились в Питере, включились в борьбу, Егор Самсонов, например, возглавил путиловскую милицию, теперь верховодит в Красной гвардии. «Егорка жив? — кричит Шигонцев.— Он здесь? Ого, значит, наша восьмая камера у российского штурвала. Так и быть должно!» Егор прославился на каторге стихами и избиением доносчиков. Я его знаю. Он приземистый, мрачноватый, в пенсне. У всех почему-то худо с глазами. Шигонцев с возбуждением, будто выпил вина — хотя ничего, кроме чая, не пито,— рвется тотчас бежать искать Егора. Но это невозможно. Тогда они начинают вдвоем, вперебивку, вспоминая, читать стихи Егора о каторге.

«Звонок подымет нас в ноябрьской мутной рани, и свет чадящих ламп...» — выкрикивает Шигонцев и замолкает, забыл. «Сметет обрывки грез»,— подсказывает Шура. «И окрик бешеный, и град площадной брани...» — продолжает Шигонцев, и вместе: «Пора вставать! Эй, подымайся, пес!»

У Шигонцева из-под очков ползет влага. Вытирает щеки дрожащими пальцами. Придется человечеству погибать — от чувств спасения нет.

«Вы, упрямцы, умевшие все снести без мольбы и проклятий, обнажавшие молча на плахе клейменые плечи... Вы уйдете отсюда, как гонцы и предтечи все отвергнувшей и на все покусившейся братии...» Знали бы, что случится через три месяца: в Ростове, куда Егор ворвется со своим петроградским отрядом, Шигонцев будет обвинять его в мягкосердечии и требовать предания суду трибунала. А сейчас плачет от невозможности увидеть Егора немедля, сию минуту. И еще рассказывает в тот вечер какие-то студенческие истории: кружки, изгнание, разговор с приват-доцентом, администратором, сволочью, от него зависела судьба, унизительное стояние на ковре, жуковидный инородец за громадным столом, лакей мерзко стоит в дверях, бормотанье, мольба — пожалеть мать. Единственно ради чего: мать не переживет

нового исключения. Ледяным тоном: «Зачем же перекладываете заботу о матери на нас? Вот и заботились бы о ней своевременно». Мать не пережила. Долго ждал сладкой минуты, лелеял в австралийских снах приход в тот самый кабинет с ковром — дай бог, чтобы не реквизировали, чтоб сидел за тем же столом, царапал что-нибудь жучьей лапкой,— и взять за подбородок: «А помнишь, скот?..»

И, кажется, достиг, настиг. Не в кабинете, правда, и не в том особняке на набережной, со швейцаром и лакеями, а на Финляндском вокзале — выковырял его из купе, из чемоданов, еще бы час, и поминай как звали. В декабре Шигонцев потрошил укрывателей ценностей и много в том преуспел. На улице раздается стрельба. Очень холодно в комнатах. Тянется мглистая стреляющая ночь, в ее чреве — враги, опасности, заговоры, неизвестность, оплывают свечи, гудят, и курят, и хлебают чай два каторжанина, Володя ушел, мама дремлет, а я слушаю, зеваю, мечтаю, догадываюсь. Перевернулось все в России, понеслось, полетело... В середине ночи, когда все укладываются — квартира громадная, каждому по комнате,— мама заходит к Шуре, спрашивает тихо: «Ты как считаешь, Леонтий умный?» А я все слышу, потому что открыта дверь. Шура, помолчав: «Не столько умный, сколько горячий. Я бы сказал, кипящий...» — «А я бы сказала: много пены»,— говорит мама. Оба смеются. Бесконечно понимают и любят друг друга.

А за завтраком мама рассказывает, что Шигонцев на рассвете ломился к ней в комнату, требовал, чтоб отворила. С совершенно ясной целью. «На него похоже,— говорит Шура.— Что ты ему ответила, дураку?» — «Он не дурак. Просто вот такой человек. Я даже не знаю, на кого он похож. На героев Чернышевского, что ли? На Нечаева, может быть, как описывает Засулич? Таких людей я знаю... Я говорю: Леонтий Викторович, ведь вы призываете человечество побеждать в себе эмоции. А он отвечает: об эмоциях, Ирина, тут нет речи. А? Каково?» Мне это кажется возмутительным, но Шура и мама смеются. Шура говорит: «Врать никогда не умел, это его достоинство...— И добавляет всерьез: — Впрочем, врать порой необходимо — д л я д е л а...»

Трещащий храп летит из соседней комнаты.

Шура вспоминает, морщит обугленный лоб, улыба-

ется: был бич восьмой камеры Тобольского централа. Неповторимые люди! Похожих на земле нет, время пережгло их дотла...

Ася прижимается к Володиному плечу, слезы текут по жалкому, потерянному лицу, никогда не видел ее такой. Елена Федоровна сидит напротив и, даже не ответив на мое «здравствуйте», так поглощена минутой, выговаривает едва слышно: «Наша настоятельная просьба... Когда святейший синод даст разрешение на брак...» Константин Иванович маячит в дверях, заходить в купе не желает, да и некуда, теснота, едут кроме Володи и Аси еще человек шесть, сидят на лавках вплотную, как в трамвае, Константин Иванович поминутно изгибается и извиняется, пропуская прущую по коридору толпу с поклажей. И куда прут? Где все поместятся? «Леночка, не волнуйся! Леночка, у меня есть рука в синоде, есть ход к Василию Карповичу...» Он разговаривает с нею, как с больной. Не возражает ни в чем, соглашается, поддакивает всякому бреду, какой она несет. Может, она и правда слегка тронулась. Какой, к чертям собачьим, синод? Какое разрешение на брак? Никто не спрашивает никаких разрешений. Девять человек набиваются в купе, где должны ехать четверо. Синод, вероятно, уже уничтожен декретом. Не имеет значения. Мне горько, ошеломительно, от меня скрывали, я прощаюсь с ними навсегда. Но не имеет ровно никакого значения. А Володино лицо — невольная улыбка и глаза, в них жадное, всепожирающее счастье...

Больше года не слышу, не знаю о них ничего. Утянуло в воронку, и исчезли. Все без них: поездка с Шурой на юг, экспедиция Наркомвоена, потом чехи, Урал, Третья армия, отступление, Пермь, я стал другим человеком, видел смерть, хоронил друзей. И только в феврале 1919 года, когда Шуру после ранения послали на Южный фронт, вернее, в тыл Южного фронта, в освобожденные районы, и мы оказались на Северном Дону, я слышу от кого-то про Володю, будто он вместе с Асей, женой, при штабе Мигулина, в Девятой армии. Не могу поверить. Да тот ли Володя? Тот самый, камышинский, пи-

терский, по фамилии Секачев. Такой высокий, курчавый, с румянцем, лет ему не более двадцати, а то и меньше, и ей столько же. Он в пулеметной команде при штабе, а она машинисткой. Приказы печатает и разные воззвания, листовки, даже стихи, которые Мигулин сочиняет и разбрасывает тысячами. Мы эти мигулинские творения находим повсюду на его следах. «Братья-казаки Каргинского полка! Пора опомниться! Пора поставить винтовки в козлы и побеседовать не языком этих винтовок, а человеческим языком...»

Но как Володя и Ася очутились в штабе красных войск? И не просто в штабе, а в сердцевине самой победоносной и знаменитой в ту пору армии? Мигулин ломит на юг. Небывалый успех. Почти вся Донщина освобождена, красновская армия развалилась, катится к Новочеркасску, падение донской столицы — дело дней... А я-то подумывал, что Володя и Ася чахнут где-нибудь в Екатеринодаре, а то, может, махнули в Болгарию, Турцию... Но увидеть их не могу. Они на юге, мы с Шурой — в станице Михайлинской, в ревтрибунале округа. Между нами сотни верст.

О Мигулине мы знаем по разговорам. Говорят о нем повсюду и все, и — разное. Кроме того, что он самый видный красный казак — после гибели Подтелкова и Кривошлыкова, недавней смерти Ковалева крупней нету,— кроме того, что войсковой старшина, искусный военачальник, казаками северных округов уважаем безмерно, атаманами ненавидим люто и Красновым припечатан как «Иуда донской земли», кроме этого, общеизвестного, на нас обрушиваются во множестве слухи, выдумки, байки и просто подробности жизни, ибо мы попали в его края. Родной хутор Мигулина в десяти верстах. Каков он? Шут его поймет, фигура странная, зыбкая, то мерещится в ней одно, то брезжит другое. Называет себя не без гордости старым революционером. В своих пылких воззваниях, писанных в провинциальном, гимназическом стиле, очень искренне и шумливо, которые тискает на чем попало — на обоях, на оберточной конфетной бумаге, повторяет то и дело: «Я, как опытный революционер...», «Мне, как старому борцу с царским режимом...» И, кажется, тут не просто слова. Но иные люди, вроде председателя Михайлинского ревкома Бычина, говорят, что брешет, никаким революционером не был, а просто горлопанил на сходах. Да однажды ездил

на казенный счет в Питер, отвозил в Думу какие-то писульки, пустое дело.

Меня этот тип занимает. И не только тем, что Володя и Ася где-то там, поблизости. И не тем, что газеты трубят о нем: герой, победитель донской контрреволюции, непобедимый, неуязвимый. Красновцы целыми полками перебегают к нему. И вдруг столь же внезапно его покидают... Один раненый казак рассказывает: Мигулин отпускает пленных казаков по домам. Чтоб «пущали пропаганду». Но от ревкома другие сведения: пленных освобождает потому, что не может победить в себе сочувствия к брату-казаку. В первую очередь он казак, а потом уж революционер. Мигулин ведет двойную игру! Так поговаривают в ревкомах, в штабах, в трибуналах. На чем основано? И опять зыбкость, туман, невнятица... О какой же игре речь, когда он на Донце?

Один кудлатый седоватый молодой человек, издающий газетку политотдела, недоучившийся студент Наум Орлик говорит: он опасен тем, что скрытый сепаратист. Хочет сделать из Дона что-то вроде Финляндии. Это тщательно скрывается, но люди, знающие его по прошлым годам, утверждают доподлинно: сепаратист. Хотя клянется сейчас в верности большевикам, но все помнят прежние симпатии: он был трудовиком, затем народным социалистом. В Питере был близок к донским депутатам. «А если хочешь точнее: он истинный донской националист! Со всеми милыми качествами. И к тому же,— Орлик встряхивает кулаком, будто печать ставит в воздухе,— с эсеровской начинкой!»

Спорить с Орликом трудно. Он все знает заранее, ни в чем не сомневается. Люди для него — вроде химических соединений, которые он мгновенно, как опытный химик, разлагает на элементы. Такой-то наполовину марксист, на четверть неокантианец и на четверть махист. Такой-то большевик лишь на десять процентов, снаружи, а нутро меньшевистское. «А ты,— говорит мне,— стихийный, неустойчивый большевик. В тебе сильна либеральщина. Ты на две трети наш, а на треть — гнилой интеллигент». Черт его знает, откуда он это берет! Может, оттого, что я спорю с ним и с другими ревкомовцами насчет расстрелов и реквизиций.

А мне кажется, что главный предмет спора с Орликом, всех споров со всеми — Мигулин. Если понять или

хотя бы решить для себя, что он такое, станет ясно многое.

Несмотря на наши споры и даже ругань, я с Орликом дружу. Я его уважаю. Мне кажется, что он мой товарищ, хотя он старше на десять лет и участвовал как дружинник в революции пятого года, побывал в ссылке, мучился, бедствовал, левая рука у него перебита шашкой, не действует. В енисейской ссылке он перечитал уйму книг и знает в сто раз больше меня. И в двадцать раз больше Шуры. Ведь Шура не очень много читал. И все же Шуре я доверяю больше. «Сначала собрать факты,— говорит Шура,— а потом делать выводы. Наум, как всегда, торопится».

Шура — человек кропотливый, основательный. Любитель статистики.

А факты такие: Мигулину теперь сорок шесть. Если он и революционер, то действительно старый. Но, говорят, еще крепок, силен и в походе, и в скачках, в рубке, во всех казацких занятиях ловок. Все подтверждают и другое — образованный, книгочей, грамотней его не сыскать, сначала учился в церковноприходской, потом в гимназии, в Новочеркасском юнкерском, и все своим горбом, натужливыми стараниями, помочь некому, он из бедняков, и, когда выбирали, кого посылать в Петербург, в Думу, с приговором станичного сбора насчет призывников, выбрали его. Потому что выступил на сборе зажигательно. Девятьсот шестой год. Он только что вернулся с полком из Маньчжурии, заслужил там четыре ордена и повышение в чине — стал подъесаулом. А в родной станице на сборе сразу врезался в стычку с начальством. Дело касалось больного и травленого в казачьей душе — того, что называлось «содействие войск гражданским властям». Как раз в ту пору правительство решило усилить «внутренние» войска и призвать казаков второй и третьей очередей да еще тех, кто вернулся с японской. Мало им казачьих частей в гарнизонах! Глупо думать, что нагаечная служба всем по нутру. Стали повсюду на сборах протестовать. Мой хозяин в Михайлинской вспоминает: молодые орали смело, старики пытались вразумлять, но без особого пыла. Мигулин поехал в Питер с наказом от станичников, чтоб вторую и третью очереди не тянули, а на обратном пути внезапный арест, гауптвахта в Новочеркасске, лишение офицерского звания и отчисление из войска... Ну как,

считать ли это событие революционным актом? По мне, так непременно. Для казачьего офицера такое выступление против властей — дело неслыханное. А уж для личной судьбы тут подлинно революционный зигзаг — все сломано, карьера рухнула, служба потеряна...

Потом работа в земельном отделе в Ростове, потом начало войны, призыв в войско, 33-й казачий полк... Бои, награды, кажется, и георгиевское оружие... Февраль... Когда мы с Володей и Асей бегаем по питерским улицам, собирая на Совет, Мигулин рвет глотку на митингах то в полку, то в родной станице. Сколотил трудовиков, возглавил. Его — кандидатом в Учредительное собрание. О да! Удивляться не следует, люди в наши дни кидаются туда-сюда шало, нежданно, как в угаре. Еще недавно какой-нибудь военспец костерил солдат и звал в бой «до победного», а нынче кричит большевистские лозунги. А другой вчера в нашем штабе сидел, чертил схемы, распоряжался, а сегодня у добровольцев французские сигаретки курит. Вроде Всеволодова и Носовича, бывших спецов, ныне каинов...

Полковники! Страшный сон комиссаров. Как заглянуть в чужую душу? Как угадать, честно ли, по искреннему порыву, по глубокому ли размышлению решили спороть погоны и нахлобучить шлемы со звездой или же тут дьявольский, дальний расчет? А времени для того, чтобы изучать и приглядываться, нет.

Ведь и Мигулин — войсковой старшина, подполковник.

Никто не говорит прямо, что Мигулин может повернуть штыки — да и странно говорить, когда Девятая армия, в авангарде которой Мигулин, мощно таранит белых! — но в разговорах ревкомовцев, уполномоченных, трибунальцев из местных одно устойчивое: недоверие. Или, может быть, чтобы уж совсем точно: неполное доверие. Таранить-то он таранит, очистил почти весь Дон, но зачем ему это нужно, вот закавыка. Что-то в этом роде, невыговариваемое, глухое, но невероятно прочное, не победимое ничем, я чую во всех разговорах о Мигулине. «Поимейте в виду,—говорит Бычин,— Мигулин что большевиков, что беляков любит одинаково: как собака палку!»

Я бы, может, и поверил Бычину, он местный, михайлинский, хотя не казак, а иногородный, его отец служил в работниках у богатого казака, сам Колька рыбачил

на Азове, вернулся большевиком и сразу выбился в красные атаманы — председателем ревкома. Голова у Бычина, как стог, книзу шире, лицо бурое, глаза щелками, голубые, в свинцовых белках, а волосы льняные, младенческие. Кулаки у Бычина пудовые, носит он их, как гири. Я бы поверил ему, если б не Слабосердов. Учитель Слабосердов. Человек в возрасте, под пятьдесят — теперь подумать, какой возраст! — жене столько же, у них два сына, меня чуть старше, бывшие студенты, нигде не служат, не работают, не поймешь, чем занимаются. Мы-то с Шурой откуда знаем? Борьба кипит злая, без пощады. Кто промахнулся, тому пулю в лоб. Так и быть должно в период классовых битв. Всех богатеев, монархистов, связанных с красновцами, человек сорок по списку Бычина, мы задержали сразу, а Слабосердовых взять повода нет — никакие не богачи, не контрреволюционеры, а наоборот, с прежней властью бывали стычки.

Однако Бычин настаивает. Нам-то с Шурой откуда знать? Мы одно знаем: промахнешься — пулю в лоб.

«Старика нам даром не нужно,— объясняет Бычин,— пущай живет, гнида лысая, а молодцов — под залог. От них революции вред». Шура колеблется. Бычин так: сказал — все! Мужик тяжелый, ни с кем не считается, никакого спору не терпит, Шура говорит, что таких долдонов он на каторге встречал, сперва, говорит, их побаиваются, а потом лупят скопом до полусмерти, но, однако, время лютое, враги вокруг, и тяжелые мужики нужны. Каждый день: то ревкомовца зарубили, то кого подстрелили, то отряд, высланный произвести реквизицию, натолкнулся на пулеметы и приходится разворачивать настоящий бой. Все зыбко, неспокойно, запутано — оно и радость, ликование газет, победные клики на митингах и какая-то тайная лихорадка, предчувствие потрясений. Потому что ходим по краю. Шуре многое не по нраву из того, что делается на Дону. Он ругается иной раз до крика, до безобразнейших оскорблений с местными ревкомовцами, с Бычиным, Гайлитом, со своими трибунальскими, с людьми из Донревкома, от чьего имени вдруг нагрянул в Михайлинскую наш приятель Леонтий Шигонцев.

Вспоминать смех, какую глупость творили: лампасы носить запрещено, казаком называться нельзя, даже слово «станица» упразднили, надо говорить «волость». Будто в словах и лампасах дело! Вздумали за три месяца

перестругать народ. Бог ты мой, вот дров наломано в ту весну! И все от какого-то спеха, страха, от безумной нутряной лихорадки — закрепить, перестроить разом, навсегда, навеки! — потому что полки прошли, дивизии проскакали, а почва живая, колышется... Конечно, были среди них враги истинные, ненавистники лютые, были богатеи, несокрушимые в злобе, их не переделать, не примирить, только огнем... Но нельзя же под один гребень всех...

Бычин говорит: «А я всему их гадскому племени не верю! Потому что нас завсегда душили. За людей не считали. Мужик и мужик, лепешка коровья. У них для нас доброго слова нет...» — «Никому не веришь?» — «Никому!» — «Неужто все таковы?» — «Все волки; только одни зубы кажут, а другие морду к земле гнут, так что не видать».

Шура объясняет терпеливо: казак казаку рознь, в южных округах, к примеру, средний казачий надел двадцать — двадцать пять десятин, а на севере — две, четыре десятины... Как же равнять?.. То же насчет казачьих прав и привилегий: в низовьях они имеют значение, а на севере почти бесполезны... Возьмите хоть права на рыбную ловлю, на недра... Юг всегда жил в ущерб северу... Марксизм учит: бытие определяет сознание. А бытие тут отнюдь не равное...

...Бычин все знает про марксизм, согласно кивает головой, похожей на стог, но в глазах, белых, неподкупных, свинец.

«Верно, бывает и голытьба, и рвань. Только знаешь, Александр Пименович, когда моего брата чуть не убили, кнутами засекли — он и досе инвалид,— там не одни богачи, там и рвань была, зверствовали не хуже». А секли брата, оказывается, «по молодому делу, учителеву дочку в саду помял». «Выходит, за дело?» — «Как за дело, Александр Пименович? Он по любви, жениться хотел, а они — ты, мол, хам и думать не моги... Обидно! Мы казаки, белая кость, а ты гужеед, скотина, тебе навоз копать. Они хотя учителя, но буржуи чистой воды. У них два работника постоянно. Американская косилка, лошадей табун, табунщик есть, калмык. Дом самолучший, на каменном фундаменте, в два этажа. И еще в Ельце дом — его, учителя. А здешний-то достался в приданое, она дочка Творогова, станичного атамана. Так что семья известная. От них вред для революции очень

большой». Было давно, лет пять назад, сыновья учителя тогда еще были гимназисты, а теперь под замком в съезжей. Бычин до них добрался. Ему видней, он здешних знает. И вот, когда сыновей взяли, суток двое они в подвале сидят, является к нам Слабосердов, лобастый такой бородач, одетый по-городскому, в длинном черном пальто с меховым воротником, в шляпе и в сапогах грязных — упала оттепель, грязь невпролаз.

Сидим в комнате — Шура, Бычин, его помощник Яшка Гайлит, брат Петьки, еще человека три,— обсуждаем новость, приказ Донревкома, присланный телеграфом. Насчет реквизиции конской упряжи с телегами. И Орлик тут. Приказ — бомба. Не знаем, как приступить. Получен вчера, держим в секрете, но слухи непонятным образом просочились и ползут по станице, как огонь по сухой траве. И это страшней всего. Если уж бить, так сразу. Один ревкомовец сообщает, какие-то казаки гнали ночью коней с порожними телегами в степь, сам видел. Хотел остановить, кричал, в ответ стрельба, ускакали. Так и не узнал, кто. Разумеется, было б верней навалиться тотчас, как получена телеграмма, то есть позавчера, пока народ не прочухал и не прознал, внезапность в таких делах нужней всего. Но возник тормоз — Шура мнется, кое-кто из местных казаков-ревкомовцев тоже кряхтит, а Бычин и Гайлит гнут свое: исполнять немедленно. Спорим, орем. Исполнять тотчас нельзя вот почему: красноармейский отряд в разгоне, по просьбе ревкома станицы Старосельской послан туда, казаки волнуются из-за комиссара-австрийца, который до́нял нелепыми распоряжениями, а начинать без отряда немыслимо. Шура отправил в Донревком телеграмму: «Прошу отменить приказ реквизиции конской упряжи телег обстановка неблагоприятная»,— на что последовал быстрый ответ: «Обсуждение приказов не входить выполняйте».

У нас девять штыков. Охрана тюрьмы и трибунальский конвой. Если пойдет гладко, можно обойтись девятью, а если не гладко? Утром прискакал нарочный из Старосельской с сообщением, что отряд задерживается, комиссар-австриец убит, отряд подвергся бандитскому нападению, бандиты разгромлены, в станице тихо, но необходимы меры возмездия. Вот отчего задержка. Февраль девятнадцатого. Темные ночи, ветра, непроглядность, озноб...

Входит учитель Слабосердов.

Бычин вскакивает. «Кто пустил?» — «Да ваш караульный спит...» Караульный, старый казачишко Мокеич — вскоре зарубили филипповцы,— дремлет на крыльце. Чего ж не дремать? Все измотаны, изломаны ночами без сна. Бычинский стог — лицо — похудел, опал, в обвод глаз синяками круги. Машет на учителя руками, выгоняя его, как муху, в дверь: «Нет, нету, нету, нету, время на разговоры! Потом зайдешь!» Но Слабосердов проходит к лавке, садится. «Потом нельзя. Будет поздно». Яшка Гайлит подошел к нему, строго: «Идите отсюда сейчас!» Учитель снял шляпу, зажмурился, качает головой. Я вижу, лицо в поту и губы дрожат. И говорю, что нельзя прогонять человека. Орлик тоже: «Пускай скажет, зачем пришел!» Бычин и Шура всегда немного как бы толкаются плечами на заседаниях, как бы скрытно соперничают и мерятся властью. Бычин — председатель ревкома и член окружного трибунала, а Шура — председатель трибунала и член ревкома. Но Бычин хотя и надувается, как павлин, а все же понимает разумом: Шура ему неровня, он в партии полтора года, а Шура — пятнадцать лет. Разница! Поэтому то криклив, задирист и хочет глупо надавить, заставить сделать посвоему, а то вдруг — прорывается разумение — почтителен, искателен даже. И теперь почему-то с почтительностью: «Александр Пименович, как считаешь, допустим гражданина до разговора? Или пущай завтра зайдет? Да это Слабосердов, учитель, на дочке атамана Творогова женатый. Его сыны в залоге сидят, как враждебный элемент».

«Говорите,— обращается Шура к учителю,— только кратко. Времени крайне мало».

Бычин грозит пальцем: «И насчет сынов не проси! Разговор конченый».

Слабосердов будто бы спокойно — а пальцы дрожат, мнут старую шляпу — заводит длинную ахинею насчет казачества, его истории, происхождения, нравов, обычаев... Шура глядит на учителя пристально, лицо Бычина наливается бурой краской, ему кажется, что его дурачат. Вдруг выпаливает: «Ты чего плетешь?» И Наум Орлик добавляет: нет времени слушать лекции по истории. В другой раз, на досуге, после победы мировой революции. Но Слабосердов вдруг твердо: «Однако, граж-

дане, вы решаете исторические вопросы. Так что историю вспомнить не грех».

«Куда клоните?» — хмурится Шура.

«Клоню к тому, что в станице гудят. Будто есть приказ реквизировать повозки, седла, конскую упряжь — все казацкое богатство, без которого жизни нет. Вы хоть понимаете, что это будет? Он вам скорее жену отдаст, чем седла и упряжь».— «Все отдаст, что революция потребует»,— говорит Орлик. «А не отдаст — во!»— Бычин подносит к лицу Слабосердова кулак, похожий на гирю. Учитель не замечает кулака, не слышит того, что говорит Орлик.

«Я пришел, граждане, предупредить... Надо слишком мало знать казачество, чтобы полагать, что можно бесконечно на него жать: сначала контрибуцию на богатые дворы в пользу какого-то отряда, которого никто не звал, свалился на нас невесть откуда... Потом реквизиция хлеба, фуража...»

«Отряд, который занимался тут контрибуциями, был анархистский,— говорит Шура.— Советская власть не имеет к нему отношения».

«Да что вы с ним балы разводите! — кричит заместитель Бычина по ревкому, черный, с плоским, калмыцкого типа лицом Усмарь.— Обнаружился, гад! В расход его!»

Но Шура: нет, пускай доскажет. Учитель говорит: если вправду есть такой приказ и начнут его выполнять, в станице будет бунт. Не пустая угроза, а реальная. Он, Слабосердов, пришел не пугать, не грозить, пришел не от какого-то комитета, а от себя самого — всю жизнь он собирает материалы по истории казачества, пишет книгу, знает казаков хорошо и смеет думать, что не ошибается и сейчас. Дошло до края. События разразятся трагические. И уж тем более, если разыграются взаимное озлобление и месть — если жертвами падут заложники... «Да вы сознаете, что происходит в России? — спрашивает Шура.— Или мы мировую буржуазию в бараний рог, или она нас. А вы допотопными понятиями живете: «трагические события», «месть», «озлобление». Тут смертный классовый бой, понятно вам?»

«Я теории Маркса не отрицаю, гражданин Данилов, я с нею знаком, даже увлекался в какой-то мере, но согласитесь, теория — одно, практика — другое. Чувство

мести, к сожалению, может примешиваться, как ни прискорбно...»

Странное впечатление: бессмысленной нелепой деликатности и чего-то твердого, негнущегося, какого-то несуразного торчка. Сразу вижу, не жилец. Ничего не понимает. И его не понимает никто.

«Не слухайте его! Пошел отсюда, ворона! Раскаркался!» Это Усмарь. Он озлоблен против учителя больше других, даже больше Бычина. Федя Усмарь — из казаков-середняков, смуглый, корявый, отчетливо помню плоское, блином лицо, всегда прищуренные глаза, не видно, куда глядит... Вскоре открылось — агент белых. По его указке деникинцы, захватив Михайлинскую, вырубили всех, кто помогал ревкому. А Бычин — балда. Оттого и погиб.

Усмарь показывает учителю наган. «За провокацию знаешь что? Ведь ты провокатор!» — «Не боюсь вас, граждане...» Вдруг силы покидают учителя, шляпа выскальзывает из рук. Слабым голосом старик говорит:

«Но невинных людей зачем же? За что моим детям такая казнь?.. Я вас умоляю, гражданин Данилов, не поступайте необдуманно...» По лицу Слабосердова текут слезы. Они сами по себе, а лицо грубо, мертво застыло.

«Ах, вона? Боится восстания, потому что сынов расстреляем, как заложников?» Слабосердов молчит. Да и так ясно. Пришел ради них. Однако остановить ничего нельзя, приказ должен быть выполнен.

В разбитое окно летит ветер, пахнущий сладко и гнило: землей, далью, теплом. Февраль девятнадцатого. Девятая армия бьется лбом в Северский Донец, но, кажется, силы и напор на излете. Мы чуем эту лихорадку. Казаки угадывают ее в воздухе, в котором что-то надломилось, поплыло, как кусок льда в талой воде. В Старосельскую посылают затемно гонца. Тот возвращается к вечеру другого дня с неясными сведениями: в станице тихо, глухо, шесть человек, обвиненных в убийстве комиссара, расстреляны, человек двадцать взяты заложниками, но командир отряда матрос Чевгун не спешит покидать станицу. Передал Шуре через гонца всего три слова: «Достаточно малой искры». И в этот предгрозовой воздух, в обманную тишь сваливаются внезапно сначала Володя и Ася, а спустя день Шигонцев.

Не виделись год и три месяца, огрубели, ожесточели неузнаваемо, а внутри все то же, та же единственность, та же теплота до боли. Ведь, казалось, должно было вылететь, забыться и отпасть навсегда — таким вихрем разметало. Нет, ничего, никуда. И в первую секунду, в первый час было как будто совершенно все равно, отсутствовало то, что она с ним, и уже не просто подруга, а жена, они даже говорили одними фразами, один начинал, другой договаривал, слишком часто бросали друг на друга взгляды, беглые и необязательные, но исполненные привычного внимания, машинального ощупывания — так ли? здесь ли? — и это вовсе тоже не задевало, а было как бы усилением той теплоты памяти, вдруг нахлынувшей, потому что они двое были нерасторжимость, одно. Это потом началась, и быстро — мука...

Как попали к Мигулину? Все тот же случай, поток, зацепило, поволокло. Из-за отца Володи, внезапно возникшего. Тот был с кем-то дружен из мигулинского штаба и еще весной восемнадцатого, когда Мигулин сколачивал первые отряды в Донецких степях, пристал к нему. Отец Володи погиб в бронепоезде, взорванном гайдамаками. Так и вышло: отец каким-то краем прибился к Мигулину, Володя — к отцу, а уж Ася — с ним. Разломилась семья, как спелый подсолнух. А что с родителями? Бог знает, то ли в Ростове, то ли в Новочеркасске, а может, укатили дальше на юг. Какой-то пленный рассказал, будто приват-доцент Игумнов подвизается вроде бы в Осваге среди деникинских агитаторов в Ростове. Скоро Ростов будет взят, и тогда... Что тогда? Ася об этом не думает, у нее другая забота — ждет ребенка. А Володя ни о чем говорить не может — только о Мигулине, страстно, нетерпеливо. Сообщает секретно: «В Реввоенсовете фронта его терпеть не могут. Хотя и побеждает, а все чужак... Да и сам Троцкий кривится, когда слышит фамилию... И как доказать, что он наш?»

Да сам-то Володя наш?

Еще недавно так же горячо, как теперь о Мигулине, рассуждал о крестьянской общине, мечтал о Поволжье, жить простой жизнью, с друзьями. Ведь тогда, в ноябре, когда он и Ася бежали из голодного Питера, и мысли не было у обоих сражаться за революцию. Повернуло их время, загребло в быстроток, понесло...

Чудно́й Володя: в долгополой кавалерийской шинели, в фуражке со звездой, с коробкой маузера, болтающей-

ся на животе небрежно и лихо, как носят анархисты, весь облик новый, а в глазах прежнее юношеское одушевление, неизбытое изумление перед жизнью.

«Нет, ты подумай, какой умнейший тактик, как замечательно знает людей, и своих казаков и белых, и какой счастливчик, везун! А это свойство необходимейшее, это часть таланта. Из каких капканов выскакивал! Из каких передряг выкручивался живым!»

И совсем другая Ася. Я спрашиваю, когда остаемся вдвоем, спрашиваю глупо: «Как ты живешь?»

«Как все... Прожила день и жива, значит, хорошо».

«А с Володей как? Хорошо у вас?»

Тоже глупо, малодушно, но не могу себя одолеть. Ася, подумав, отвечает: «Добрее Володи человека не знаю. И смелее, честнее...— Еще подумала.— Ему без меня жизни нет».

О Мигулине, про которого Володя трещит с упоением, она не говорит ни слова. Будто не слышит. И это задевает — слегка — мое внимание. Не знаю до сих пор, было ли между ними что-нибудь уже тогда или лишь намечалось. Да время такое, что для намеков не оставалось минут. Может, и ребенок, которого она ждала, был Мигулина? Ни на что не оставалось минут. Только на дело, на борьбу, на выбор мгновенных решений. И почти сразу, чуть ли не через два дня после того, как появились Володя и Ася, в Михайлинскую нагрянул Стальной отряд Донревкома: человек сорок красноармейцев, среди них несколько матросов, латышей, неведомо откуда взявшихся китайцев, грозная и непреклонная сила, во главе которой стоят двое — Шигонцев и Браславский.

Шигонцев представляет Донревком, Браславский — Гражданупр Южного фронта. Эти организации — суть власть на Дону, в освобожденных районах. И сразу дают понять, что они власть. Они-то и есть. Истинная, стальная. Именем революции. Все, что делалось нами, трибуналом округа и Михайлинским ревкомом, который возглавляет стогообразный Бычин, объявлено жалким, гнилым головотяпством. Едва ли не преступлением! Главный спор — вокруг директивы, присланной недавно в засургученном пакете с нарочным. Шигонцев и Шура встречаются не как два старых приятеля-каторжанина, которым есть что вспомнить, а как спорщики, когда-то оборвавшие яростный спор — и теперь с того же места... О да! Это начиналось год назад. В феврале восемнадцатого. Шигон-

цев вернулся после взятия Ростова и гневно передавал, как Егор Самсонов — третий друг, каторжанский поэт — неожиданно выступил в Совдепе против расстрелов и преследования буржуазии, о чем вопили тогда ростовские меньшевики и обыватели. Потом приехал в Питер Егор, снятый со всех постов, едва не расстрелянный сам. И Леонтий не пытался его спасать. Спасли путиловские рабочие, красногвардейцы...

«Я ж тебе говорил!»

«А почему потеряли Ростов? Почему не удалось организовать защиты?»

«Ростов потеряли из-за проклятой немчуры. Не занимайся демагогией». Шигонцев грозит Шуре пальцем, качает нелепо вытянутой, со вмятинами на висках головой.

Я вспоминаю эту голову, поразившую когда-то в Питере. Теперь она выбрита, изжелта-серая после тифа. Шигонцев за год почернел, похудел, стал жестче и не так болтлив — у него пропал голос, он сипит. Едва слышно, страстным сипением поносит немецкий пролетариат, который всегда запаздывает: с революцией задержались на год, теперь волынят в Баварии, хотя Эйснер убит, надо воспользоваться...

«По сути, речь о том,— он тычет в Шуру пальцем,— как удержать наши завоевания. Неужто история ничему не учит?— И, как всегда, переполнен цитатами и примерами из французской революции.— Постановление Конвента гласило — на развалинах Лиона воздвигнуть колонну с надписью: «Лион протестовал против свободы, Лиона больше не существует». Если казачество выступает врагом, оно будет уничтожено, как Лион, и на развалинах Донской области мы напишем: «Казачество протестовало против революции, казачества больше не существует!» Кстати, прекрасная мысль: заселить область крестьянами Воронежской, Тульской и других губерний...»

«А почему вы так боитесь пули?» — спрашивает Браславский Шуру.

Шура ничего не боится. Каторга научила. Нет в мире ничего, достойного страха. Он болен. Он катастрофически заболевает, чего пока не знает никто, свалится к вечеру, сейчас у него жар, горит лицо. Он говорит, что дело не в страхе пули, а в страхе перед восстанием в тылу красных войск. Браславский спрашивает: сколько человек расстреляно трибуналом за три недели? Браславский — маленький, краснолицый, с надутыми щеками обиженного

мальчика, возраст непонятен, то ли мой ровесник, то ли, может быть, лет сорока. На нем широкая и нескладно длинная, не по росту кожаная роба, кожаные автомобильные штаны. Взгляд странный: какой-то сонный, стоячий. Что он там видит из-под нависших век? О чем думает? И в то же время цепкое, клейкое, неотступно всевидящее в этом взгляде. Шура отвечает: «Одиннадцать».

Глаза Браславского — как две улитки в раковине красно опухших век. Раковина сжалась, улитки втягиваются вглубь. «Вы знакомы с директивой?» Шура: знаком. Смысл директивы: «расказачивание», преследование всех, кто имел какое-либо отношение к борьбе с советской властью, расстрел всякого, у кого обнаружится оружие. Шура, прочитав, сказал: «Ошибка, если не хуже! Будем раскаиваться. Но будет поздно». Какие уж там седла, повозки. Это грозный вызов казакам.

Теперь Шура говорит спокойно: знаком.

«Вы знаете,— говорит Браславский,— что я могу предать вас суду как саботажников?»

Бычин бубнит, струхнув: «Товарищ, у нас же все сделано, все наготове, люди дожидаются в залоге, я товарищу Данилову какой раз поднимал вопрос...»

Удивительно, такой здоровенный, могучий, с бугристыми кулаками и, чуть на него надавил этот маленький, с сонными глазками, сейчас же отрекается и выдает!

Все нападают на Шуру. Если б были своевременно истреблены контрреволюционеры в Старосельской, там не погиб бы товарищ Франц, австрийский коммунист, и не возникло бы такое положение, как теперь. Шура пытается возразить: бывает непросто разобрать, кто контрреволюционер, а кто нет, кто на сорок процентов поддерживает революцию, на сорок пять сомневается, а на пятнадцать страшится... Тут он пародирует Орлика... Каждый случай должен тщательно проверяться, ведь дело идет о судьбе людей... Но Шигонцев и Браславский в два голоса: дело идет о судьбе революции! Вы знаете, для чего учрежден революционный суд? Для наказания врагов народа, а не для сомнений и разбирательств. Дантон сказал во время суда над Людовиком: «Мы не станем его судить, мы его убьем!» А «Закон о подозрениях», принятый Конвентом? Подозрительными считались те из бывших дворян, кто не проявлял непрестанной преданности революции. Не надо бояться крови! Молоко служит пропитанием для детей, а

кровь есть пища для детей свободы, говорил депутат Жюльен...

Для Бычина цитаты, которыми сыплет Шигонцев, все равно что треск сучьев в лесу.

«Вот кого под корень!— трясет бумагой.— Антоновы, Семибратовы, Кухарновы, Дудаковы, они свойственники того Дудáкова, учителя Слабосердова в первый черед как атаманского зятя, а он на воле гуляет, хотя я товарищу Данилову какой раз говорю...»

На Слабосердове запоролись. Шура не хочет давать согласия. Непонятно, почему. Видел он учителя только раз, спорил с ним, разговаривал сердито, а уперся — ни в какую. Лицо его в пятнах, пылает зноем, глаза блестят в провалах глазниц. И рукой показывает: воды, воды! Я таскаю ему воду в глиняной кружке.

Наум Орлик кричит: «Да ты болен! У тебя жар, наверное, под сорок!»

«Нет, нет. Я здоров. Я хочу сказать следующее: директиву считаю плодом незрелого размышления. Я буду писать в ЦК, Ильичу...»

Браславский молчит, глядя на Шуру. Минутная пауза. Браславский соображает, как поступить. Как-никак он тут главный по чину — представитель РВС фронта. Медленно подняв руку с маленькими гнутыми пальчиками — то ли разрешительный жест, то ли приветствие войскам на параде,— Браславский произносит устало: «Да пишите сколько угодно! Ваше право заниматься теориями. Вы бывший студент? А я рабочий, я кожемяка, не учен теориям, я обязан выполнять директивы...— рука сжимается в кулачок и с неожиданной силой грохает по столу так, что глиняная кружка подпрыгнула и покатилась.— По этому хутору я пройду Карфагеном!»

Эта фраза настолько изумительна, что, не сдержавшись, я делаю замечание: «Пройти Карфагеном нельзя... Можно разрушить, как был разрушен Карфаген...» Стоячий взор из-под тяжелых век замер на мне. Раздельно и твердо: «По этому хутору я пройду Карфагеном! — И, помолчав мгновение, оглядев всех, внезапным выкриком:— Понятно я говорю?!»

Потом Шигонцев объясняет секретно: Браславский сильно пострадал от казаков, его семью вырезали в екатеринославском погроме в 1905 году. Мать убили, сестер насиловали... Да ведь не казаки убивали и насиловали, а

местные? Казаки, говорит, помогали. Шигонцев сообщает почти с радостью: «Лучшего мужика на эту должность и придумать нельзя!»

Если бы Шура не заболел и не свалился тем же вечером без сознания, могла быть сеча между своими... Ведь он вызвал Чевгуна и отдал приказ: трибунальский отряд поставить на защиту тюрьмы, заложников не выдавать. Расстрелы начинаются в Старосельской, откуда Чевгун вернулся. Казни контрреволюционеров. Возмездие за убийство коммунистов... За товарища Франца... В нашей Михайлинской пока тихо, заложников не трогают, караул Чевгуна сидит на крылечке тюрьмы, бестревожно лузгает семечки, но лишь потому, что Стальной отряд идет Карфагеном по Старосельской. Мне кажется, и Бычин ошарашен таким свирепым усердием... Бог ты мой, да разве свиреп кожемяка с сонными глазками? Разве свиреп тот казак, кого мы поймали в плавнях и расстреляли на месте за то, что в нем заподозрили убийцу Наума Орлика? Наума нашли в соседнем хуторе, Соленом, связанным, исколотым штыком, безглазым и, самое ужасное, живым... Разве свирепы казаки, захватившие Богучар и десятерых красноармейцев закопавшие в землю со словами: «Вот вам земля и воля, как вы хотели»? И разве свирепы станичники Казанской и Мешковской, которые заманили в ловушку Заамурско-Тираспольский отряд, отступавший весной восемнадцатого с Украины и в смертельной усталости, не подозревая худого, расположившийся на ночлег в казачьих хатах? Часть отряда, состоявшая из китайцев, была расстреляна во время сна, остальных раздели догола и заперли в сараях. Станичный попик в Мешковской служил по этому случаю благодарственный молебен и требовал всех запертых в сараях антихристов сжечь живьем. И разве так уж свирепы казаки Вешенской, которые той же весной единым махом в приступе революционной лихости перебили своих офицеров и объявили себя сторонниками новой власти? И разве свирепы четыре измученных питерских мастеровых, один венгерец, едва понимающий по-русски, и три латвийских мужика, почти позабывшие родину, какой год убивающие сперва немцев, потом гайдамаков, а потом ради великой идеи — врагов революции, вот они, враги, бородатые, со зверской ненавистью в очах, босые, в исподних рубахах, один кричит, потрясая кулаками, другой бухнулся на колени, воют бабы за тыном. И каторжанин, битый и

поротый, в тридцать лет старик, сипит, надрывая безнадежные легкие: «По врагам революции — пли!»

Свиреп год, свиреп час над Россией... Вулканической лавой течет, затопляя, погребая огнем, свирепое время...

Когда течешь в лаве, не замечаешь жара. И как увидеть время, если ты в нем? Прошли годы, прошла жизнь, начинаешь разбираться: как да что, почему было то и это... Редко кто видел и понимал все это издали, умом и глазами другого времени. Такой Шура. Теперь мне ясно. Тогда я сомневался, как многие. Он один в истинном ужасе от «директивы», которую я не мог прочитать, хранилась в тайне, через два месяца отменили, но зло вышло громадное. Прочитал спустя пятьдесят лет. Когда почти уже ни для кого не страх, не боль... Примерно вот что: 1) Массовый террор против казачьих верхов; 2) конфисковать хлеб, заставить ссыпать все излишки; 3) организовать переселение крестьян из северных губерний в Донскую область; 4) уравнять пришлых иногородних с казаками; 5) провести полное разоружение; 6) выдавать оружие только надежным элементам из иногородних; 7) вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления порядка; 8) всем комиссарам, назначенным в казачьи поселки, проявлять максимальную твердость... Бог ты мой, и как мало людей ужаснулись и крикнули! Потому что лава слепит глаза. Нечем дышать в багряной мгле. Пылает земля, не только наша, везде и всюду: во Франции и Англии революционные забастовки, в Германии почти укрепилась советская власть, Румыния и Бессарабия в огне крестьянских бунтов... Как же иначе, как не штыком и пулей доканывать контру? Ведь почти всю доконали. Но тут и была ошибка, роковой просчет — что видел Шура, о чем бормотал в бреду,— будто победа уже в руках. Будто Краснову и Деникину после зимнего натиска не подняться... И я не ужаснулся, не крикнул! И мне красная пена застилает глаза. Я вижу Орлика, залитого кровью, глаза выбиты, а губы шепчут бессвязное... За что убили Наума Орлика, который никогда никому не сделал зла? Он был человек размышления, до всего допытывался умом. Мы разговаривали о том, как нужно после победы преобразовать обучение в университетах... Поехал один, без охраны, повез пачку политотдельской газетки — пропа-

гандировать, внушать... Глумились над полумертвым... Все мужики из того хутора ночью сбежали в степь... На другой день Браславский приказом от РВС фронта разгоняет ревком, назначает новых людей, нового председателя, всех пришлых, Бычина опрокидывает в рядовые — за мягкость. И так как Шура в тифу, без памяти, едва не помирает, председателем трибунала назначаюсь я. Не хотел. Отказывался как мог. Разговор был крутой, с угрозами, он доказывал, что я не имею права. Нет, не хотел. Ни за что не хотел. Совсем не мое: приговоры, казни. Я говорил: «Для этого нужны особые люди. Такие, как Шура. Закаленные каторгой». Он сказал: «Ничего подобного! Нужны люди, умеющие написать протокол. Людей нет. Ты единственный. Это твой долг...» Матрос Чевгун: «Оставайся, браток, на этом посту. А то посадят злодея...»

Чевгуна тоже рубили филипповцы. Один из всех оказался недорублен, откачали, выжил. Куда-то исчез той же весной. Потом тридцать второй? Ну да, Урал, Тургаяш ГРЭС. Только что приказом Кржижановского я назначен главным инженером эксплуатации Тургаяша. Работы пропасть. Приезжает Галя с ребятами, живем в деревенском доме, кругом тайга. Что же там было? Что мучило? Из трех очередей Тургаяша первая очередь (два турбогенератора по 3000 киловатт) закончена в двадцать третьем. Вторую очередь — с двумя турбогенераторами ЛМЗ по 10 000 киловатт — закончили как раз перед моим появлением. Котлы уже вошли в эксплуатацию, а турбогенераторы — тут-то и есть вражья сила! — хотя и отличались превосходным расходом пара, но страдали огромными дефектами в регулировке. Все время на грани разноса. Вот уж намучились! А третья очередь еще только готовилась. Котлы на цепных решетках. Но дело не в решетках — хотя их не было, завод еще не изготовил,— а в том, что котлы шириной в 10 метров трудно обслуживать шуровкой, да попросту невозможно. А шуровка необходима для тургаяшских углей. Но что же, рапорт в Москву! Цепные решетки заменить пылесжиганием. Москва обижается. Присылают комиссию. Согласились со мной, получаем новое оборудование, топку заказываем английской фирме «Комбасшен»... И вдруг спустя месяц срочно вызывают в Москву. Зачем? За каким лешим? «В Москве объяснят. Поезжайте!» Уполномоченный что-то знает,

остальные пожимают плечами. Галя страшно волнуется. Это был ее минус: в роковые минуты не умела успокаивать, всем видом, страхом, волнением еще сильней поддавала жару. Даже вскинулась с детьми, Руська тогда болел — ехать со мной в Москву, насилу отговорил.

Но таинственность вызова — после того, что я оказался абсолютно прав с заменой решеток,— меня и вправду встревожила. Вдруг в поезде проясняется. Купил газету и там черным по белому: «Вредительство под крылом «Комбасшен». Обвиняют меня и инженера Сулимовского. Не по Тургаяшской электростанции, а по прежней, по Златоусту. Все уже будто бы «сознались» в своих «преступлениях». Власти сочли возможным покарать главных виновников, а технических исполнителей — меня и Сулимовского — не наказывать. Все это — на целой газетной полосе, посвященной делу «Комбасшен». Ночь в поезде я, конечно, не сплю. Какая-то дичь. Если я вредитель, почему не арестован? Если невиновен, какое право имеют писать обо мне как о преступнике? Оказывается, идет какой-то процесс, а я, обвиняемый, узнаю о нем из газет. Поезд приходит утром. Куда ж я бегу в первую очередь? К Шуре? Ну, Шура, конечно, самый близкий, ближайший, но он уже не у дел, отодвинут, на пенсии. От него только совет... Ему звонок из гостиницы. Он все понял, объяснять не надо, газеты читает. «Иди сейчас же к Алешке Чевгуну!» И дал адрес, а Чевгун работал тогда в прокуратуре. Это я знал. Но не видел его тринадцать лет. Для себя решил так — резко протестовать, написать заявление в ОГПУ и сегодня же отнести на Лубянку. Если враг — берите и судите! Чевгун живет в громадном доме возле Каменного моста. Часов восемь утра. Принимает меня в кабинете — не могу сказать, чтоб уж очень радостно, както тихо, приветливо, настороженно, все вместе. Показываю заявление, он читает и вдруг — подскочил в кресле. «Да ты что, с глузду съехал?! Пропадешь ни за понюх табаку! И ни я, ни Шурка тебя не вытащим. Никуда не ходи и никаких заявлений не подавай!» Мудрый был совет.

Бред у Шуры однообразный — замкнулся на Слабосердове. То кричит страшным голосом: «А я вам Слабосердова не отдам! Молчать! Слабосердова оставьте в покое!» То начинает умолять кого-то: «Друзья, христом-богом прошу.., Нельзя же так, ну нельзя же убивать... Не

убивайте, заклинаю вас, Слабосердова...», то лепечет невнятное. Болеет странно, превращается в другого человека, ведь это почти комический вывих ума: твердить одно имя, когда гибнут десятки, сотни. Но вот он приходит в себя и спрашивает, глядя ясно и трезво на Леонтия и на меня — мы двое возле койки,— спрашивает едва слышно, но требовательно: «Что с учителем Слабосердовым?» Леонтий отвечает: ничего с ним особенного. То, что быть должно, то и есть. «Что же?» Вопрос, говорит, снят. Такого вопроса больше нет. Шура берет свои стеклышки в стальной оправе, насовывает на нос, глядит на Леонтия, на меня и закрывает глаза. Леонтий шепчет: «Опять бред...»

«Нет,— говорит Шура,— это у вас бред. А я все понимаю хорошо». И правда, голос звучит ясно. Так что же было бредом тогда? Бред — невнятица, тьма, то, что клокочет в глубине глубин. Багровый туман, помутняющий разум. «Это вы бредите, а не я»,— говорит Шура. Из-под стеклышек по щекам ползут слезы. Никогда не видел у Шуры слез. Их не было никогда. Шура шепчет: «Почему же не видите, несчастные дураки, того, что будет завтра? Уткнулись лбами в сегодня. А все страдания наши — ради другого, ради завтрашнего... Ах, дураки, дураки...» Мы рады: слава богу, кризис прошел! Шура поправляется. Он не бредит, он все понимает хорошо.

В том злосчастном марте, который наступил в разгар болезни Шуры, его бреда, в разгар бреда других, потому что я тоже страдал из-за Слабосердова — в том злосчастном марте все спуталось, слиплось, как старые кровяные бинты на ране, и я бессилен разъять, отделить одно от другого. Старые раны не трогать. Когда появился Мигулин? Что там делали Володя и Ася? Когда был расстрелян Браславский? И почему Леонтий остался жив? Не трогать, не трогать. Невозможно всю эту боль перебинтовывать вновь. Ничего не получится. Не надо. Забыто. Кровяные бинты закоченели, превратились в камень, в каменный уголь. Это пласты, которые надо вырубать отбойным молотком. Непроглядная, сплошная чернота, и где-то там внутри Ася. Она жива! Все это в марте, в оттепель, на Северском Донце ледоход, белые взорвали мосты при отступлении, и бригада Мигулина топчется на правобережье. Наступление захлебнулось. Но не только из-за оттепели, нет, нет! Не в оттепели причина. В ночь с одиннадцатого на двенадцатое в одной

станице началось, и — как пожар... То, о чем предупреждал Шура. А раньше Шуры — учитель Слабосердов. Да мы все предчувствовали, ждали со дня на день, томилось в воздухе, в ознобе. Была какая-то глухота. Мы ждали: еще раньше, чем здесь, чем эти мелкие, районные неприятности, взорвется мир. Все революционеры, все рабочие земного шара воспрянут как один. Ну, а как же иначе? Что же иное застилало нам очи? Тут наша боль, наше оправдание. Мне восемнадцать лет, в моих руках жизнь сотен мужиков, которых я боюсь, и женщин, которых не знаю, и стариков, которых не понимаю. А Шура не успел отослать свой гнев в ЦК, отправил позже, когда выкарабкался из тифа, когда все уже бушевало, север горел. Когда было поздно. Бог ты мой, отчего же поздно? Ведь только девятнадцатый год! Поздно, станицы поднимались, весь тыл полыхал, пришлось снимать части с фронта. Браславский отдал приказ: «Выкопать общую могилу для заложников». Казаки тою же ночью разбежались. Копать некому. Не старикам же и бабам. Я, грешным делом, думаю: в своем ли он уме? И в своем ли уме я? Ведь от такой работы ежедневной свихнешься в два счета. Нет, дело не в том, что свихнешься, а в том, что какое-то омертвение. Становишься бесчувственным, как мешок с песком. Тебя колют иглой в живое тело, а тебе ничего — игла буравит песок. То, о чем Шигонцев мечтал: ноль эмоций. Высшее состояние, которого надо достичь. Февраль девятнадцатого. Начало марта. Сырой весенний ветер разносит крики, запахи, дым, стрельбу, вой. У меня в руках список: один за то, что был с красновцами, другой за то, что там свояки, третий не хотел отдавать коня, у четвертого нашли винтовку, пятый спекулировал, шестой ругал власть, седьмой — бывший юнкер, восьмой — родственник попа... Шигонцев твердит: «Вандея! Вандея! Республика победила только потому, что не знала пощады». Я должен все это подписать махом. Какая разница: восемнадцать человек Бычина или сто пятьдесят Браславского? Люди ужасаются цифрам. Как будто арифметика имеет значение. Так внушает Шигонцев. «Человек должен решать в принципе: способен ли великому результату отдать себя целиком, всю свою человеческую требуху!» Я бы сказал: способен ли подвергнуть себя омертвению? То есть в чем-то себя убивать? Но потом выясняется: неправда. Арифметика имеет значение. Все это так непоправимо слиплось, переплелось: то, что я читал и что рассказыва-

ли, и что обрывочно сохранилось, и что вообразилось, и что было на самом деле. Что же на самом деле? Володя и Ася — на соседнем хуторе, там формируется запасной полк. Мигулин шлет разъяренные телеграммы, требует смещения ревкома, назначения другого окружного комиссара. Грозит приехать сам, разогнать ревком пулеметами, всех засудить, перестрелять. Называет Браславского, Шигонцева и нового предревкома лжекоммунистами. Да как он может приехать? Война телеграмм. Браславский отвечает грубостью. «Он меня не назначал! Я ему не подчиняюсь!» Не испытывают страха перед Мигулиным, потому что чуют: он не пользуется доверием. Володя ненавидит Браславского. Да и со мной враждебен. «На твоем месте я бы пустил себе пулю в лоб». Это он мне в присутствии Аси, у меня дома. Я просто советуюсь с ним, как с другом, что мне делать. Советуюсь доверительно, а он отвечает со злобой. В нем всегда была театральщина, какой-то непереваренный Шиллер. Ася гораздо умней. Она глядит на меня скорбно, сочувственно, не вступает в спор и, помню, шепнула мне тихо: «Ты пропал...» Но я не хочу пропадать! Я вижу Орлика: мертвого, исколотого и — живого. Я ощущаю ожесточение казаков, их неуступчивость, недоброту, отчаянье. Теперь-то ясно: наши ошибки с дьявольской энергией и силой использовали враги революции. Но тогда ощущал одно: настали роковые дни — начало марта. Володя и Ася не знают о той ночи, когда я побежал к Браславскому. К Шигонцеву бежать бесполезно. У того искусственные мозги. Побежал к Браславскому. Состояние было такое, когда я был способен на все — застрелить его, застрелить себя.

А самое главное, в ту мартовскую ночь директива была уже отменена центром, но мы не знали! Впрочем, Донревком знал, однако не торопился оповещать. Как я мог забыть о той ночи? Сырая, гнилая, в красных всполохах далекой грозы. Я был мальчишка, глуп, смел и дрожал, как в лихорадке. Я знал одно: *этой ночью должно решиться*. Он «пойдет Карфагеном» дальше, все дальше и дальше, цифры не имеют значения, это дорога без конца. У ворот на корточках, поставив винтовки между колен, сидели китайцы. На крыльце спал пулеметчик. В крайнем окне огонь. Значит, не спит! Мучается перед рассветом. Как же не мучиться? И ворохнулась надежда: а вдруг уговорю? Мордочка у него за последние дни сделалась густо-красная, вишневая, щеки еще больше наду-

лись, поглядишь и скажешь: то ли вина напился, то ли больной смертельно. Все должно было решиться до рассвета. Толкнул дверь. Сидит один на стуле, галифе подвернул, ноги в горячей воде мочит, в тазу. И кипяток из чайника подливает. Это меня поразило! «Матвей, ты что? Ты здоров?» Никогда не видел, чтобы люди сами себя кипятком пытали. Как убивают людей, как рубят, расстреливают — видел. А как ноги парят — нет.

«Видно, кровь меня распирает и в голову бьет,— сказал.— Пиявки достать нужно, да где их взять?» Аптекарь из Старосельской оказался врагом, нет его. В расходе. Ординарец свежий чайник подтаскивает. Я смотрю, ноги у него совсем розовые, вареные, а он еще подливает. Воля нечеловеческая. «И как ты терпишь?» — «Терплю обыкновенно. Еще хуже бывает печет, а терплю». Я ему тут же, не могу, не подписываю, отказываюсь. Делайте что хотите. Пускай меня под расстрел. «Мышление у тебя не пролетарское,— сказал он.— Дальше пупка не видишь. Садись рядом лучше, почитай мне газету». А у него к вечеру зрение портилось. Иногда заседание проводит, речь говорит, а веки сами собой затворяются. У меня буквы прыгают, язык не поворачивается читать, потому что в голове стук — конец пришел! Нету выхода. Не могу я этот кипяток выносить. Или его или себя кончать — до рассвета! Все равно конец. Она сказала мне: «Ты пропал». Но про ту ночь никто ничего не знал. Ни один человек. Даже Гале никогда не рассказывал. И даже сам, кажется, забыл, забыл полностью и наглухо. Не померещилось ли? Нет. Было. Вытягиваю из кармана револьвер, щелкаю предохранителем. И не знаю еще в ту секунду помрачительную: в кого? Вот именно так и было. Совершенно не знаю. Только еще буду решать в другую секунду... Он на меня взглянул, дернул щекой, ротик маленький, пунцовый, отвалил в изумлении, чайник в одну сторону, в другую, на пол, лежит, не дышит... Нет, не умер тогда... Через полтора месяца. Вместе с ним расстреляли еще пятерых. Весь Стальной отряд раскидали кого куда — кого в тюрьму, кого на фронты, на север, под Царицын. Судила их чрезвычайная комиссия от реввоенсовета фронта во главе с товарищем Майзелем. Который потом в Цветмете работал. А почему Шигонцева не тронули? Это необъяснимо. Позабылось. Кто-то выручил. Помню, как он скрипел легкими, тощий, исчерневший лицом, плевался

кровью, а взгляд все такой же пылающий, сатанинский: «Почему погиб Мотька Браславский, золотой мужик? Потому что казаки взбунтовались. А почему взбунтовались? Да потому, что недожег, недовырубил... Сам виноват, слепой черт!» Но дело-то вот в чем: когда восстание началось, Мигулина внезапно отзывают с Южного фронта в Серпухов, в полевой штаб РККА. Оттуда бросают еще дальше на запад, в Белорусско-Литовскую армию. За каким лешим? Как раз в то время, когда Деникин наступает, когда Мигулин всего нужней Дону...

Павел Евграфович измучился ходьбой и зноем, обедать не захотел, пришел в свою комнату, лег. Лежал долго. Никто не заходил к нему. Так прошло часа четыре. Иногда дремал. Очнувшись от дремоты, слышал голоса, доносившиеся с веранды, а однажды Гарик бежал с кем-то по скрипучей, усыпанной битым кирпичом дорожке под окном и прокричал на бегу, задыхаясь, странную фразу: «А ты ей отплатил сторицей?» Эта фраза почему-то задела Павла Евграфовича, он стал думать о ней с волнением, пытался вникнуть в ее смысл, в эту малую искру души внука, что пролетела случайно внизу под окном, трепыхаясь, как бабочка, в естественной наготе неся что-то важное, какую-то суть, сокровенность, и пропала в тишине жаркого дня: стал думать о том, как меняются поколения, о женщинах, о мести, о благодарности, о том, что любовь никак не связана с пониманием. И даже с пониманием того, что все они свиньи. Галя десять раз зашла бы и спросила: «Ну как ты? Что ты? Обедать не хочешь? Лекарство не дать?» Внук говорил, вероятно, об Аленке, внучке Полины. Там что-то происходило. Какие-то страдания. Бог ты мой, что ж удивительного? Как раз тот возраст, в каком был Павел Евграфович в пору школьных мучений — шестьдесят лет назад в Питере — из-за Аси. Мучительнице следовало отплатить за что-то сторицей. Но вот загадка: была отплата местью? Или благодарностью? Оттого и волновался Павел Евграфович, что казалось почему-то необходимым разгадать тайну фразы, крикнутой впопыхах, ибо это имело отношение к его собственной жизни, подошедшей к концу. Если истинным смыслом была месть — одно, если же благодарность — совсем другое. С огорчением он все более склонялся к тому, что, пожалуй, месть, пускай детская, пустяковая, но все же месть,

теперь это вроде модно: ты — мне, я — тебе, ты — меня, я — тебя. Во всех видах. Вдруг на лесоповале в Усть-Камне один сивобородый, старенький спросил шепотом, так ли Павла Евграфовича фамилия. Услышав подтверждение, засиял беззубо, поклонился до земли и вытащил из кармана завернутый в тряпочку осколок пожелтевшего кускового сахара: «Примите благодарность через двадцать лет! От бывшего попа-расстриги, которого от казни спасли. Станицу Михайлинскую помните? Девятнадцатый год?» И рассказал занятное. Кто-то из отцов церкви писал, будто чувство благодарности есть проявление божества. Оттого оно редко. Неблагодарность куда чаще встречается. «Я не тому радуюсь, что вас могу отдарить благом, а тому, что сам счастлив — сию минуту с богом говорю».

Вот что вспомнилось от внуковой беготни, крика случайного, и тут стук в дверь, вошла Вера.

— Папа, ты не проголодался? К тебе тетя Полина...

С Полиною было так: первые года два после смерти Гали видеть ее не мог, разговаривать невыносимо, все напоминало, кровоточило. Все, все: долгоносое, сморщенное, черноглазое лицо Полинино, ее южный «хакающий» говорок, похожий на говор Гали — землячки, елизаветградские,— ее картавость, манера шутить. Хотя, конечно, Галя шутила тоньше, остроумнее. Юмор был замечательный. Да и вообще какое сравнение? Галя умная, глубокая женщина, а Полина все-таки не очень умна. Потом-то он с нею примирился, с тем, что она продолжала существовать, когда Гали уже не было. А спустя некоторое время снова полюбил ее, поражался ее неутомимости, жалел ее и старался помочь, встречаясь с нею на шоссе, когда старушка плелась, нагруженная хозяйственным скарбом, волоча тележку на колесиках, похожая на дряхлого, медленного жука, и ненавидел ее дочь, ее зятя и внучку — страстно, как можно ненавидеть врагов — за то, что допускали подобное безобразие. С зятем были резкие стычки. Сделал раза два справедливые замечания — как же так, милые друзья, у вас автомобиль, а бабка все таскает на себе с круга? — на что последовала какая-то грубость. И он зарекся пытаться что-либо исправлять в этой семье, но, когда встречал Полину с поклажей, всегда отнимал тележку, брал сумку. Хотя врачи больше трех килограммов поднимать не велели. Да он на врачей рукой махнул.

Полина что-то объясняла вполголоса, таинственное, черные глаза круглились, морщинистый рот кривился набок. Как же она постарела, бедная! Истинная старуха. А вот Галя старухой так и не стала.

— Чего ты шепчешь? — сказал он, раздражаясь.— Говори обыкновенно. Ты же знаешь, я не люблю секретов...

Раздражился не оттого, что секреты, а оттого, что недослышал. Каждый раз напоминай. А ведь неприятно. Все равно что милостыню просить: помогите старику, говорите громче! Полина, конечно, хорошая баба, любила Галю искренне, Галя любила ее, а Галя просто так, за здорово живешь, дружбой никого не дарила, но Галя, такая непреклонная со всеми, была терпима к своим. Она прощала подруге недалекость ума. Вскоре после Галиной смерти та явилась в гости в каком-то странном ярком наряде, напудренная, с накрашенными губами. На что она рассчитывала? Что это был за ход? Павел Евграфович испытал такой прилив раздражения, что процедил сквозь зубы: «Пожалуйста, запомни, никогда не приходи ко мне с накрашенными губами!»

Продолжала говорить шепотом, но громким и напряженным, как в театре, и глаза еще более круглились: о какой-то справке, каком-то свидетельстве, переселении, вселении. Ах, все то же — домик Аграфены Лукиничны. Сурово сказал, что этим делом заниматься не станет. Ни с той, ни с другой стороны. Свой кооперативный пай давно уступил Руслану, на собраниях не присутствует, права голоса не имеет, так что разбирайтесь сами.

— Паша, я тебя ни о чем не прошу,— только дай мне справку.

— Я не контора, чтоб давать справки. У меня печати нет.

— Паша, не шути. Я прошу. Речь идет о моей... Ну, если хочешь более точно,— бугристый, со многими ямочками подбородок задергался, рот еще более съехал набок в неловкой усмешке,— не обо всей жизни, а о самом конце. О последнем кончике! — И показала двумя пальцами, какую чуточку ей осталось жить. Это был юмор. Но неуместный. Если бы Галя захотела сострить на такую тему, она придумала бы что-нибудь удивительное!

— Что за справка тебе нужна?

— Я ж говорю: справка о том, что я занималась революционной работой.

— Какой работой ты занималась?

— Ну как же, в девятнадцатом году сидела в деникинской контрразведке. Ты забыл? Тебе Галка рассказывала сто раз. И Галка сидела.

— Мать, тебе было четырнадцать лет. Галке было тринадцать.— Он засмеялся. Говорить о Гале было приятно.— О какой революционной работе может идти речь, бог ты мой?

— Паша, мы были сознательные девочки, мы очень любили революцию...— Тут она замолола в своем обычном болтливом стиле, якобы полушутя, якобы остроумно, а на самом деле вздор. Закончила неожиданно и без промаха:— Была бы Галка жива, она бы сделала такую справку в два счета! Ничего не нужно, просто написать, что знаешь со слов покойной жены, что Полина Карловна преследовалась деникинской контрразведкой, ну, за революционные действия...

— А какие действия, прости, пожалуйста?

— Мы разбрасывали на базаре листовки от имени «Лиги независимых учащихся». Нас потащили в участок, держали шесть дней. Могли сделать с нами что угодно: избить, изнасиловать, расстрелять, они были полные хозяева...

Недалекость из нее так и перла. Кому могла помочь подобная справка? Правление кооператива, где сидят люди циничные, равнодушные, только похихикает над ними обоими. Да и вправду смешно. Полина сказала, что справка нужна для другого. Хочет устроиться в Дом ветеранов. Какой-то особенный Дом ветеранов в Успенском, под Москвой, Павел Евграфович о нем слышал.

Это известие настолько ошеломило, что он умолк, пораженный. Дом ветеранов — тайный ужас Павла Евграфовича. В бредовых снах, в ночных мыслях, из рассказов других рисовалось ему последнее обиталище, где главною пыткою было то, что вокруг чужая старость, никого и ничего, кроме чужой старости, мучительнейшее для стариков. Разве там может быть счастье — услышать под окном загадочный крик внука: «А ты ей отплатил сторицей?» И чем более в рассказах о богадельне расписывались садики, коврики, библиотеки, телевизоры, тем сильнее сжималось холодом сердце Павла Евграфовича — роскошь этих домов напоминала магометанский рай. Расстаться с детьми, внуками значило расстаться с последним, что оставалось от Гали. Но, слава богу, ему

это не грозило. Ошеломило то, что Полина говорит о Доме спокойно.

— Что за глупость! — сказал сердито.— Сегодня же поговорю с Зинкой, поговорю с твоим зятем. Что они, рехнулись?

— Они не знают. Я еще не сказала.

— Зачем ты это придумала?

— Ну как зачем, Паша...— Полина запнулась как бы в затруднении: говорить или нет? Худые, жилистые руки прачки, таскальщицы сумок сделали недоумевающий разворот ладонями наружу и в стороны.— Я им не нужна, Паша.

— Не мели вздор! Глупость! Выкинь из головы! — закричал он.

— Нет, Паша, чистая правда. Была нужна, когда Алена была маленькая, а сейчас не особенно. Сейчас в некотором смысле даже обуза... Они собираются в Мексику на три года, Алену хотят отдать в интернат. Да разве вообще-то мы им нужны?

Павел Евграфович молчал. Все это ему не нравилось. Во-первых, что за «мы»? Зачем равнять? Люди совершенно разные, находятся в разном положении, и равнять нельзя. Во-вторых, доля правды в глупых словах все же была, и тут крылось главное неприятное. И еще — решение Полины требовало мужества, наличия которого у бедной старушки он не предполагал и почувствовал себя задетым и даже как бы униженным. Единственное, что нашелся сказать:

— Зачем, в таком случае, претендуют на дом Аграфены?

— А я не знаю. Я в их дела не путаюсь. Паша, прошу, несколько слов...

Он сел к столу, надел очки, вырвал из тетради листок клетчатой бумаги, написал. Полина сложила вчетверо, сунула под пояс и, чмокнув Павла Евграфовича в щеку, вышла. Однако через минуту воротилась и шепотом, вновь округляя со значительностью глаза—старая гимназическая повадка, неуместная для старушки, пора бы отстать,— произнесла:

— Только прошу тебя, Пашута, ничего своим не рассказывай!

Павел Евграфович посидел немного за столом, размышляя над странностями Полины — зачем-то чмокнула в щеку, назвала Пашутой, чего делать не следовало, так

называла его одна Галя, опять бестактность от недалекого ума,— но затем, махнув мысленно на все это рукой, углубился в письмо Гроздова и в свой ответ. Работа подвигалась плохо. Несколько раз заглядывали то Вера, то Руслан, звали обедать, отвлекали вопросами, он прогонял, сердился. Жара не спадала, и мучил неприятный запах из сада — вроде курицу палили или жгли мусор. Скорее всего, опять безобразничал сосед Скандаков. Завел моду сжигать всякую дрянь в железном баке, отчего гадкий запах тянулся по соседним участкам, и никак пресечь это хулиганство было нельзя — и так стыдили, и на правление вызывали, и Павел Евграфович письмо посылал в его организацию, все бесполезно. Он, нахалюга, говорил: «А я за направление ветра не отвечаю!» Так промаявшись около часу и написав всего четыре фразы, правда очень содержательных, Павел Евграфович отправился на веранду обедать. Жара всех сморила, разметала. Мюда лежала на раскладушке с мокрым полотенцем на голове. Руслан босой, в трусах сидел в углу веранды за столиком и что-то правил, согнувшись, в своих чертежах на синей бумаге. Валентина подала свекольник и тарелку с кашей и куриной котлетой — то, что принес из санатория. Аппетита не было.

Сноха расхаживала тоже босая и полуголая, под ситцевым халатом внакидку алел купальник, живот с пупком открыт для всеобщего обозрения — пожалуйста, любуйся, кто хочет! — и не уходила с веранды, будто ожидая чего-то от Павла Евграфовича. Еду похвалить? Да не ее заслуги, еда казенная. Однако чувствовалось, что не уходит не зря. И все чего-то ждали, какого-то разговора. Вот и Вера явилась, видно, спала, лицо красное, отекшее. Бог ты мой, и она в бюстгальтере, в полотняных штанишках — ну это уж никуда с ее ногами.

Руслан спросил: зачем Полина Карловна приходила? Вот чего ждут, из-за чего волнение. Даже Мюда, убитая жарой, повернула голову, чтоб лучше слышать, и сдвинула с лица полотенце. Павел Евграфович сказал: ничего особенного, поговорили, вспомнили старое, она как-никак с мамой училась в гимназии. Единственный человек, кто знал маму дольше, чем он. Он с двадцать второго года, Полина — с пятнадцатого. Казалось, такой серьезный и душевный настрой должен отвлечь от практических мыслей — не часто говорили о маме, жалея друг друга, и, если уж он заговорил, полагалось заинтересоваться: что же

вспомнила старая подруга? О чем они говорили, покинутые старики? — но Руслан неумолимо допытывался: насчет дома? Неужто ничего? Абсолютно ни слова? Ничего. Ее это не интересует. Сказала, что в их дела, то есть в дела Зины и Кандаурова, не вмешивается. Значит, какой-то был разговор о доме?

— Был, был! — оборвал Павел Евграфович, раздражаясь.— Только о другом...

Объяснять, о каком, разумеется, не стал. Ишь, допрашивают! Хотят его словить. Не выйдет, голубчики, не узнаете. Неожиданно вырвалось:

— Еще сказала: никому, говорит, мы с тобой не нужны...

Но эта фраза получилась у него вроде шутки, и Руслан засмеялся.

— Ну не-ет! Это уж извини! Ты нам нужен, ты все-таки должен, папа, с Приходько поговорить...

Павел Евграфович ничего не сказал, ушел.

Опять вспомнилось письмо от Гали и потянуло прочесть. Бог ты мой, почему от Гали? Не от Гали, а от Аси. Он испугался. Как-то странно и легко перепуталось. Собственно, произошло потому, что и то письмо и другое — немыслимая вещь. Но если одно явилось... Вдруг представил себе, дрогнувши сердцем, что в самом деле получает письмо от Гали. Ну, в обыкновенном конверте, темно-синем, авиа. Разумеется, авиа. Как же иначе? Положили в почтовый ящик вместе с газетами. Обратного адреса нет. Впрочем, что-то написано. Одно слово: там. Ведь никто ничего не знает, поэтому «там». А еще: ни адреса, ни обратного, ни единого слова, пустота, и конверта нет. Без конверта листок, на котором сверху видна начальная фраза: «Паша, дорогой, не трави себя пустяками, пусть делают как хотят, Полину и меня ты не обидишь...»

Он остановился на деревянной лестнице и смотрел в круглое окно; вечернее знойное солнце плавилось на стволах. Он подумал: если Полине все равно, то и Гале все равно, и ему все равно. Можно поговорить с Приходько. Теперь не имеет значения. Плохо то, что ни о чем не хотят думать, ни о чем вспоминать. Поговорить с Приходько. Какая-то нить соединяет двух женщин, Галю и Асю, которые никогда не видели друг друга, не знали друг о друге. Гале он не рассказывал про Асю. Галя была ревнива. Она могла бы не ревновать к той женщине, по-

тому что они из разных молекул, из разного вещества: в то время, когда была Ася, Гали не существовало в мире, потом, когда возникла Галя, Ася перестала существовать, а потом Галя исчезла и тут вновь появилась — как бы из другой материи — Ася... Одна принадлежала ему всей плотью, всем существом, другая была воздухом, недостижимостью. Теперь поменялись местами: Галя недостижима, а Ася — доехать до Серпухова, там автобусом...

И к вечеру жара не слабела. Как в Сальских степях в двадцать первом году. Тоже дул ветер, приносивший не прохладу, а жар. На веранде пахло лекарствами. Женщины пили капли на валерьяне. Руслан, Николай Эрастович и двое гостей, обычно приходившие по субботам, седой моложавый толстяк Лалецкий и учитель физкультуры Графчик, играли за большим столом в преферанс. Теперь уж ни чаю попить, ни посидеть под абажуром. На кухне за крохотным, с фанерной крышкой столиком приютились Верочка, Мюда и Виктор, пили чай.

У Верочки были красные глаза: то ли от жары, то ли плакала.

— Папа, дело почти решенное,— зашептала она.— Домик получит Кандауров. Лалецкий сказал... Ну, конечно, у него связи огромные, взял письмо из министерства, Приходько звонили откуда-то... Тетю Полину я люблю, но Кандауров — сволочь...

Павел Евграфович пожимал плечами: что поделаешь, сволочь так сволочь. Не хотелось показывать своего полнейшего равнодушия при виде ее слез, но не мог себя пересилить. Чепуха все это. Яйца выеденного не стоит.

— Какие там еще претенденты?

— Там трое. Да все отпали. Остались только мы да Кандауров, да еще Митя из совхоза, Аграфены Лукиничны дальний-предальний родственник. Ну, этот не в счет, пьяница, попрошайка. Ты его видел, он тут часто околачивается, предлагает то железо, то стекло, то плитку какую-нибудь — все ворованное, конечно... Лалецкий сказал, получит Кандауров. Это точно.

— Верочка, милая,— сказал Павел Евграфович,— ну, почему такое отчаяние? Что случилось? Жили мы тридцать лет без этого домика и дальше будем жить. Вы будете жить. Мне-то не понадобится.

Верочка смотрела исподлобья. Взяла его горячей рукою, потянула из кухни в комнату, закрыла дверь. Как в детстве — посекретничать.

— Папа, ты знаешь, как все сложно с Николаем Эрастовичем... Человек он странный, больной... Часто днем ему надо прилечь, а где он тут может? Он говорит: если б хоть свой угол, хоть маленькая верандочка...

— Ну и?.. Что дальше?

— Он говорит: больше нет сил. На птичьих правах. Была бы хоть какая веранда. Понимаешь, он на пределе...

— Кого он больше любит, тебя или веранду?

— Нельзя так...

Круглое Верочкино лицо с подстриженной по-девчоночьи челкой, мятое, нездоровое лицо немолодой женщины, сморщилось, губы задрожали, Верочка повернулась и ушла из комнаты. Павел Евграфович стоял в нерешительности. Было жаль ее. Но он не знал, что надо сделать, чтоб ей стало лучше. Веранда не поможет. Он вышел из комнаты, подошел к Верочке, которая терла тряпкой кухонный столик, глядя в окно, и обнял ее.

— Нельзя так, нельзя, нельзя... Тем более к твоим близким, которые тебя любят...— шептала дочь.

— Ну что сделать для тебя?— Он поцеловал ее в темя.

— Не знаю, что ты можешь. Поговори с Приходько. А вдруг... Я не знаю... Попробуй...

У Верочки редкое качество: мгновенно обижается, но так же мгновенно и полностью забывает обиду. Для кого-нибудь была бы замечательная жена, как хотела иметь детей, да теперь поздно, года вышли, а тот заставлял делать аборты. Два раза при Гале делала, а уж без Гали, никому не известно сколько. Ах ты, бог ты мой, ничего в их делах не поймешь... Он бы, к примеру, на месте Верочки не смог прожить с этим Эрастовичем и трех дней, прогнал бы к лешему, а она живет, терпит.

Павел Евграфович вернулся на веранду, посидел у раскрытого настежь окна. Никакого облегчения в воздухе не чувствовалось, хотя было уже часов восемь, совершенно стемнело. Картежники вполголоса переговаривались. Павел Евграфович ничего в картах не понимал, не желал понимать. Так и прошла жизнь — без карт. И осталось — с юности — презрительное к ним предубеждение, как к занятию мещанскому, буржуазному.

Из сада, тихо ступая по деревянной лестнице крыльца — всегда ходил неслышно, разговаривал тихо,— поднялся Виктор. Подошел к Павлу Евграфовичу и сел рядом на пол.

— Дед, хотел тебя спросить,— вполголоса заговорил он.— А что она рассказывала про бабушку?

— Что Полина рассказывала? — Павел Евграфович обрадовался.— Я тебе расскажу! Сейчас вспомню. Очень интересно рассказывала... Ах, да, вот что: когда им было по тринадцать лет, твоей бабушке и Полине, они занимались революционной деятельностью и даже попали в деникинскую тюрьму в Елизаветграде... Совсем девчонки... Их там запугивали, пытали... но они никого не выдали...

Никто на веранде, кроме Виктора, не слушал, что говорит Павел Евграфович. Картежники переговаривались о своем. Вдруг Руслан сказал:

— Папа, ты меня извини, но надо как-то с Валентином Осиповичем... Ты уж соберись, хотя, я знаю, удовольствие небольшое...

— Я поговорю,— сказал Павел Евграфович.— Постараюсь.

— Нет, ты уж не тяни. На следующей неделе будет правление, а в конце месяца общее собрание.

— Не в конце месяца, а в первое воскресенье сентября,— сказал Лалецкий.— Да все бесполезно. Дом пойдет Кандаурову; так же точно, как то, что вы сейчас сидите без трех...

Лалецкий захохотал. Опять заговорили непонятно, зашлепали картами. Потом Руслан сказал:

— Братцы, вы недооцениваете общественность. Ведь вы же будете голосовать против Кандаурова?

— Пожалуй,— сказал Лалецкий.

— Что касается меня,— сказал Графчик,— то я его вычеркну жирным карандашом. Подобные типы мне противопоказаны.

— А что в нем плохого? — спросил Павел Евграфович.

— Мне трудно объяснить, Павел Евграфович. Вот вас, например, я глубоко уважаю. Когда я прихожу к вам в гости, когда разговариваю с вами, с вашим сыном, я как-то успокаиваюсь душой и сердцем, я как-то расслабляюсь, понимаете?

— Красиво говорит, собака,— сказал Руслан.

— А когда вижу этого типа, у меня повышается сахар в крови.

— Там еще один претендент прорезался,— сказал Лалецкий.— Некий Изварин. Жил тут до войны. Приходько

его зачем-то тащит... Непонятно зачем, все равно дом пойдет Кандаурову...

— Почему непонятно? Очень понятно...

— Играйте, маэстро! Бросайте карточку!

— Очень даже понятно — хочет Кандаурова подоить пожирней. Ведь чем больше претендентов, тем, сами понимаете...

— Изварин? Санька? — вскрикнул Руслан.— Неужто он еще существует?

Они могли болтать, шлепая картами, целый вечер и всю ночь. Павел Евграфович сказал, что пойдет в сад, подышит воздухом: пришло в голову сейчас же, не откладывая, отправиться к Приходько, чтоб неприятнейший разговор не висел над душой. Но объявлять об этом не хотелось. Взял палку, стал спускаться с крыльца. В саду было черно, душно. Обычный сладковатый запах флоксов и табаков — в августе вечерами тут пахло мощно — теперь почти не чувствовался. Все иссохло, исчахло, перетлело. Над чернотою деревьев в блеклом ночном небе, серебристом от звезд, стояла красная луна. Нащупывая палкой тропу, Павел Евграфович выбрался из гущи кустов и молодых липок на дорогу, которая вела в глубь участка. Они догадываются, что разговор с Приходько неприятен, но никто не знает почему. Таких людей, которые могли бы знать, не осталось. Галя знала. Она с ним не здоровалась. Никогда не здоровалась ни с ним, ни с его женой, хотя жена конечно же ни при чем, но Галя была непреклонна. Она говорила: «Ты как хочешь, можешь с ним здороваться, пить чай, разговаривать о международном положении, дело твое, а я его на дух не принимаю. Он для меня был и остается белой вошью. Потому что кто моего мужа раз обидел, тот мой враг на всю жизнь». Вот такая она была! Павел Евграфович остановился, упершись палкою в камень, смотрел в небо, и на глазах его проступили слезы. Она бы не позволила идти к Приходько. «Ты будешь эту вошь о чем-то просить? И он будет куражиться над тобой и чувствовать себя твоим благодетелем?» А ради детей, Галя, которым что-то нужно? Они живут по-прежнему плохо, в тесноте, в неуюте, в душевных неустройствах, живут не так, как хочется, а так, как живется. Они несчастливы, Галя. Ничего не изменилось за эти пять лет. «Ты думаешь, они станут счастливее от лишней комнаты и веранды?» Ну нет, конечно. Счастье от чего-то другого. Непонятно, от чего.

Счастье — это то, что было у нас. Но что можно сделать? Нет ни сил, ни ума, ни возможностей, ничего. Вот только этот домик, две комнаты с верандой... Пускай уж... Если им кажется, что... Когда живешь долго, происходят странные встречи, несуразные столкновения. Будто кто-то намеренно все это сочинил. Есть свои неудобства — жить долго. Кто мог соткать такую причудливую, вдаль и вширь раскинутую сеть обстоятельств, причин, совпадений, тончайших нитей и паутинок, чтобы в двадцать пятом году Павел Евграфович трудился в комиссии по чистке в Бауманском районе Москвы и голосовал за исключение работника Горпромхоза Приходько, скрывшего пребывание в юнкерском училище и некоторые свои действия в Киеве, и вот теперь, спустя почти полсотни лет, от бывшего юнкера зависело, будут ли осчастливлены дети? Какая нелепейшая, чудовищная чепуха, если подумать всерьез! А если не думать, ничего особенного. Заурядная чепуха.

Павел Евграфович и не помнил о мелком врунишке, который барахтался как мог, чтобы перекрутиться в суровой жизни, таких немало, жалеть некогда, запомнить невозможно, да и ничего ужасного с ним тогда не случилось, и спустя лет шесть, когда встретились на собрании пайщиков дачного кооператива, Павел Евграфович увидел полного, осанистого блондина в чесучовой толстовке, в дорогих туфлях, директора фабрики и не узнал его. Не узнавал долго. В ту пору работал на Урале, в Москве был наездами. Не узнал бы никогда, если бы тот сам однажды вполне дружелюбно, полушутливо не сообщил: «А знаете, дорогой сосед, что вы меня из партии турнули во время оно?» — «Да ну?»— «Ей-богу...» И на том конец. Хе-хе, ха-ха. Все уладилось, устроилось, перемешалось, упрочилось. По вечерам приветствовали друг друга, приподнимая полотняные фуражки и шляпы из соломки. Потом годы прошли, разлука невольная, вернулся перед войной, жить в Москве нельзя, дачный дом стал единственным прибежищем, Галя трепетала, боялась, что увидят, разгадают, он мотался в Муром, из Мурома, прописка была там. И опять встреча, невнятный разговор, о том о сем, о детях, о войне. В Европе шла война, у нас — накануне. Тот вдруг напомнил: «А не забыли, как меня в двадцать пятом году из партии гнали?» — «Забыл»,— признался Павел Евграфович. «А я нет. Всегда буду помнить». И ушел с улыбкой. Через день нагрянули с проверкой, и понес-

лось, завертелось... Галя убеждена, что — он. Кто знает. Может, и он. В точности неизвестно. Ничем не кончилось, не успело кончиться, потому что рухнул июнь, Павел Евграфович ушел в ополчение и всю войну — солдатом. Два ранения одолел. В Польше в сорок четвертом в разрушенном фольварке ночью наткнулся на Руслана. Ночевали танкисты. Вот была встреча! И еще годы прошли, заново все уладилось, переменилось, упрочилось. Дачные домики просели, подгнили, железо проржавело, зато возле домиков появились баллоны с газом, зелень в саду разрослась пышно. Опять встречи то там то сям, на дорожках, на чужих верандах, раскланиваются, бормочут по пустякам. А то дочка, неряшливая жирная баба, забежит бесцеремонно: «У вас нет лишней лампочки нам одолжить? Мы в понедельник отдадим!» Галя никогда ничего не давала. А он давал. Ему казалось, все прошлое провалилось куда-то в яму, в прорубь, нечего поминать. Но доходило до смехотворного: однажды к тому явились пионеры целой ватагой, он их в садике принимал, рассказывал о гражданской войне. Бог ты мой, что же мог рассказать бедный юнкерок, недощипанный? Иной раз заберет ретивое пойти взять за галстук: «Зачем же ты, такой сякой, немазаный, людям голову морочишь?» А там думаешь: ну его к лешему... Прошло, проехало... Обманул всех, перекрутился, ну и черт с тобой... Вот только просить у него ничего не надо.

Дорога поднялась на взгорок, где стояла скамейка; тут, под соснами, всегда кто-нибудь сидел душными вечерами. И сейчас, проходя мимо, Павел Евграфович заметил недвижную в углу скамейки фигуру. Как показалось, женщина. Светлело платье. Окликнул: кто? Женщина ответила не сразу:

— Я, Павел Евграфович...

Узнал голос Валентины. Сел рядом с охотой — оттягивался неприятный визит. Валентина курила. Он терпеть не мог табачного дыма в доме, заставлял куряк уходить в сад. Но она ушла очень уж далеко. Тянула носом, будто у нее насморк. Он подумал: что-то неладно.

— Вы что? Плохое настроение?

— Да...

— А в чем дело? — Какой-то голос твердил: «Не надо, не надо в это влезать».— Что у вас случилось?

— Да ничего у меня не случилось. Ничего, Павел Ев-

графович...— Она медлила, вздохнула.— Ничего... Ваш сын меня не любит.

— Да что вы! Может, вы ошибаетесь? — Тот же голос сказал: «Не ошибается».

— Зачем же, скажите, он первую жену постоянно приглашает на дачу? И Виктора? Мюда хорошая женщина, и Витя мне нравится, но он их вовсе не любит. Это не то, что не может без них жить... Он зовет их только для меня... Против меня... Чтобы я помнила и знала... Чтобы постоянно была унижена...

«А она неглупая»,— подумал с удивлением. Валентина сморкалась. Теперь стало очевидно, дело плохо. Он не умел разговаривать с плачущими женщинами. Галя никогда не плакала. Галя была, конечно, необыкновенная. Не плакала в Златоусте, когда чуть было не расстались и она решила уехать и сказала об этом. Когда появилась та смуглая, из медпункта. Был мутный, тяжелый месяц, три месяца, какой-то хмель, вздор. Потом все рассеялось. Не плакала даже тогда, когда расставались не по своей воле. Ну что можно сказать Валентине?

— Вы знаете, Валя, мне кажется,— начал он осторожно,— вы вот в чем не правы: вы ему разрешаете пить...

— Ах, при чем тут?..

Она закрыла лицо ладонями, всхлипывала громко. Дыхание прерывалось, она хотела что-то сказать и не могла.

— Я уж не знаю, что ему разрешать... чтобы он... Я все разрешила... Пускай!.. Ну и что?

— Вот и не надо.

— Я знаю, у него был роман с этой толстой дурой...

— С кем? — спросил Павел Евграфович, но сам себя пресек:— Впрочем, неинтересно, знать не хочу. Я в ваши дела влезать не смею, и не надо... Единственное, что попробую — насчет домика Аграфены Лукиничны... Поговорю с Приходько...

— Да кому нужен этот домик? Для какого черта? — с внезапной злобой сквозь слезы отозвалась Валентина.— Чтоб он туда баб водил? И еще к Приходько идти просить! Замечательно!

«Тоже ненавидит Приходько»,— подумал Павел Евграфович.

Посидев немного и сказав что-то бессмысленно-успокоительное, пошел дальше. Все было запутано. Одни хотят получить домик, другие не хотят, ничего не поймешь.

Валентину сделалось жаль, но ненадолго. Чего ее жалеть? Она молодая, здоровая. На даче Приходько на открытой незастекленной веранде горел свет. Две старухи пили чай, или, может быть, играли в карты, или просто разговаривали, сидя в плетеных креслах у столика, покрытого длинной, до пола, скатертью. Мозглявая собачонка с визгом выскочила, отколыхнув скатерть, из-под стола, залаяла на Павла Евграфовича и не пускала войти, но он и не собирался входить, а через деревянный барьерчик поздоровался и силился понять, что ему отвечают. Из-за лая собачонки не было слышно. Одна из старух, с высокой седой прической, жена Приходько, улыбалась ему, что-то говоря, и делала белой полной рукой жесты, но не приглашающие, а как бы прогоняющие в глубь сада: туда, туда! Так продолжалось минуту: старуха что-то кричала и махала рукой, собачонка лаяла, а он не мог понять и стоял просителем перед деревянным барьерчиком, увитым диким виноградом. Дача Приходько славилась диким виноградом. Стоять было невыносимо, но и входить нельзя. Какая-то глупость. Наконец в то мгновение, когда собачка замолкла, он расслышал крик:

— Будет через неделю! Он в Ленинграде!

Павел Евграфович закивал с облегчением.

Все мучились от жары, все спрашивали друг у друга: «Как самочувствие? Как вы переносите эту Африку?» Олег Васильевич Кандауров отвечал сдержанно: «Переношу неплохо. Самочувствие ничего». На самом деле самочувствие было отличное, никаких неудобств и перебоев в работе организма не ощущалось. Все шло, текло, двигалось, действовало, сокращалось и напрягалось регулярно, как всегда. «Давление у вас как у космонавта!» — сказала врач, проводившая диспансеризацию. Незнакомая молодая женщина, Ангелина Федоровна. Впрочем, Олег Васильевич никого из врачей не знал, в поликлинику приходил редко только за документами. «Для вашего возраста это великолепно».— «Для какого возраста, Ангелина Федоровна, милая? Мне сорок пять лет! Разве это возраст?» — «Ну, все-таки уже не мальчик». «Нет, мальчик! Я мальчик, Ангелина Федоровна». И Олег Васильевич встал на руки и прислонился вытянутыми вверх ногами в носках к стене. Одно из простых йоговских упражнений. Делал каждое утро. Ангелина Федоровна смея-

лась: «Мальчик, мальчик! Хватит, Олег Васильевич! Спускайтесь!» Стоя на руках и глядя на Ангелину Федоровну снизу, он увидел красивые голые ноги выше колен и подумал, что ни на что уже нет времени. «А ну-ка послушайте сейчас пульс. После физической нагрузки». Протянул руку. Она взяла пальцами запястье. А у самой, бедной, глаза красные, и сосет валидол. Пульс был, разумеется, чуть выше обычного, но, в общем, ровный. «Ну что ж, для Мексики вполне годитесь!» Он не удержался и пошутил: «А что вы называете Мексикой, Ангелина Федоровна, а?» Она улыбнулась, покачала головой укоризненно, записывая в карточку...

Но это только врачам и тем более молодым женщинам Олег Васильевич говорил всю правду. Знакомым же, которые спрашивали, как самочувствие и как он переносит Африку, отвечал «неплохо» и «ничего», хотя должен был бы отвечать «переношу прекрасно» и «самочувствие замечательное». Но было правило: никогда не говорить людям без нужды ничего, что могло бы хоть слегка огорчить. Сообщение о том, что прекрасно и замечательно, в то время когда все задыхаются и погибают, было бы огорчительно. Он даже отвечал иногда так: «Самочувствие ничего, но голова все же побаливает». Или: «Ничего, но мотор немного барахлит». Однако и в разговорах с начальством Олег Васильевич не позволял себе лгать и говорил чистую правду: здоровье стальное. Тут уж было непременное условие. Если болен и мотор барахлит — сиди дома, отдыхай. В пятницу прошел диспансеризацию, но сдать на анализы не успел, в понедельник и вторник был занят с раннего утра, смог поехать в поликлинику только в среду, этот день оказался самый ужасный — термометр в тени показывал тридцать четыре. Одной женщине, сидевшей, как и он, в очереди в лабораторию, стало дурно, ее уложили на диван, отпаивали лекарствами. Он думал: «Ее бы в Мексику не оформили». Смотрел на нее с сочувствием.

По коридору бежала, цокая каблучками, Ангелина Федоровна, остановилась на миг. «Ну как? Все хорошо?» — «Все замечательно, но у меня к вам колоссальная просьба: нельзя ли в виде исключения получить справку сегодня? А? У меня абсолютно нет никакого времени завтра! Ангелина, не будьте бюрократкой, ведь вы добрый, милый, всепонимающий, отзывчивый человек...— Он схватил влажные пальчики, стискивал, заглядывал в гла-

за, помня, что для всякой просьбы нужен напор, страсть. Вялым или высокомерным тоном ничего добиться нельзя. Нужно унижаться, барахтаться в пыли, ошеломлять почти любовным натиском, обезоруживать юмором.— Да и к тому же, если совсем честно...— зашептал: — Здоровье-то стальное...» — «Здоровье стальное,— сказала она, улыбаясь.— Но без анализов не имею права. Приходите завтра с утра. Или послезавтра, когда хотите. Не могу, понимаете? При всем желании. Мне нагорит. Ведь вы мальчик, вы легки на подъем. И у вас машина. Вчера видела, как садились в шикарную синюю «Волгу». И будет еще одна счастливая возможность побыть с доктором наедине в медкабинете. Пока!» Она помахала пальчиками и побежала дальше. Крикнул вслед: «Что привезти из Мексики?» Ответила, не оглядываясь: «Кактус!»

Он все-таки огорчился микроскопической неудачей — надеялся выцыганить справку сегодня — и обдумывал, как построить завтрашний день. Ни черта не получалось. Завтра надо быть на даче, пробивать дом, разговаривать с людьми, а сегодня тысячи дел и в пять — Светлана. Пора сказать. Она собирается в Прибалтику, а когда вернется, его уж, возможно, не будет. Так что прощаться, прощаться. В общей форме, разумеется, говорил, она знает о предполагаемом, но конкретно... Все дело в том, что невероятно долго тянулась резина. То так, то эдак, то да, то нет. То через полгода, то через год, то вообще отпало, распаковывайте чемоданы. А потом вдруг решения, штемпеля и визы свалились сразу — собираться немедля. Насилу отбил месяц, чтобы как-то все утрясти. Ведь ничего не сделано! Хлопоты с домом только вначале. Обговорить со всеми. Никаких случайностей. Это дело уникальное и требует ювелирной работы — может рухнуть из-за одного какого-нибудь дурака. Четыре претендента! А сколько в этом огородном царстве, называемом дачный кооператив «Буревестник» — почему «Буревестник»? Какой «Буревестник»? Что за идиотское самообольщение кипело тут сорок лет назад? — сколько замухрышек и дермачей ненавидит его лишь за то, что он ездит в «Волге» и временами живет за границей? Как эти сморчки будут голосовать на общем собрании? Что взбредет в их вздорные, завистливые головки? Если бы он мог каждому сморчку подарить по дубленке... Или хотя бы по рубашке от Пьера Кардена... И, однако, раскрой платья сделан гениально. Самое ответственное! Разговор Петра Калино-

вича с Приходько, письмо от Н. А., звонок Максименкова. Остальное должно быть делом техники. Но должно быть. В теории. А на деле все упирается в людей. В неуправляемых замухрышек. Как поведет себя Аглая Никоновна Таранникова? Как поступит Лалецкий? Как будет голосовать Графчик? Этот персонаж беспокоил особенно. Неизвестно почему он относился к Олегу Васильевичу недоброжелательно, никогда с ним не разговаривал, лишь бросал издали презрительные взгляды. Да и черт бы с ним — подумаешь, учитель физкультуры! Жалкая тля! — однако в этом царстве тля была видной фигурой — председатель ревизионной комиссии. Какими-то хитростями и уловками надул себе авторитет. С Графчиком считались. «Графчик сказал...», «Графчик обещал...» Олег Васильевич встречался с ним по утрам на речке, где Графчик делал пробежку и примитивную школьную гимнастику, а Олег Васильевич занимался йогой, стоял на голове, тоже бегал, но по-особому, с особым дыханием. Иногда сталкивались на тропе нос к носу, и Олег Васильевич, как воспитанный человек, всегда кивал или глазами приветствовал: «Мол, с добрым утром, Анатолий Захарович!» — а тот бежал мимо в своем тряпичном тренировочном костюмчике, которым давно пора полы подтирать на кухне, и в рваненьких кедах и не видел, не замечал, а то еще и физиономию откидывал этак высокомерно. Я, дескать, Графчик, а вы кто такой? Олег Васильевич стал отвечать тем же — игнорировал. Не вникая в детали. Он-то ему даром не нужен. Но затем, когда все понадобились — а уж тем более такой важный винт, как председатель ревизионки,— наплевал на самолюбие, опять стал здороваться и кивать по утрам. Графчик немного оттаял и если не произносил ничего громко и внятно в ответ, то делал горлом глотательное движение, отчего голова его как бы кивала, а на губах появлялся намек на гримасу, означавшую одновременно и некоторую брезгливость и вроде бы «доброе утро!». Бывало, Олег Васильевич обгонял Графчика на своей «Волге», тот шел утром на троллейбусный круг пешком. Иногда, впрочем, пилил до школы на велосипеде. Школа недалеко, на бульваре Карбышева. Однажды, когда тот трюхал под дождиком на шоссе, завернувшись в плащ-болонью, подняв капюшон, Олег Васильевич притормозил и распахнул дверцу: «Коллега, прошу!» Но Графчик: «Нет, нет, увольте, спасибо! Я пешком». И дверцу сам захлопнул поспешно. С этой публикой всего мож-

но ждать. Но одно Олег Васильевич знал твердо, это было давнишним, с юности, принципом: хочешь чего добиться — напрягай все силы, все средства, все возможности, все, все, все... до упора! Вот так когда-то, приехав в Москву мальчишкой, протаранил себя путь в институт. Так добился когда-то Зинаиды. Так победил в сложнейшей и запутаннейшей борьбе за Мексику хитроумного Осипяна. Так добьет дом Аграфены. До упора — в этом суть. И в большом, и в малом, везде, всегда, каждый день, каждую минуту...

Вновь зацокали каблучки — Ангелина Федоровна возвращалась из глубины коридора. Олег Васильевич напрягся, кровь застучала в висках.

Вскочил со стула, подхватил пробегающую мимо докторицу за локоток.

— Ангелина Федоровна, бесценная, дорогая, умоляю, будьте же мне поистине ангелом...— залопотал бессвязно, пылко, шагая с Ангелиной Федоровной в ногу, прижимая влажный горячий локоть к своему боку.— Поймите всю чудовищность положения... Завтра утром встречаю делегацию, днем вызывает министр... Послезавтра должен быть вне Москвы... А отдел кадров требует проклятую справку сегодня! Ну что вам стоит? Давайте договоримся. Я человек слова. Как говорили испанцы в старину, gentil hombre[1]. Вы даете справку, так? Если хоть что-то, хоть малейшее вас насторожит, я, клянусь честью, привожу ее завтра назад. Пожалуйста! — Вынул из бумажника визитную карточку.— Звоните по этому телефону в любой час, утром, вечером, среди ночи... Идет? По рукам? Имейте в виду, вы спасете человека!

Стояли перед дверью в кабинет. Ангелина Федоровна смотрела, улыбаясь, но не так весело, как раньше, а, скорее, задумчиво и головой качала.

— Чудовищность положения вижу в одном — вы чудовищно настырны, Олег Васильевич.

— А что прикажете делать? У меня нет выхода. Да и здоровье стальное, Ангелина Федоровна, чего там...

— Стальное, стальное...— Она кивала, отмыкая дверь.— Заходите, страшный человек. Особенно для женщин. Умеете уговаривать.

Вошла в кабинет. Он следом, испытывая мелкую, се-

---

[1] Благородный человек.

кундную радость. Все же золотой принцип, спасительный: до упора!

К пяти приехал на Пушкинскую, к кафе «Лира». Светланы не было. Сидеть и ждать в раскаленной машине было тяжко, он прошел в тень дома, присел на низкий узенький цоколь у стены. Было похоже, будто сидит на корточках. Будто он уличный бродяга где-нибудь в Сайде или Тетуане. В час сиесты. На нем драная маечка с надписью «yes», джинсы с бахромой, какие-нибудь из мусорного бака сандалеты на грязных ногах, истинный скандинавский «клошар», забредший в это арабское захолустье неведомо зачем.... Прежде чем сесть, постелил газету и старался не прислоняться белой рубашкой к стене... Светлана придет не раньше, чем в четверть шестого. Неистребимая школьная привычка: мальчиков надо испытывать. Давно нет мальчиков, некого испытывать, самой бы, дай бог, унести ноги, но привычка осталась. Он не сердился на нее, потому что сегодня ей будет больно. Ровно год назад она появилась, тоже было жаркое лето, но не адское, как теперь, практикантка, испанистка, умненькая, сообразительная, все делала быстро: разговаривала, бегала по лестницам, печатала на машинке с латинским шрифтом, выполняла всякие поручения, какие он давал как начальник отдела. И во всем остальном. Необыкновенная быстрота. Однажды приготовила обед за восемнадцать минут! Комнату Игоря, этот сарай, эту затхлую, месяцами не проветриваемую хазу, привела в порядок буквально за полчаса. Но это было, кажется, не в первое посещение, а во второе или третье, в сентябре. И в первое посещение поразила скорость: только вышел в коридор, чтобы защелкнуть замок на «собачку», воротился — она уже под простыней, свернулась калачиком, с головой накрылась... Все тряпки веером по ковру... В течение пяти секунд... Думалось, все будет не совсем так, как вышло потом. Думалось: легко, быстро, бестревожно, воздушно, как началось. А вышло: угар, мучительство. Разница в двадцать два года — могла быть дочкой,— тут и высота безумнейшая, от которой дыхание пресекалось, голова кругом, тут и пропасть без дна. И была минута лютой зимой, в декабре, когда все вдруг затрещало, покривилось, полопалось, вот-вот рухнет, как старый дом от подземного толчка... Но гнулись балки, скрипела кровля, черепицы битой насыпалось, а дом все ж таки устоял... Потом весной были муки, Таллин, разрывы, доктора, анализы на мы-

шей и все кошмары, что сопровождают любовь, и казалось, что навсегда прочь... В ней много такого, чему он не устает поражаться. Она была девушкой. Но удивительной, гораздо более искушенной и умелой, чем иные зрелые женщины. Она его любила и любит, как никто никогда не любил, и, однако, он ощущал преграду, преодолеть которую было нелегко. Нет, не юность, не капризы, не вспыльчивость, не наивная деспотичность, а нечто такое, что имело отношение к нему самому. Этой преградой был он сам. Его собственное зеркальное отражение, которое он угадывал в ней и временами пугался: вдруг поистине судьба столкнула с дочерью, как в известном романе Фриша? Впрочем, никакой дочери быть не могло. Реальность в другом — они слеплены из одной глины. Первая женщина, в которой он угадал себя. И это пугало.

Появилась из-за угла стремительно, летела к нему, обгоняя прохожих, но не потому, что чувствовала себя виноватой — опоздала на двадцать минут,— и не потому, что очень уж торопилась его увидеть, к нему прильнуть, просто в силу привычки. Вот так же стремглав мчалась по утрам в офис. Предки были, вероятно, какие-нибудь скороходы при дворе русских бояр. Или татарских мурз. Татарская кровь несомненна: смугла, черноволоса, темные глаза чуть враскос и узкая, жестковатая складка губ, выдающая восток. Она-то родилась в Москве, коренная москвичка, но отец откуда-то с юга. Подлетела, тяжело дыша, не извинилась, не сказала ни «здравствуй» ни «¡Hola»[1], оглядела зорко, прижмуриваясь, и спросила:

— Постригся?

— Да.— Не виделись двенадцать дней. Он взял за плечи, придвинул и поцеловал то место, которое любил целовать: над ключицей. И сразу его обнял запах родного потного тела.— Куда пойдем обедать? Сюда? В «Асторию»? Может, в ВТО?

— Никуда.

— Почему?

— Так. Не хочется.

Он посмотрел настороженно. Словцо «так» ни к чему. Просто «не хочется» — понятно. Из-за жары. У него самого абсолютно нет аппетита. Но «так»? Спросил, все ли у нее в порядке. Нет ли каких неприятностей на работе, дома, с родителями, с сестрой. Тяжело болела сестра.

---

[1] Привет! *(испан.)*

В прошлом месяце доставал для нее французское лекарство. Нет, все в порядке. Сестре лучше. Родители, слава богу, на даче. Он подумал, что-то почуяла. Как собаки чуют близость землетрясения, так женщины чуют разрыв. Когда нет еще никаких признаков.

— Поедем? — спросил он, взяв ее за руку.

Сели в машину, поехали. Она сидела рядом и все время трещала веером, обмахиваясь. Иногда подносила веер к его щеке и немного обмахивала его: бесполезно, но приятно. Квартира Игоря была у черта на рогах, в одном из дальних кварталов Юго-Запада. Они привыкли к этой дали, обычно по дороге болтали, рассказывали друг другу всякие новости, что случилось за время краткой разлуки, но сейчас разговор не ладился: она молчала, а он не мог придумать подходящей темы, потому что все, чем он жил теперь, было «табу». Пока она не знала об отъезде, он не мог передать всего своего клокотания: по поводу того, сего, бюрократизма, идиотизма, трудностей, мелочей, от которых задыхаешься. Хотя бы сегодняшняя история со справкой! Чего стоило уговорить! А как быть с машиной? А с квартирой? Устройство дочки на лето и на зимние каникулы? Если не удастся получить дом, все вырастет в проблему. Новые хозяева не захотят сдавать, это наверняка. Надо вырывать дом зубами. Все это, мучившее и терзавшее его в последние дни, непригодно для разговора со Светланой, и он бубнил что-то тупое насчет жары, климата, мудрости стариков, беспомощности ученых. Решил так: сказать сегодня все, но перед расставанием. Это и практически верно, потому что, если сказать сразу, свидание может тут же прерваться. Будет глупо. Въехали на холмы Юго-Запада. На пустынных улицах громадами стояли какие-то необжитые, голые, слепящие солнцем дома. Тротуары выметены зноем, не видно людей.

— Я весь мокрый,— сказал Олег Васильевич.— Сразу, как приедем, примем душ.

Она не отозвалась. Опять насторожился. В жаркие дни обычно начинали с душа. Да и не в жаркие иногда тоже. Им очень нравилось. У Игоря была царская ванная, все замечательно оборудовано, со всякими новейшими приспособлениями, которые он вывез из ФРГ. Был даже телефон в особой маленькой нише, вделанной в стену: если станет дурно, успеете дотянуться до телефона и вызвать «03». Он спросил несколько нетерпеливо:

— Ты будешь принимать душ?

Вопрос означал другое, задавать его не следовало. Обнаружилась слабость. Но нервы-то не железные.

— Где? — спросила она.— В машине?

И прыснула, как девчонка. Немного отлегло. Но, когда приехали в невероятно душную Игореву квартиру — по глупости в прошлый раз не зашторили окна, обе комнаты напекло, воздух был, как в парилке, градусов под тридцать,— она отказалась лезть под душ, сославшись на недомогание. Могла быть хитрость. Что-то с нею происходило. Вода из холодного крана шла теплая. Значит, земля прожарилась до уровня, где идут водопроводные трубы. «Что будет с яровыми? Ведь все погорит!» — думал он мыслями Полины Карловны, которая любит рассуждать о видах на урожай. Воспоминание о теще вызвало волну беспокойства — ей поручалась Аленка. Дочь их-то не слушала, как будет слушать бабку? Возраст колючий, взрывоопасный. «Честно говоря, мы не имеем права,— говорила Зина,— уезжать именно теперь. Ведь мама как воспитательница никуда не годится. Она чересчур добра». Обычные для Зины благие, ничего не значащие рассуждения. Прекрасно знала, что все равно уедут. Выхода не было. Не отдавать же в интернат. Так размышлял Олег Васильевич, намыливая самые потные места, не испытывая облегчения, ибо вода не приносила прохлады. Когда вышел босиком в комнату, шагая по циновкам — у Игоря повсюду циновки, правда, пыльные,— Светлана сидела в той же позе, простыня не расстелена, но в комнате стало посвежей: два японских вентилятора жужжали вовсю. Он спросил: почему она сидит задумчивая, как Лорелея? В чем дело? Qué pasa?[1] Сказала, что ничего нельзя. Ну хорошо, просто так полежим. Отдохнем. Поговорим о жизни. Она не сразу, без охоты вытащила из ящика простыню, бросила к изголовью подушки, от которых поднялась пыль, и у Светланы на миг брезгливо сморщилось лицо, что́ его вдруг разозлило, и он чуть было не сказал: «Вместо того чтоб кривиться, взяла бы как-нибудь вынесла во двор и выбила»,— но промолчал. Учить жизни было некогда. Вовремя не научил.

И вдруг стало страстно, смертно жаль девочку, с которой расставался навсегда. Он гладил нежную кожу, целовал шею, лопатку, хрупкую линию позвонков, ничего не

[1] В чем дело? *(испан.)*

говоря, не было слов. Она лежала рядом не совсем в том виде, в каком бы ему хотелось. Но теперь, когда наплыла приступом помутившая разум жалость, ничего не было нужно, только обнимать, гладить, прощаться. И так прошло несколько минут, потом он заговорил. О чем? Господи, о чем... Не о том, о чем бы надо было... О том, что его нудило, что его жало, гнуло, обо всей этой ерунде, этой дряни... Председатель кооператива Приходько, старый маразматик, хитрец, прощелыга, но он нашел к нему ход, и тот обещал... Есть там какой-то Горобцов, который стоит первым в очереди, не на этот именно дом, а вообще на первый освободившийся пай и теперь претендует, но с ним совладать нетрудно, потому что у того нет никаких заслуг перед кооперативом. А у Олега Васильевича есть. Выбил телефоны. Приволок рубероид для конторы. Год назад через Моссовет, через Максименкова, добился того, что на реке отгородили участок для «Буревестника» с купальней и небольшим причалом для лодок. Хрен бы замухрышки чего-нибудь добились без него! Черта в стуле! Да и весь этот трухлявый кооператив давно бы уж снесли, сколько лет собираются, хотят строить пансионат, если бы он через того же Максименкова... Из-за одной благодарности должны бы дать ему дом. И не просто дать, а подарить. Ведь столько в него вложено за семь лет, такие силы убуханы. Самая неприятная личность и опаснейший соперник — некий Летунов Руслан Павлович. Все летуновское гнездо. Они там вросли корнями. Вот с кем трудно бороться, потому что во всяком обществе, во всякой компании существует легенда... Старик Летунов — такая легенда там. Он ветеран, участник, видел Ленина, пострадал, помыкался. Попробуйте не уважить! Он тут же письмо, тут же все заслуги, рубцы и шрамы на стол. Но дед еще ничего, с дедом можно сговориться, он из той породы полувымерших обалдуев, кому ничего не надо, кроме воспоминаний, принципов и уважения... Врут, конечно, надо, надо! Всем надо. Не отказывается ведь от положенного «спецобеда», каждый день гуляет с судками в санаторий... И тем не менее игра: нам ничего не надо. Тут еще, впрочем, биология. Старикам, что им, собственно, надо? Койка, одеяльце да горшочек. Лежать да вспоминать. Но там страшный тип сын — вырвет из глотки. Руслан Павлович. Хам, алкоголик... Ходит по дачам, просит по трояку, по пятерке в долг, опохмелиться... И как совести хватает? Ведь инженер, с высшим образо-

ванием... Скотина... И сестра у него чокнутая, истинная замухрышка. Детей наплодили. Там у них не поймешь кто, целый караван-сарай. Таким бы вообще запретил размножаться. Какая от них порода! Вот от него бы со Светой, а? Этот Руслан повадился было к Зинаиде, то какое-то чтение приносил дефицитное, то записи в кассетах, он еще меломан вдобавок, а то просто стучит утром в окошко: «Зиночка, нет ли чего на донышке?» И, когда Олег Васильевич вышел как-то на веранду вместо жены и спросил сухо, что за мода будить людей спозаранку, тот, нахал, отвечает невинно: «Дорогой сосед, да ведь добрее вашей жены человека нет! Куда пойти горемыкам?» Пришлось его немного...

Тут Олег Васильевич замолк, спохватившись, что рассказывать о том, как он своротил полупьяного Руслана с крыльца, не следовало: могло напомнить прошлогоднюю историю с женихом Светланы, когда тот набросился на них возле ресторана «Пекин». И там и здесь был применен один прием карате, действующий безотказно. Мальчик упал как подкошенный, портфель туда, очки сюда, голова запрокинулась. Она закричала: «Ты его убил!» Объяснил: ничего страшного, обыкновенный болевой прием. Она кричала и плакала. Через пять минут жених пришел в себя, но встать не мог, она осталась. Он уехал. На другой день прибежала, сказав, что с тем все кончено, потому что он назвал ее нехорошим словом. Такое не прощается. Господи, сколько с ней уже пережито!

— Ты понимаешь, в чем ужас? — говорил он, продолжая ее поглаживать. Поглаживал нежно и все более упорно, желание жалеть постепенно угасало, уступая место другому. Она сопротивлялась. Сопротивление было в том, что она оставалась бестрепетна, безжеланна, ничего не хотела, ни на что не отзывалась, а иногда твердой рукой отгибала его пальцы, проявлявшие нетерпеливость.— Ужас в том, что человек завистлив... По своей сути... Я думаю, что зависть — один из элементов инстинкта борьбы за существование. Заложено в генах. Замухрышки мне дико завидуют! И будут меня гробить. Человек на пятьдесят процентов состоит из зависти... Ну, у одних больше, у других меньше. У тебя меньше... По-моему, ты не очень завистлива? А, Светочка? Ты завидуешь?

Она сказала в стену:

— Завидую женщинам, которым мужчины не лгут.

Как тот удар карате — мгновенная боль и потеря со-

знания. Прошло три или четыре секунды, прежде чем он произнес:

— Таких женщин нет.

— Есть...

Он обнял ее изо всех сил, прижал, притискивал к себе все сильнее.

— Ты знаешь?

— Знаю. Пусти, больно. Не надо лгать. Все, что ты болтал сегодня, было ложью. Мне за тебя стыдно.

— Светлана, но что можно сделать? Ведь это моя жизнь, моя работа...— Он разжал руки, и она отодвинулась к стене.— Я бегаю, как бильярдный шар в зеленом загоне. Моя дорога — в лузу. Больше никуда. Или за борт.

— Ну нет.— Она усмехнулась.— За борт ты не выпрыгнешь. А помнишь, что ты говорил? Что хочешь все переменить, все сначала, все заново. Были безумно смелые планы...

— Светочка, я человек казенный... У Гёте где-то сказано: «Ты думаешь, что ты двигаешь? Но — тобою двигают».

— Не болтай...

Наступила пауза. Он чувствовал, что она плачет. Выкурил сигарету. Вдруг она спросила спокойным голосом:

— Знаешь что? Вот ответь честно. Есть какие-то блага, которыми ты наслаждаешься или стремишься наслаждаться... Ну, скажем, есть женщина — я. Ведь ты мною наслаждался, правда? Есть семья, которая тоже доставляет наслаждение, другого рода. Есть дом Аграфены, о котором ты мечтаешь как об источнике наслаждений... Есть Мексика, которой ты добивался, я знаю, и добился, совершил невозможное, овладел ею, как неприступной женщиной... И есть другое ответственное кресло тут, в Москве, которое сулит еще более высокие наслаждения, о них ты грезишь... И вот скажи: если выбирать из этого всего одно, что бы ты выбрал?

— Странная викторина. Зачем тебе?

— Просто чтобы знать. Как жить. Ведь ты мой учитель жизни, скажи напоследок: что уступать? Что после чего? Женщина, семья, имение, путешествие, власть... Что ты хочешь больше всего?

Она повернулась и смотрела на него с непросохшими слезами на глазах, но с поистине ученическим любопытством. А он смотрел на нее с тоской. Потом обнял медлен-

ной и неотклонимой, стальной рукой, придвинул ближе, плотней, еще плотней — она послушно придвигалась, потому что ждала от него ответа,— и выдохнул губами в губы:

— Хочу все...

Когда солнце ушло, день смерк, он добился того, чего хотел, ибо, как всегда, настаивал до упора, и была отчаянная, долгая, горчайшая сладость, какая может быть лишь накануне вечной разлуки. Потом, когда стало темно, как ночью, пошли в ванную, под душ, он мыл губкой любимое тело, с которым расставался навеки, говорил: «Pónte el pie aqui»[1],— брал ее ногу за колено и ставил ступнею на борт, она подчинялась, обнимал ее, целовал мокрое лицо, не ощущая губами слез, лилась вода, они стояли до изнеможения под душем, лилась и лилась, стояли, лилась, стояли, лилась, лилась, лилась из последних сил.

Часов в одиннадцать повез ее в Староконюшенный. Заехал во двор. Тут была душная, мглистая, отнимавшая дыхание тьма. Не было выхода из духоты. Все окна темных квартир открыты, слышались голоса, люди не спали. Кто-то сидел на скамейке, кто-то лежал на траве, на одеяле. Нельзя было тут задерживаться, надо прощаться окончательно. Да уж прощались. Много раз прощались. Он спросил: может, ей надо в чем-то помочь? С кем-то поговорить? По делу. Весь август он еще здесь. Она долго молчала, потом: если уж так, надо поговорить с Шелудяковым... Там нужен человек в Марокко. Ей абсолютно все равно: хоть в Марокко, хоть в Замбию, на полюс, куда угодно. Лучше в Марокко, с испанским языком. Он сказал, что с Шелудяковым поговорить просто. Старый приятель.

И конец. Рванулась через ограду, через кусты, понеслась не оглядываясь; стукнула на другой стороне скверика дверь...

Он мчался ночным шоссе — сердце немного покалывало, проклятая духота, даже его прижало, да и милейшая Ангелина права, уже не мальчик — и думал то о Светлане с грустью, то о том, что лететь надо через Париж, побыть там дня три. На дачу приехал в полночь. Сразу поразило: не спят, на веранде горит свет. Бабка, Зинаида и

---

[1] «Поставь ногу сюда» (*испан.*).

Аленка сидят за столом, и никто не вышел на крыльцо, хотя слышали, что въехала машина...

— Что у вас случилось?

— Ничего не случилось. У нас все в порядке,— сказала Полина Карловна, улыбаясь с выражением несколько сконфуженным и плутовским, отчего было ясно, что, безусловно, случилось. И старуха тому виной.

— Мама хочет уйти от нас в дом для престарелых. То есть в богадельню,— сказала Зина.

— Нет, Зиночка, не в богадельню, а в Дом ветеранов революции! — Полина Карловна подняла палец.— Существенная разница.

— Ах, мама, какая разница... Одинаково ужасно, одинаково оскорбительно для всех нас...

— Почему же, Зиночка? Это почетное место. Вы должны быть рады, что мать хорошо устроена. Дай бог, чтоб удалось. Еще ничего неизвестно. Я еще только собираю бумаги.

Удар был такой силы, что Олег Васильевич как будто качнулся и припал спиной к косяку двери, чтобы стоять прочней. Старуха, разумеется, комедиантка. Зачем ей это нужно? Ни за чем, показать себя. Свою домашнюю незаменимость. Может, удастся уговорить, и все рассеется, как кошмар? Главное — деликатность и просительность, как в разговоре с милиционером, который грозит проколоть талон. Но все же сволочь.

— Полина Карловна, милая, мы прожили вместе худо-бедно пятнадцать лет... Неужели мы заслужили вот это? Ведь обида смертельная. И, кроме того, вы нас убиваете. Именно теперь, когда надо уезжать, вы делаете такое заявление, то есть попросту говоря...— нервы сдавали, не мог выдержать правильно взятого униженного тона и закончил с закипающей яростью:— Вы режете нас без ножа! Поступаете, как худший враг!

Старуха пожала плечами.

— Понимаю, понимаю. Я все очень хорошо понимаю, Олег, и мы как раз об этом говорили весь вечер с Зиночкой: как поступить? Что можно сделать? Но брать на себя ответственность за дом, за Алену я не могу. Нет сил, я слишком стара.

Было сказано с таким спокойствием, что Олег Васильевич понял — бесполезно. Он знал редкостное упорство старухи, во всем — например, как резать лук, так или так,— знал, что никогда ничего нельзя доказать, чужое

мнение летит мимо, не достигая слуха, и теперь молчал, онемев и размышляя. Вдруг вспомнил: Зина однажды намекала на то, что у матери кто-то есть. Некий друг престарелого возраста, какой-то артист. Ах, вот что? В богадельню к другу? С внучкой оставаться стара, а для стариковских шашней непристойных годится. Так и вертелось на языке, влепить бы прямым текстом, но сдержался. Нет, нет, пороть горячку не будем. Этот козырь выложим напоследок. Надо выспаться. Надо со свежей головой.

Аленка сидела мрачная, набычившись, за столом и что-то черкала карандашом на бумаге, низко склонив очкастую голову. По линии упорства это существо было на втором месте после бабки. Очевидно, они уже тут поссорились, и Аленка дулась. Олег Васильевич смотрел на некрасивую девочку с досадой, с сожалением, мгновенно превратившимся в боль. Каково ей будет? Интернат? Что ж, как другие. Как многие. Завтра, завтра. Со свежей головой. Зина спросила:

— Где ты был так поздно? Я звонила домой, звонила Леониду Васильевичу...

В глазах зажглось живое, острое любопытство. Он вдруг заорал:

— Да какая разница, где я был?! Разве это должно сейчас волновать? Тут катастрофа, кошмар, все планы к черту, жизнь к черту! А ей главное: где был да почему поздно...— махнул рукой и ушел от глупых людей в сад, где под яблоней стояла его кровать.

Вдруг позвонили: «Могу ли поговорить с Саней Извариным? Простите, что называю вас Саней. Вы зрелый муж, но для меня Саня, как сорок лет назад, когда вы обрывали китайские яблочки в моем саду, вас гонял, напускал на вас Джека — помните Джека, бульдога? — и жаловался вашему отцу...» Старик частил что-то лопочущим, полузадушенным хрипотцой, но чрезвычайно бодрым голосом, понять, что ему нужно, было нельзя, фамилия ничего не говорила: какой-то Приходько. «Извините, у вас ко мне дело, товарищ Приходько?» — «Да, причем срочное. Нам надо увидеться».— «Срочное?» — «Да, крайне. Cito, как пишут на рецептах врачи. Имейте в виду, Саня, для вас разговор будет, безусловно, интересен... Я тут недалеко... Буквально на четверть часа...»

Александр Мартынович собирался в больницу, навестить жену. Он сказал: не позже двенадцати. Старичок возник через десять минут. И лишь только Александр Мартынович увидел голый шишковатый череп, корабельный нос, улыбающийся несколько льстиво и хитровато большой, растянутый рот, вмиг вспомнил: никакой не Приходько, а тот дядька по кличке Пузо или Рубильник, что жил в дальнем, к огородам, доме, у него было двое детей, парень Славка и девчонка Зоя. Славка ровесник. Одно лето дружили. О! Славка был знаменит вот чем: любил закручивать уши. Чаще всего закручивал свои собственные уши, теребил их, складывал конвертиком, засовывал мочку в ушное отверстие и сидел так, разговаривая или играя в карты, с закрученными ушами, успокоенный и довольный, но вдруг начинал волноваться и ему не терпелось закрутить уши или хотя бы одно ухо кому-нибудь другому, Жорику, Руське, Скорпиону или ему, Саньке Изварину, и он принимался канючить: «Дай мне, пожалуйста, твое ухо! Дай ухо! Дай, дай, дай!» А Жорику просто мог приказать: «Давай сюда ухо, сопля голландская!» Жорик покорно подставлял голову, и Славка принимался, мурлыча, закручивать тоненькое, как лист, смуглое Жориково ухо. В самом деле: Славка Приходько. Была веранда, увитая диким виноградом. Славкин отец — вот этот старик, улыбающийся большим ртом? — сделал маме какую-то гадость. Она почему-то велела с ним не здороваться, на их веранду не ходить. Но дружить со Славкой во дворе разрешала. Все утратило краски, пережглось, пересохло, исчезло. Почему старик не умер? Зачем появился?

— И у вас, Саня, есть определенные шансы — я не скажу, что большие — на получение сторожки... Ведь вы жили там лет двенадцать, не так ли? Года, примерно, с двадцать шестого... Помню вашего папу хорошо... Я удивляюсь, ни разу не поднимали вопрос и вообще сгинули куда-то, пропали... А у вас есть моральное право.

— Есть,— согласился Александр Мартынович.— Скажите, как ваш сын? Слава?

— Славик не вернулся с войны. Погиб на Северном Кавказе в сорок втором году. А мы с женой и Зоечкой жили в эвакуации в Чувашии...— быстро пролопотал старик. Так быстро, будто хочет поскорее избавиться от этих слов, которые произнес.— Ну что же, Саня? Напишите заявление, я вам попробую помочь.

Александр Мартынович молчал и думал, скрытно волнуясь. У него сердце стучало. То, что обрушилось столь внезапно и странно, было похоже на давние сны — они мучили всю первую половину жизни,— сны о несбыточном прошлом... После войны раза два попадал в Соколиный Бор случайно — прошло уже лет двадцать с тех пор — и нарочно сворачивал в лес до Четвертой линии, чтобы не видеть забора, сосен и крыш. Все это истлело. Вдруг померещилось, будто к нему, уже седому, больному, похоронившему всех, похоронившему сына, является некий загадочный, лысый, с пугающим носом старик, может быть, волшебник, а может быть, черт, и предлагает за что-то вернуть детство, вернуть те времена, когда все были живы, когда он бегал босой по каменистой дорожке, когда солнце горячей смолой горело на сосновых стволах... Но за что же? Что ему надо?

— Вы знаете, это как-то неожиданно...— бормотал Александр Мартынович.— Я должен подумать... Я еду в больницу. Моя жена больна...

Потом ехал в троллейбусе долго и делал усилия, чтобы не вспоминать. Но вспоминалось само собой. Это было гиблое место, вот в чем дело. Поэтому так страшно туда возвращаться.

Это было гиблое место, хотя на вид ничего особенного: сосны, сирень, заборы, старые дачки, обрывистый берег реки со скамейками, которые каждые два года отодвигались дальше от воды, потому что песчаный берег обваливался, и дорога, укатанная грубым, в мелкой гальке гудроном; гудрон уложили в середине тридцатых годов, и то не до конца, а лишь до поворота на Четвертую линию, или, как говорили прежде, вероятно, еще до революции, на Четвертую просеку, ибо некогда тут был истинный бор, его следовало просекать, но уже лет сорок назад с обеих сторон линии, или просеки — или Große Allee, как называла эту нырявшую меж холмами лесную дорогу коричневогубая морщинистая Мария Адольфовна, лицом напоминавшая свалявшийся старый чулок, но бесконечно добрый, мягкий и какой-то удивительно домашний чулок; куда она делась потом, после того лета, когда она с плачем уходила навсегда из Саниной жизни? — с обеих сторон Большой аллеи простирались участки новых громадных дач, и сосны, огороженные заборами, теперь скрипели под ветром и сочились смоляным духом в жару для кого-то персонально, вроде как музыканты, приглашенные

играть на свадьбу. Ах, впрочем, все равно хорошо! Музыку можно слушать, стоя на улице. Воздух над соснами, над заборами и просекой был ошеломительно чист, и чистота была такой силы, что могла опрокинуть неосторожного человека, попавшего в этот воздух прямо из города, из набитого битком автобуса. Так бывало и в то лето с Саней: будто взрослый, он мотался по разным учреждениям, приемным, стоял в очередях и только к вечеру прикатывал в Бор и глотал, захлебывался... Он ощущал сладость воздуха и горечь предчувствий... Да, да, это было гиблое место. Вернее сказать, проклятое место. Несмотря на все его прелести. Потому что тут странным образом гибли люди: некоторые тонули в реке во время ночных купаний, других сражала внезапная болезнь, а кое-кто сводил счеты с жизнью на чердаках своих дач.

Мария Адольфовна шептала: «O, jetzt muß ich mich auf den Weg machen...»[1] — и в десятый раз что-то перекладывала, упаковывала, садилась на диван, пила валерьянку. И опять: «O, jetzt muß ich...» Ее книжки в старинных, с золотым тиснением переплетах пахли сухими духами «саше». У нее была восьмигранная деревянная рамочка, на которой Мария Адольфовна плела красивые салфетки двух цветов и научила плести такие салфетки Саню, его двоюродную сестру Женю и Женину мать, тетю Киру.

«O, jetzt muß ich mich...» — шептала Мария Адольфовна, не двигаясь с места. Мать Сани смотрела на старушку с жалостью и вытирала глаза. Но, в общем, жалеть Марию Адольфовну не стоило. Она возвращалась в Москву, в свою комнатку на Арбате, напротив кинотеатра «Арс», где кипела интересная городская жизнь. Правда, Мария Адольфовна была совершенно одинока, не любила кино и редко выходила на улицу.

«Мария Адольфовна, милая, вам не надо никуда торопиться,— говорила мать Сани.— Вы прекрасно можете переночевать...»

«Нет, нет! Зачем? Я понимаю, я для вас чужой человек...»

«Вы совсем не чужой для нас человек, Мария Адольфовна, но поймите, у меня теперь не будет средств вам платить. Вот и все. Тут нет никаких тайн».

---

[1] «О, я должна теперь собираться в дорогу...» (*нем.*)

«Ach, Gott...» — Мария Адольфовна кивала, сморкалась, ее рука, державшая платок, была крупная, с узловатыми пальцами, как у мужчины, в больших венах. У Марии Адольфовны не было сил уйти. Мать Сани мучилась.

Потом Мария Адольфовна сказала, что не надо ничего платить, она будет заниматься бесплатно. Но мать не могла согласиться. Нет, это неудобно. Так нельзя. Она поцеловала старушку, сказала, что та очень хороший человек, что за три года они подружились и теперь как будто близкие люди, но жизнь переменилась и прежнего быть не может. Мать сказала: «Нам, наверно, и с дачей придется расстаться». Саня стоял в углу комнаты, задумчиво слушая разговор и глядя на женщин. Слова матери о том, что с дачей придется расстаться, больно задели, он почувствовал страх перед неизбежностью. Не просто уехать, а расстаться. И мать говорила о таких ужасных вещах спокойным тоном. Мария Адольфовна вдруг обняла мать и сказала с упреком:

«Почему вы не хотите, чтобы я немножко помогала вам? Ach, Gott...— Она прошептала: — Я сердита на вашу Киру».

«Нет, нет, спасибо,— сказала мать.— У меня есть сын, он поможет. Спасибо вам, дорогая Мария Адольфовна. А на Киру вы не сердитесь. Просто у Бориса Александровича срочная командировка, и он их забрал с собою».

Саня знал, что это не совсем так. Тут мама хитрила, скрывая правду. Дело в том, что тетя Кира, сестра матери, ее муж Борис и дочка Женя приезжали на дачу часто и жили подолгу. У отца была шутка на этот счет: «Только клопомором!» А возникла шутка так: однажды отец получил неожиданный отпуск, решил пожить на даче, но с матерью и Саней, без родственников. Как отделаться от Бориса и Киры? Придумали так: будто надо делать дезинфекцию дачи от клопов, все должны уехать в Москву. Клопов и правда было немало. Борис и Кира уехали. А отец и мать остались. Хотя и с клопами, но друг с другом наедине, и с Саней, разумеется. Так и пошло: «Только клопомором!» И вот два дня назад явился неожиданно Борис и сказал, что тетя Кира и Женя должны уехать немедленно, в тот же вечер, потому что опаздывают. Тетя Кира плакала и что-то объясняла Саниной матери. Саня догадался: причина не в том, что куда-то опаздывают, а в том, что больше не хотят жить в Бору. Не хочет Борис.

Тетя Кира, может, осталась бы, но боялась ссориться с Борисом. А мать на них не обижалась и говорила: «У них нет выхода».

Теперь и Мария Адольфовна уехала. На даче стало пусто, тихо. Мать была днем на работе, и он ходил один по комнатам, валялся с книжкой то на одной кровати, то на другой, делал что хотел, все кругом было доступно и голо, безжизненно. В конце лета Мария Адольфовна возникла однажды вновь, приехала будто бы погулять в Бор, терзающие минуты. Мария Адольфовна опять слезилась, совала какие-то конфетки, потом исчезла навеки. Мать Сани спустя год решила навестить ее, от старушки не было ни слуху ни духу, боялись, что умерла, но мать нашла ее живой и здоровой на бульваре с детьми. Мария Адольфовна обрадовалась и вытирала узловатыми мужскими пальцами глаза. Отведя мать в сторону, она сообщила шепотом, как величайшую тайну: «Мне сказали es ist besser, Ich sehe Sie никогда больше!» Этот простой мотив исчезновения, столь хорошо знакомый, мать почему-то никак не связывала с Марией Адольфовной. Ей казалось, что та слишком стара и одинока для подобной осмотрительности. Но старушка хотела бестревожно и в полном согласии с существующими законами водить малышей по Гоголевскому бульвару, покрикивая на отстающих, одергивая убегавших вперед: «Запомни, Сережа: der Esel geht immer voran!» Эта «ослиная» мудрость была почти единственным, что запомнилось Сане из поучений Марии Адольфовны, пусть ей пухом будет земля. Осмотрительность и слезы не смогли задобрить судьбу, над планетою грохотали, сшибаясь, гигантские силы, и судьбы миллионов старушек были лишь искрами, высекавшимися на миг: летом сорок первого Мария Адольфовна отбыла из Москвы на восток. И, конечно, умерла скоро, ибо была на пороге последнего исчезновения. Впрочем, неведомо! Может, умерла и не скоро, а может, жива до сей поры, ей девяносто семь лет, и она все еще плетет вечерами на своей восьмигранной рамке шерстяные салфетки...

С отъездом тети Киры и Бориса, с уходом Марии Адольфовны начался отлом людей. Мать догадывалась, что так будет, и торопилась — самой, первой, никого не терзая. Она всем находила оправдания. Эти больны, те слабодушны, у того слишком большая семья, у этого чересчур ответственная работа. И когда приходили соседи с неприятными разговорами, вроде занудливой Эльзы

Петровны или крикливой грубиянки Аграфены, жены дачного коменданта и дворника Василия Кузьмича, все звали ее Гранькой, с попреками и руганью из-за какой-нибудь ерунды, из-за белья, огорода или из-за того, что Саня помял велосипедом клумбу, а на самом деле от желания слегка укусить, пощекотать нервы и насладиться — раньше не позволяли себе вот так приходить и скандалить,— мать и для них находила слова оправдания.

«Эльзу можно пожалеть,— говорила она Сане.— С тех пор как умер Ян Янович, характер у нее испортился. А Граня, бедная, уж очень завистлива, особенно завидует тем, у кого дети...»

Впрочем, мать не всегда была доброй, иногда скажет вдруг что-нибудь ядовитое или необыкновенно остроумное: «А у Эльзы лицо — как заспиртованный желудок. Правда, похоже?»

Саня хохотал. Уж мать скажет так скажет! Правда, правда! Такой симпатичный, заспиртованный желудочек. С маленькими усиками. Но, пожалуй, не человечий желудок, а коровий. Ни о чем, кроме травы и огорода, она говорить не умеет. И он, кстати, не заезжал в ее сад, это дело рук — или, вернее, ног — Руськи или Скорпиона...

Граня и Василий Кузьмич жили в подвале большого дома. Перед Кузьмичом все немного заискивали и даже слегка его побаивались, хотя он был человек тихий, неразговорчивый, добродушный, усатый, вина не пил, табак не курил, а все только ходил по участку с метлой да с граблями, жег мусор и всегда ремонтировал колодец. Ремонт заключался в том, что он нанимал работяг из деревни Татарово и они садились вокруг колодца на корточки и курили. Заискивали перед Кузьмичом вот почему: он был самый прочный и долговременный, остальные жили тут как бы на птичьих правах. То жили, то не жили, то шумели ордой, то заколачивали окна и двери, то появлялись, то исчезали, возникали другие, все путалось и менялось, а Граня и Кузьмич пребывали вечно на своем месте — в подвале,— в любое время года, в зимнюю стужу и в непролазную осеннюю мокрядь.

Когда-то на участке, где расположились пять кооперативных дач, стоял помещичий дом, сожженный в революцию, чуть ли не летом семнадцатого, так что в поджоге были повинны не новые власти, а лихие заречные мужики, порешившие дело самосудом. Фамилия помещицы сохранилась в памяти молочниц, дровоколов, старух, тас-

кавших по дачам грибы да ягоду: Корзинкина. Эта Корзинкина, от которой не осталось и следа, кроме красивых, из белого камня, с остроугольным верхом, похожих на кладбищенские ворот, сжечь которые не представлялось возможности, и каменистой, в древнем цементе дорожки, щербатой и чрезвычайно опасной для велосипедистов, где Саня часто падал и расшибал колени, легендарная Корзинкина представлялась воображению Сани отчетливо: тучная, с большим брылястым лицом, в черном пальто, длинном и расширяющемся книзу, как колокол, иногда ее отрывало какой-то сверхъестественной силой от земли и она летала над домами, над соснами в снопах искр, как гоголевская ведьма.

Кроме кладбищенских ворот от бывшего имения осталось вот что: деревянный домик вблизи въезда, где жил сторож. Избушку пощадили огнем лишь потому, вероятно, что она принадлежала трудящемуся человеку, который, впрочем, сгинул вместе с хозяевами. Это была аккуратно сложенная из крупных бревен изба на каменном фундаменте, с высоким крыльцом, с верандочкой, двумя комнатами и кухней. В 1926 году, когда несколько московских интеллигентов пролетарского происхождения облюбовали горелую пустошь для дачного кооператива под названием «Буревестник» (тогда же возник другой кооператив, «Сокол», разросшийся впоследствии в громадный район Москвы с собственной станцией метро), сторожка была там единственным жильем. Никто не позарился на нее, и в сторожке поселился работник Рабкрина Мартын Иванович Изварин с женой и сыном. А уже через год на участке выросли дачи: сначала громоздкая, двухэтажная, с четырьмя верандами и мансардой, где поселилось несколько семей, там жил первый Санин приятель, заступник, обидчик, драчун с татаровскими «мужиками» и открыватель гнусных тайн жизни Руська Летунов со своей плаксивой сестричкой Верой, и там же в мансарде жила рыжеволосая Мюда, названная так в честь Международного юношеского дня; затем появились две дачи поменьше, в одной жил знаменитый профессор, гулявший по участку в шелковом халате и в тюбетейке, к нему приезжала черная машина «роллс-ройс» с маленьким окошечком в крыше для проветривания, и сын профессора Скорпион приглашал кататься до автобусного круга и обратно; в другой даче жила Маркиза, обожавшая собак и кошек и ненавидевшая детей; и наконец, вырос отдельный

двухэтажный дом, называвшийся почему-то «коттедж», где на одной стороне жил Славка Приходько, на другой горлопанила многошумная семья Бурмина, старого лектора и пропагандиста. Отец Сани знал Бурмина по Восточному фронту, но в Соколином Бору они общались мало, а когда встречались во дворе, разговаривали шутливо. Отец считал Бурмина человеком глупым (Саня слышал, как он говорил: «Этот дурак Семен»), а к его военным подвигам и даже к ордену относился иронически. Зато Руськиного отца Летунова уважал, называл толковым мужиком. Помнится, говорил матери: «Единственный, кто поступил дельно, Паша Летунов — после войны закончил институт, стал инженером, не то что мы, балаболы...» Отец Руськи приезжал в Бор редко, иногда не бывал месяцами — работал на севере, на Урале,— и Руськина мать, тетя Галя, хорошая женщина, уезжала надолго к нему, Руська и Вера оставались в одиночестве, потому что малахольная тетка, к ним приставленная, то ли прислуга, то ли родственница, была не в счет... Да и тетка пропадала неделями в Москве, так что Руська и Вера — совсем одни... В их квартире затевались игры, выдумки, турниры, карты, черт знает что. На веранде опускались парусиновые занавеси, начинался тарарам, сверху в пол стучали палкой... И то, что Руська назвал: большой театр... Тьма, стыдное, задавленное в памяти, погребенное... Хотел стать великим артистом, великим писателем, но первое, что сотворил — в восьмилетнем возрасте,— была великая глупость... Родители орали друг на друга, лупили детей, не пускали на двор. Да Руська ли виноват? То был стыд всех. И в первую очередь взрослых дураков, которые бросали детей на теток, мчались, кто на курорты, кто на собрания, а иные, вроде козлобородого Бурмина, возомнили себя сокрушителями старых норм, созидателями новых. Ну, конечно, ведь началось с бурминских причуд, казавшихся глупостью и потехой! Бурмин, его жена, сестры жены и мужья сестер были поклонники «нагого тела» и общества «долой стыд» и часто расхаживали возле своей дачи, в садике, а то и на общественном огороде, где вечерами собиралось много людей, в непотребном виде, то есть в чем мать родила. Дачники возмущались, профессор хотел писать в Моссовет, а мать Сани смеялась, говоря, что это иллюстрация к сказке про голого короля. Однажды она поссорилась с отцом, который запрещал ходить на огород, когда там «шуты гороховые». Отец Сани

очень злобствовал на Бурмина из-за этого «долой стыд». А остальные смеялись. Бурмин был тощ, высок, в очках, напоминал скорее Дон Кихота, чем Аполлона, да и бурминские женщины не блистали красотой. Правда, были замечательно загорелые. И все яркие, соломенные блондинки. Самая маленькая соломенная блондинка — Майя, ровесница и подруга. Исчезло лицо, забыт голос, но пожизненно веет каким-то дуновением тепла от имени: Майя. Может ли быть любовь в травяном, мотыльковом возрасте? У Сани была. Он был влюблен в волосы. Когда видел среди зелени мелькание сияющей золотой головы, чувствовал испуг и радость, и будто силы покидали его: хотелось упасть и лежать недвижно, как жук, притворявшийся мертвым. Майя была непохожа на Бурминых: медленно разговаривала, задумчиво смотрела и никогда не гуляла по садику голышом, как другие Бурмины.

Он запомнил чувство отвращения и страха, когда впервые увидел взрослых голых людей. Бурмин тогда где-то преподавал, что именно и где, неизвестно, писал какие-то статьи по вопросам воспитания, просвещения, истории, о чем старший Изварин отзывался непочтительно, употребляя слово «брехня». Загадочно, какие лекции мог читать Бурмин? За ним числилось два класса церковноприходской школы, остальное он добрал в ссылках с помощью книг и друзей. Во время гражданской войны был фигурой, но затем как-то отжат, отодвинут, занимался чепуховиной — тем самым балабольством, о котором презрительно говорил Санин отец, вроде педологии, воспитания детей в коммунах, поклонения солнцу. Нудизм, но с какой-то передовой начинкой. Кончилось все однажды скандальным криком. Но была ли то глупость, как полагал отец? Был ли истинно глуп этот сын землемера с козлиной бородкой, кого выметнула на гребень чудовищной силы волна? Теперь, спустя три с лишним десятилетия, то, что казалось аксиомой — глупость Бурмина,— представляется сомнительным. Ведь он единственный среди интеллигентов, основавших «Буревестник», пробурил насквозь эти годы, набитые раскаленными угольями и полыхавшие жаром, и вынырнул безувечно из огня в прохладу глубокой старости и новых времен. Говорят, умер недавно. Жив еще, кажется, Руськин отец, но этот хлебнул, этого обожгло, тут уж не глупость выручила, а судьба.

Про старика Летунова рассказал Руслан, с которым встретились случайно на улице лет несколько назад: бывший приятель стал невероятно важен, солиден, толстомяс, с пышной седой шевелюрой, как провинциальный актер. Старший инженер на каком-то заводике. А остальные старики? Смыло, унесло, утопило, угрохало... Саня лишь догадывался, ибо десятилетиями не бывал там, ничего знать не хотел, сторонился людей и с Русланом разговорился только потому, что тот хвать за ворот и завопил: «Санька! Ты живой, черт?»

А тогда в комнатах, занавешенных шторами — неужто забыл? — седой толстомясый мальчик кого шепотом, кого силой заставлял снимать трусики, маечки, и ничего особенного, то же самое, что делали взрослые Бурмины в своем садике, никого не стесняясь — разгуливать голышом, прыгать, валяться, бороться... Называлось: большой театр... Сын землемера отвечал бушевавшим дачникам: «Дети должны все видеть, все знать! Не будьте лицемерами и ханжами!» Саня с содроганием видел золотое тельце, летавшее из комнаты в комнату, бессмысленно трепеща, как летают бабочки... «Лишь мещане боятся прекрасного нагого тела! — гремел, наливаясь краской и тряся кулаком, Бурмин.— Буржуи под лицемерной одеждой скрывают грязную душу!» Потом были избиения, шлепки, ремни, крик матери Сани: «Мартын Иванович заявит в Рабкрин! Если эта гадость не прекратится!» И навсегда, навсегда: загорелое, бесстыдное, запретное, горевшее в золотом луче, который проникал в щель... А в конце лета — еще до того, как река стала судоходной, мутной от мазута, когда на обоих берегах еще желтели отмели и кое-где реку переходили вброд,— Саня услышал вой женщины. Страшный и низкий, как пароходный гудок. Мать Майи бежала по берегу и выла, вдруг упала, несколько человек бросились к ней. Возле воды сгрудилась толпа. Мальчишки слетали с откоса, делая громадные прыжки, торопясь к толпе. Саня тоже подбежал и увидел Майю, такую же, как всегда, только с закрытыми глазами, и волосы лежали на ее лице, как трава...

Даль, даль — до всего, до детства, до книжного безумия, до пароходов, до потока, до отлома людей... До крика Руськи, упавшего от удара железной трубы. Кидали кусок водопроводной трубы — кто дальше. У Сани железяка вырвалась из руки, полетела вбок и ударила Руську по ноге, ниже колена. Лежал полтора месяца в гипсе.

Руськина мать, тетя Галя, не упрекнула ни словом! Но кто-то на собрании — чуть ли не тот же носатый старик — выразился так: «Отец вредил на службе, а сынок вредит в своем кругу, калечит детей». И мать не выдержала, расплакалась, раскричалась на собрании, тетя Галя привела ее под руку домой, ухаживала за нею, как за больной, и мать на другой день сказала: не ходить к тому старику на веранду и с ним не здороваться. «Ты никогда не видел подлецов, Саня? Теперь будешь знать. Этот лысый человек — подлец». Он спросил: а со Славкой играть можно? «Со Славкой можно,— сказала мать.— Сын за отца не отвечает».

Однажды днем пришла Аграфена и спросила, можно ли посмотреть подпол и сараюшку. Санина мать сказала, что, конечно, можно, потом вдруг удивилась: «А зачем смотреть, Граня?» Аграфена уже отворила воротца под верандой, запиравшиеся гвоздем, и собиралась нырнуть в потемки, чтобы лезть в подпол, но остановилась на полпути.

«Да как зачем, Клавдия Алексеевна? Ведь ваше помещение нам отходит. А не глядемши брать...»

«То есть как это — вам отходит? Кто сказал?»

«А сказали... Я почем знаю...— Аграфена смотрела на мать с обидой и недоумением.— Кому же вы хотите, чтоб отошла? Люди на вас трудятся, какой год в подвале живут, там знаете, какие сырости, попробуйте поживите...»

«Я полноправный член кооператива!— закричала мать таким голосом, что Саня испугался.— Вы не смеете! Пока я жива! Уходите, Граня, заприте сарай и больше со вздором ко мне не являйтесь!»

Аграфена ушла, ворча: «Люди в подвале, а им хоть бы что, господа...» Но все было кончено. Мать знала об этом, Саня догадывался. В конце лета мать устроила день Саниного рождения. Ей хотелось, чтоб было, как раньше, как в прошлые годы. Она не понимала, что Саня все понимает и ее старания не нужны. Вполне мог обойтись без этого праздника, ничуть он не страдал. Конечно, от нового альбома и прозрачных пакетиков с марками французских колоний не хотел бы отказываться, а от пирога, от цветов, от конфет... Из ребят пришли только Руська с Верой и рыжая Мюда. Кажется, Мюда стала потом, лет через десять женою Руськи. Такое доброе, губастое, толстощекое существо, а Вера немного тяготила, потому что — он чувствовал — он ей нравился. И это был последний ав-

густ с пирогом, с флоксами, с вечерним гуляньем по берегу. Мама очень старалась, чтоб все было как всегда. Был невероятно холодный вечер, необычный для августа, даже для конца. Вечер был, как в октябре. Никто не купался. На противоположном берегу, низком, заливном, едва видном в сумерках, кто-то жег костер, и отражение костра светилось в стылой воде длинным желтым отблеском, как свеча...

Зимой мамы не стало. Обвалилась и рухнула прежняя жизнь, как обваливается песчаный берег — с тихим шумом и вдруг. Началось другое: другая школа, другие ребята, другие кровати, другой город, непохожий на город, деревянные тротуары, деревянные дома... В лютый мороз привезли станки, укоренялся военный завод из Москвы... Зачем возвращаться и откапывать то, что засыпано песком? Берег рухнул. Вместе с соснами, скамейками, дорожками, усыпанными мелким седым песком, белой пылью, шишками, окурками, хвоей, обрывками автобусных билетов, презервативами, шпильками, копейками, выпавшими из карманов тех, кто обнимался здесь когда-то теплыми вечерами. Все полетело вниз под напором воды.

...Александр Мартынович сидел возле кровати жены в нестерпимо душной, раскаленной зноем палате, держал ее руку в своей, что-то рассказывал и думал: «Говорить не буду, зачем? Все равно невозможно. Она могла бы, а я нет». Был совсем спокоен, только одно занимало: зачем старик появился спустя тридцать пять лет? Так прямо и спросил, когда тот, как условились, позвонил вечером другого дня.

— Э-э...— услышал протяжное блеяние, затем кашель, затем вздох и вновь бодрый лопочущий голос:— На это ответить довольно сложно или, может быть, слишком просто, но ведь вы не поверите. Очень жаль, что отказываетесь. Впрочем, вы правы, выиграть дом нелегко, тут много pro и contra, вы правы, дорогой Саня, что удаляетесь от хлопот...

— А вы помните,— спросил Александр Мартынович,— моя мама, царство ей небесное, как-то назвала вас подлецом?

Наступила пауза. Александр Мартынович успел за эти четыре или пять секунд подумать о том, что жизнь — такая система, где все загадочным образом и по какому-то высшему плану закольцовано, ничто не существует отдельно, в клочках, все тянется и тянется, переплетаясь

одно с другим, не исчезая совсем, и поэтому домик на курьих ножках, предмет вожделения и ночных слез, непременно должен был появиться и вот появился: как пропавший некогда любимый щенок в виде унылой, полудохлой собаки. Старик прошелестел едва слышно:

— Вы ничего не поняли в жизни, Саня.— И повесил трубку.

...Наутро разъехались все, кроме Руслана, который уже с неделю торчал на даче: то ли в отпуске, то ли взял работу домой, то ли заведение такое халтурное, что посещать не нужно, а денежки платят. Не разбери поймешь, выяснять бесполезно, толком все равно не ответят. И что у них за манера вечно иронизировать! Надо всем, к месту и не к месту шутовство. Ах, какие мы умные. Завтракали вдвоем. Солнце палило. Руслан был босой и голый, в одних трусах, мрачен, небрит, пил крепчайший чай, курил и молчал.

Из сада тянуло горелым. Угрюмое молчание томило, и Павел Евграфович, не сдержавшись, спросил:

— Ты почему, позволь узнать, сегодня не на работе?

Руслан поставил пустую чашку на стол, вытер пальцами, сложив их щепотью, рот — так же, щепотью, вытирала рот Галя,— посидел, покачался на стуле, будто не слыша, затем взял заварочный чайник, глотнул раза два из носика. И лишь после того ответил:

— А что, отразится на мировой революции?

Поделом, не нарывайся, старый пень. Павел Евграфович сказал мирно:

— Ты бы, Руся, поговорил, опять он мусор в железном баке сжигает, хулиган.

— Кто?

— Да Скандаков. Слышишь, какую вонь напустил?

— Скандаков! — Руслан хмыкнул.— Скандаков помер днями. Его самого сожгли. Инфаркт миокарда. А знаешь, отчего гарь? Леса горят за Москвой. Торф горит. Как в летописи: и бысть в то лето сушь великая... Помнишь? Какая была сушь тыщу лет назад?

— Помню.— Павел Евграфович, помолчав, спросил:— Скажи, отчего ты с отцом разговариваешь всегда в дурацком, шутовском тоне?

— Ась? — Руслан приставил ладонь к уху.— Чегось?

— Ну вот, пожалуйста... Ах, бог ты мой, все понят-

но...— Павел Евграфович заторопился встать, чтоб уйти, но Руслан неожиданно взял его за руку, потянул вниз и силою посадил на стул, как мальчика. Часто, наглец, пользовался преимуществом в силе.

— Хотел, кстати, тебя спросить. Как, по-твоему, всегда ли прав коллективный разум? И всегда ли неправ одиночка?

— Видишь ли... Как тебе сказать? — Павел Евграфович обрадовался, что сын задал серьезный вопрос, захотелось ответить обстоятельно и умно. Он напрягся, собрал мысли.— Пожалуй, готового рецепта я тебе не дам. Каждый случай надо обсуждать во всех связях, в противоречиях, диалектически... Тебя какой аспект интересует?

— Да меня свой интересует. Личный. Понимаешь, какая петрушка: надо работу менять. Выживают меня с завода.

— Что ты говоришь! — испугался Павел Евграфович.

— Страшного ничего нет. Работу я найду моментально. Но вот что заедает: а вдруг они правы, сволочи? Они говорят, что я такой человек, что со мной работать невозможно. Я, мол, высокомерный, грубый, такой-сякой, эгоистичный. Не желаю учитывать интересы других. Восстановил против себя сотрудников. И говорят люди, от которых я просто не ожидал. Как обухом по голове. Ну, в общем, настоящая травля, и положение сейчас таково, что оставаться нельзя... Вот, папаша, какие пироги... Но дело не в том! Я за эту шарашку не держусь. Меня другое убивает: если все говорят, что я плох, может, я действительно плох? Может, действительно такая скотина?

— Нет, Русик. Нет, нет. И не думай даже! — заговорил Павел Евграфович горячо, почувствовав внезапную жалость к сыну, почти как сорок лет назад.— У тебя, конечно, есть недостатки, у кого их нет. Но работать с тобой можно. И жить с тобой можно. По-моему, наоборот, эгоизма в тебе мало, ты мало заботишься о себе.

— Ну вот. А они считают иначе. Я уж не знаю, что о себе думать. Это ведь неприятно, когда тебе говорят: вы плохой человек. Когда говорят «вы плохой работник, плохой инженер», черт с ним, пускай, а вот «плохой человек» — неприятно.

— Ты вовсе не плохой человек. Но, конечно...— тут Павел Евграфович запнулся, потому что хотел было сказать, что к недостаткам Руслана относятся некоторая разболтанность, легкомыслие, неуважительная манера

речи, что может не нравиться сослуживцам, однако счел правильным не уточнять. Он погладил сына по седой голове и сказал:— По сути, ты человек добрый и хороший. Живешь как-то не так, как мне хотелось бы, да что поделаешь.

Они помолчали. Руслан мычал неопределенно, качаясь на стуле, глядя в сад.

— А что плохого в моей жизни? — спросил он.

— Плохого? Ничего. Да и хорошего нет. Дома у тебя нет. Тепла нет.

— А! — Руслан хмыкнул, как бы говоря: «Ишь чего захотел». Потом, вздохнув, согласился:— Прав, отец, прав, прав... Нету ни того, ни сего, ни пятого, ни десятого... И синей «Волги» нет, как у того хлыща.— Он показал кивком: на дорожке, за деревьями, медленно разворачивалась кандауровская «Волга».— И как это меня угораздило, чтоб ничего не было? Когда у всех все есть? Куда-то не в Москву попер, в обратную сторону. В совхоз, что ли. Значит, так надо. Зря бензин жечь не станет. Ах ты, боже мой, и чего я суечусь? Ведь все практически сделано, картина нарисована, осталась какая-то мелочь, ерунда, детальки... Ну и шут с ними... Между прочим, я дня через два уматываю. На борьбу с пожарами. Куда-то в район Егорьевска. Записывали добровольцев. «Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой?..»

— Ты записался? — вскрикнул Павел Евграфович, испугавшись не на шутку.— Зачем? С ума сошел! Пускай молодые едут, а тебе пятьдесят лет, у тебя сердце, дурак ты, ей-богу...

— Пустяки, сердце нормальное. А сидеть в конторе, видеть их рожи — тошно! За себя не ручаюсь — или скажу чего, или врежу кому... Зафитилю одному, будете потом передачи носить... Лучше уж на фронте борьбы с огнем, спасать леса — наше богатство...

Павел Евграфович смотрел на сына сокрушенно, с недоумением: неужто пятьдесят? Какой-то невыросший, недозревший, бузотер, гуляка, шатун. Волосы седые, одевается, как инженер, а разговор босяцкий. Грозит отцу пальцем насмешливо, покровительственно, будто он отец, а Павел Евграфович — сын.

— Я тебя зна-аю, голубчик! Воспользуешься моим отсутствием, будешь манкировать тем, что обещал... С Приходько поговори непременно, слышишь?

Олег Васильевич с утра поехал в совхоз разыскивать Митю по прозвищу Жализо или Кривой, а также Жучковский, по деревеньке Жучково, откуда Митя был родом, но где жить не удавалось: то тащило в Москву на стройку, то лепился к совхозу, то к дачникам в сторожа, то вербовался с ребятами на Кубань, в хорошие места. А Жализо оттого, что являлся обычно с каким-нибудь торговым запросом, чаще всего заговорщицки тихо спрашивал: «Жализо не надоть?» Олег Васильевич знал Митю хорошо, считал хитрованом, шельмой, не верил ни одному его слову, ни одному обещанию, но полагал, что ссориться с ним не надо, хитрован он нужный, шельма полезная, хотя ссорился и ругался не раз, прогонял в сердцах, клялся, что не одолжит больше ни рубля, но тот спустя время опять подкатывал с каким-нибудь гнусным предложением, заманчивым товаром, вроде огородных леек или цементных плит для дорожки, и Олег Васильевич, махнув рукой на обиды, вновь вступал с ним в презренные отношения, одалживал рубли и пил с ним водку на веранде. Однако эти устоявшиеся виды общения относились к Мите прежнему, привычному, кого можно было приголубить, облагодетельствовать, а можно в любой момент и послать куда подальше, к Мите — доставале, ловкачу, работяге, прихлебателю и собутыльнику, но отнюдь не к тому Мите, в кого он превратился теперь. Ведь он стал соперником! Опасность, правда, невелика, пожалуй, сомнительна, не прямой родственник Аграфены, а племянник, но ведь чем черт не шутит? Добрые люди и любезные соседи непременно что-нибудь поднесут, какую-нибудь плюху. В новом качестве Митя появлялся лишь дважды: на похоронах и на другой день после похорон, когда пригнал с двумя дружками грузовую машину и хотел, не мешкая, погрузить всю Аграфенину рухлядь — шкаф, кровать, телевизор, швейную машину — и быть таковым. Была б дома одна Полина Карловна, операция удалась бы спокойно. Но Зина вызвала кого-то из членов правления, бухгалтера Таисию, которые спросили: на каком основании? Права наследования надо доказать. Митя орал, дружки его распаляли, все трое были чуть-чуть хмельны — в том чудесном душевном настрое, когда вот-вот ожидается большая гулянка, а тут гулянку отнимали если и не навсегда, то перекладывали на неопределенное время, чего вытерпеть было нельзя. Они ярились до темноты, Таисия бегала за милицией. Таисия —

человек верный. Там вложено немало. Но это не зря, это как в швейцарском банке, не пропадет, еще даст проценты. Таисия орала и материлась не хуже мужиков. А жена Мити — совсем неподходящая для него, миловидная женщина, и как она живет с этим чучелом? — не вылезала из кабины и только стонала жалобно: «Мить, да ну их... Мить, поедем...» Отстояли. С помощью милиционера Валеры, который прискакал на своей тарахтелке. Потом Митя пропал надолго. Уезжал куда-то с бригадой. И вот неделю назад возник опять. Полина Карловна услышала, как кто-то гремит тачкой. Вышла на крыльцо, увидела Митю, который вез по уложенной плитами дорожке железную Аграфенину тачку, очень удобную, в которой Аграфена таскала землю, удобрения, кирпичи, палые листья. «Митя,— сказала Полина Карловна,— зачем же ты берешь без разрешения? Ведь это не твоя вещь».— «А и не ваша тоже!» — отрезал Митя. И ушел с тачкой, не оглянувшись.

Но это пустяки. Митя не страшил Олега Васильевича. Главное, не поддаваться на наглость. Вспомнилось, как лет восемь назад, в первое лето здешней жизни, когда еще не были ни с кем знакомы, жили одни — Аграфена была в больнице, постоянно где-то лечилась, исследовалась, наблюдалась, скучнейшая баба, и все разговоры с нею были о болезнях и медицине,— пришел кособокий мужичок в пиджаке с чужого плеча, кепка на носу, один глаз сощурен, отчего и кличка Кривой, и спросил, не нужно ли стекло. Держал под мышкой два больших куска стекла, обернутых в тряпку. Олег Васильевич сказал, что не нужно. Тот настаивал, чтоб взяли, что хозяйка, родная его тетка, наказывала и вот он принес. От мужичка пахло спиртным, и Олег Васильевич его прогнал. Среди ночи всех разбудил грохот и звон. Выбежали из комнаты, увидели, что стеклянная сторона веранды, обращенная к забору, выбита и лежит на полу в осколках. На полу же нашли громадный булыжник. Кто-то кинул с дороги. И сомнений не было, кто. На другой день наглец явился как ни в чем не бывало и опять канючил: может, возьмете стекло? Может, надоть? Мне ж наказали, я за его деньги платил. Олег Васильевич пожаловался: какие-то негодяи бросили через забор камень, стекло теперь кстати. У Мити в кармане оказались гвоздики с молотком и стеклорез, он тут же принялся за работу и через час все прекрасно восстановил. «Спасибо, спаси-

бо,— говорил Олег Васильевич, пожимая Мите руку.— И будь здоров! Заходи, брат».— «А шашнадцать рублей? — изумился Митя.— Как договорились?» — «Чего-о? — зарычал Олег Васильевич и, схватив стальными пальцами тощий Митин загривок, сжал его с такой силой, что Митя скорчился и присел.— Я тебе покажу, как камнями швыряться! Я тебя на три года упеку, падла! Я тебе пасть порву, сучий по́трох! Катись отсюда, пока жив!» И Митя подлинно покатился, ибо Олег Васильевич толкнул его хорошо: тот упал на колени, потом на бок, перевернулся, вскочил и убежал ошеломленный. С тех пор отношения наладились. Аграфена племянника не любила и боялась: часто, когда Митя приходил, запиралась в своей комнате и велела говорить, что ее нет. Он выпрашивал у нее деньги, был настойчив, злобен, у нее не хватало воли отказать.

Олег Васильевич отыскал Митю в мастерских, в ме́дницком уголке, где Митя деревянным молотком обстукивал на оправке жестяной желоб. По тому усердию, с каким Митя орудовал — с его плеч, со щек струился пот, рот был открыт, глаза глянули шало и бессмысленно, в первый миг не узнав,— было очевидно, что выполняется срочный, негосударственный заказ, что клиент не ждет, да и Митя торопится.

— Ну? Чего? — Оторвался от оправки и молотка неохотно. Вышли на двор, сели в тенечке. На Митиной голой груди был вытатуирован орел, ниже шла надпись: «Наша жизнь, как детская сорочка...» Вторая строчка пропадала в складке живота. Но Олег Васильевич хорошо ее знал. Он спросил, стараясь говорить как можно легче и благодушней, хотя предчувствие подсказывало, что все будет тяжело и плохо и Митя стал какой-то другой.

— Как будем жить-то, а? Хитрый Митрий?

— Вы когда нынче в Москву съезжаете? В сентябре или раньше? — вместо ответа спросил Митя.

Олег Васильевич усмехнулся, достал пачку «Филипп Моррис» и щелчком выбил сигарету. Протянул Мите, но тот — тоже новость! — покачал презрительно головой и вытащил из кармана штанов мятую, мусорного вида пачку «Дуката». Половину изломанной дукатины он вставил в мундштучок и закурил важно.

— Надеешься? — спросил Олег Васильевич.— Зря! Надеяться тебе не на что. Ты не прямой наследник, ты

племянник, а племянники по закону не наследуют. Это говорю тебе точно. Можешь мне поверить. Так что дело твое, Митрий,— табак.

— Но! — сказал Митя и, склонив низко голову, сощурив глаз, посмотрел на Олега Васильевича очень хитро.— А на хрен ты ко мне припер?

— Это я сейчас объясню. Но сначала ты должен уразуметь, что никаких прав у тебя нет. Абсолютно, совершенно никаких прав. То, что называется: пустые хлопоты.

— Но! — повторил Митя более издевательским тоном, склонив голову ниже и еще хитрее сощурив глаз.— А иждивенец? Ежели который на иждивении?

— Это ты, что ли, на иждивении? У Аграфены? Ну, Митька, не смеши! Хо-хо! Тебе голову морочат, а ты веришь, балда. Кто такую ересь сказал?

— Умные люди сказали. И поумней тебя есть, не думай. Анатолий Захарыч сказал, Графчиков. Он мужик мировой, все объяснил правильно.

— Поцелуй своего Графчикова, знаешь куда? — озлился Олег Васильевич.— Чего он тебя путает, гад? Никакой ты не иждивенец. Она тебя не кормила и не поила, Гранька. Она тебя зрить не могла! Ты для нее был как чума. Под кровать от тебя пряталась.

— А деньги давала всю дорогу.

— На водку!

— А кто знает?

— Да все знают! Ты пьянь знаменитая. Все подтвердят.

— А вот и дурак, что так думаешь,— спокойно сказал Митя.— Никто не будет, потому сам знаешь... они тебя не обожают, Василич. А Графчиков, Анатолий Захарыч, сказал: я, говорит, подтвержу, что Граня тебе на харчи давала и на квартиру. Ты, говорит, не беспокойся.

— Глупости все это. Какой ты иждивенец, когда у тебя жена есть? Она тебя кормить должна, а не тетка.

— А хрена не хошь? Клавка — не жена, а так, приблудная. Мы не расписанные.

— Ну хорошо, но ведь ты работаешь, ты специалист, жестянщик, кровельщик, черта в стуле, сам себя можешь обеспечить. Такие орлы, как ты, на иждивении — это смешно!

— Не смешно, друг, когда здоровья нет. Месяц работаю, два на больничном. У меня сердце никуда. Печенка

плохая. Печенка совсем не годится. Я капли пью, понял? Так что ты, Василич, не сопротивляйся. Твоя кличка — отвались, понял?

Олег Васильевич помолчал размышляя. Затем сказал:

— Ладно! Все это болтовня, трата времени... Сейчас я расскажу, зачем я приехал. Только не тут. Мне тут не нравится.— Олег Васильевич брезгливо оглядел двор мастерских, в котором действительно было мало красивого: ржавые станки, оси, прицеп без колес, ящики, мусор.— Поедем на развилку, посидим в покое, поговорим всерьез.

На Митином лице отпечатался секундный отчаянный зигзаг борьбы, происходившей в душе, затем он, ни слова не сказав, ушел в помещение, вернулся и сделал рукою быстрый победный жест, какой делают футболисты, забивая гол, и что означало: поехали! Через полчаса сидели под белым тентом за столиком в павильончике «Отдых», взяли три бутылки румынского кислого, ничего другого не было, пачку вафель и несколько конфеток — Олег Васильевич заметил, что скромное угощение Мите понравилось, хотя ни одной вафли и ни одной конфетки он не взял — и вели вполголоса беседу. Олег Васильевич объяснил напрямую: дело сложное, может, и выиграешь, может, и нет, скорее всего, нет, потому что старшие козыри на руках у него, Олега Васильевича. То-то, то-то и вдобавок то-то. Так что не тратьте, кума, силы, спущайтеся на дно. Взяли еще две бутылки. Домик, куда приходилось бегать, оказался недалеко, перепрыгивали через загородку. Митя не пьянел, а трезвел. Вопрос для него становился ясен: будешь биться, судиться, тягаться и ничего не высудишь, только время испортишь, а тут отступное. Живые деньги. Сто рублей. Или ни шиша, или сто — что лучше? Но Митя, конечно, не будь дурак, над этой суммой посмеялся и предложил свою — пятьсот. Стали торговаться. Длилось долго, шумели, горячились, обливаясь потом, наконец — сто семьдесят.

— Только, Василич, слышь? — Митя строго грозил пальцем.— Деньги щас! А то ты любишь: через неделю, в понедельник, в хренодельник...

— Деньги вот. Сто рублей. Семьдесят получишь после общего собрания, в тот же день. А теперь нарисуй тут.

Митя, морща лоб, разглядывал бумагу, где Олег Ва-

сильевич с помощью машинки «Триумф» изобразил лаконичный Митин отказ от посягательств на дом Аграфены. Покряхтел, попотел, попосматривал на Олега Васильевича с выражением внезапно пришедшей на ум мысли, которую вот-вот выскажет и поставит в тупик, но так и не высказал и подписал. Было четыре часа. Весь день ушел на Митьку — и его пришлось сверлить до упора, ничего просто не дается, все надо выбивать, пробивать! — и многие спешные дела, которые он намечал на сегодня, пропали. От кислого вина и адского зноя Олег Васильевич отяжелел, разморился, в голове был шум, хотелось нырнуть в реку и сидеть в воде, не вылезая, до вечера, но два часа, что оставались в запасе до закрытия контор, погнали его в Москву. И кое-что он успел. Вечером после душа сидел на балконе городской квартиры в плетеном кресле — в трикотажных трусах, в резиновых пляжных сандалетах, как на взморье — и, испытывая наслаждение покоем, тенью, чувством удачи и ощущением правильности всей своей жизни до упора, отмечал карандашом в записной книжке сделанные дела. Вычеркнул из списка: «Митя», «Внешпосылторг», жэк, «Очередные тома» и «Потапов». Потапов — зашифрованное имя Светланы. Прощание с Потаповым состоялось. И это дело — как ни горько, как ни рвет сердце — доведено до конца, должно быть вычеркнуто. Впрочем... Она уезжает завтра. А сегодня? Вечер пустой. Он колебался некоторое время, жалея ее и не очень одобряя себя, но затем подумал, что отказ от сегодняшнего вечера был бы изменой принципу, ибо сегодняшний вечер, накануне ее отъезда, это и был упор, и, быстро поднявшись с кресла, направился в комнату к телефону. Номер Светланы не отвечал. Он позвонил дважды и ждал долго.

И, как только положил трубку, раздался звонок.

Знакомый мелодичный голос сказал:

— Олег Васильевич? Наконец-то! Я вам звонила сегодня, вас не было. Ангелина Федоровна.

— Да, да! — сказал он, не сразу сообразив, кто это.— Ах, Ангелина Федоровна! Слушаю вас.

— Ничего особенного, Олег Васильевич, просто хотела вас попросить приехать завтра и привезти повторно мочу. Вы могли бы?

Легкий мгновенный холод в глубине живота был от-

ветом на эти слова, раньше, чем Олег Васильевич успел что-либо подумать. Он спросил глупо:

— А зачем?

— Мы просим иногда делать повторно, в некоторых случаях. Когда мы в чем-либо сомневаемся и хотим быть уверены.

— Вы знаете, Ангелина Федоровна, завтра я никак не могу. Я встречаю делегацию в Шереметьеве,— соврал Олег Васильевич, бессознательно обороняясь.

— Пожалуйста, можно послезавтра,— согласилась Ангелина Федоровна.— Приходите послезавтра утром.

Чугун давил, леса горели, Москва гибла в удушье, задыхалась от сизой, пепельной, бурой, красноватой, черной — в разные часы дня разного цвета — мглы, заполнявшей улицы и дома медленно текучим, стелящимся, как туман или как ядовитый газ, облаком, запах гари проникал всюду, спастись было нельзя, обмелели озера, река обнажила камни, едва сочилась вода из кранов, птицы не пели; жизнь подошла к концу на этой планете, убиваемой солнцем. Вечером рассказывали всякие ужасы. Вера видела, как человек упал на улице. Будто в замедленной киносъемке: несколько шагов топтался на месте, высоко вскидывая колени, потом голова запрокинулась и он рухнул. А в метро женщина потеряла сознание. «Вечерняя Москва» полна траурных объявлений. Бродячих собак расстреливают. Один старик сказал, что жара простоит до конца октября, потом станет легче. Свояченица твердила об атомных испытаниях, которые будто бы — вздор, разумеется — испортили климат. Свояченица раздражала Павла Евграфовича своей «хорошестью», выставкой своих добродетелей и вместе с тем глупостью.

Никто не отрицал ее заслуг. Все помнили. Галя говорила: «Никогда не забуду, что Люба сделала для нас. Если б не Люба, дети пропали бы». Правда, три года, по сороковой, пока они отсутствовали — а он-то еще дольше, ушел на войну,— Люба была с детьми, тащила, оберегала, вместе с Галей везла в эвакуацию, в Лысьву, оттуда Руслана провожала на фронт. Она и дачу в Соколином Бору спасла. За все спасибо. А глупость в чем? Нет, не в том, что радио не слушает, газетами не интересуется, несет околесную за столом, а в том, что

мнит — втайне,— будто может в чем-то сравниться с Галей. Полноте, Любочка! Хоть вы и моложе сестры на пять лет, но ни статями, ни лицом и уж конечно ни глазами сравниться с Галей не можете, даже не старайтесь, не говоря уж про ум. А человек вы хороший. Добрый, порядочный. Хороший, хороший человек, безусловно, общеизвестно. Все знакомые и родственники говорят: «Какая Люба хорошая!» А некоторые прибавляют: «Ведь она, можно сказать, жизнью пожертвовала ради сестры». Ну не совсем так. Хотя в чем-то да. В тридцать седьмом Любе было двадцать девять, ей сделал предложение один железнодорожник, она отказала, потому что взяла на себя ношу — племянников. Все знаем, помним, ценим, не забудем ни за что, а вот ходить в открытом сарафане, как будто вам двадцать лет, с голой спиной, усыпанной старческими веснушками, негоже, Любочка...

Врачи сказали свояченице что-то благоприятное, и она вернулась из Москвы ободренная, помолодевшая, привезла клубники. Сидели на веранде, ели клубнику, пили чай. Стеклянные фрамуги и дверь в сад держали закрытыми, чтобы не проникала гарь. Помогало слабо. Горький и страшный запах все равно чуялся. Кто-то приходил на веранду, кто-то уходил, постоянно кричали: «Дверь, дверь! Закрывайте дверь!» В отсутствие Руслана — он уехал в Егорьевск в качестве пожарного, очередное безумство, но дело, видно, нешуточное, горят торфяники, их гасить крайне трудно, почва прогорает до большой глубины — Николай Эрастович взял на себя роль главного мужчины, развлекателя общества и рассказывал новости о пожарах. Собственно, то были не новости, а рассуждения по поводу. Насчет алтайского старика, который будто бы еще два года назад предсказал нынешнюю засуху. И вообще о предсказаниях, прогнозах, пророчествах.

— Говорят, с этим дедом совершенно серьезно советуется Министерство сельского хозяйства. И он дает точнейшие рекомендации. Ни разу не ошибся...

Свояченица охала в изумлении — экая клуша, готова тут же поверить чепухе,— Вера, конечно, глядела на благоверного с обожанием, да и остальные, кто сидел за столом, Мюда с Виктором и Валентина, слушали трепача с жадным интересом. А он такую молол чушь! Наука якобы показала свое бессилие в области предсказаний, ни черта не сбывается, все мимо, все не туда, даже такой

пустяк не могут предугадать, как погода на неделю вперед, а что ж говорить о более существенном... Не могут, не могут, силенок не хватает, из тех кубиков, какие у них в руках, это здание не построить. Нужно что-то другое. Что ж, позвольте узнать? Другой подход ко всему. Виктор робко спросил: почему Министерство сельского хозяйства не может допытаться у деда, какие у него методы предсказаний? Николай Эрастович ухмылялся, руками разводил.

— А что он может сказать? Сам не понимает, какие методы...

— Наверно, просто не хочет,— предположила Валентина.— Зачем ему свои секреты открывать?

— Нет, не в том дело. Не может.

— Почему?

— Ну, как бы вам...— Николай Эрастович, колеблясь, глядел на Веру, советуясь глазами: говорить, не говорить? Затем произнес: — Понимаете ли, дело в том, что сей алтайский старец *не сам говорит*.

— А! — сказал Виктор.— Понятно.

— Что понятно? — не выдержал Павел Евграфович.— Не ври, Витька! Чушь понять невозможно.

Настала пауза. Николай Эрастович не стал возражать, будто не слышал Павла Евграфовича, остальные тоже будто не слышали, и в тишине сделался различим стук серых ночных бабочек в стекла веранды. Но свояченица, разумеется, не могла успокоиться и оставить тему без продолжения. Сконфуженным шепотом спросила:

— Николай Эрастович, дорогой, вы уж простите старую дуру, но я все же не совсем поняла. Что значит — *не сам говорит*?

Тот опять ухмыльнулся, пожал плечами.

— Да ничего особенного не значит. Если не понятно, то и не надо понимать...— Сделал великодушный жест: живите, мол, дальше, я разрешаю.— Тем более что объяснять долго.

— Долго? — удивилась Люба.— Как долго?

— Очень долго. Всю жизнь.

— Вы просто смеетесь надо мной... Витя, что ты понял? Объясни тетке, пожалуйста.

Виктор, напряженно хмурясь, собирался с мыслями и словами. Хотел добросовестно объяснить. Но слова и мысли не находились. Тогда его мать, бедная Мюда —

Павел Евграфович всегда почему-то ее жалел, хотя жалеть не за что — пришла на помощь:

— Ты, наверно, имел в виду, что старик делает свои предсказания в состоянии транса? Как бы во сне?

— Не золотите пилюлю,— сказал Павел Евграфович.— Любовь Давыдовна, тебе хотят внушить, что устами старца говорит господь. Вот и вся тайна. Николай Эрастович — человек религиозный, а мы с тобой нет. Поэтому мы никогда не поймем его, а он нас.

— Правда? Да что вы! — Свояченица изобразила еще большее изумление, будто услышала новость, хотя говорили и спорили на эту тему не раз.— Неужто вы, Николай Эрастович, ученый человек, верите в бога? Да никогда в жизни! Ни за что не соглашусь! Глупости говорят!

У Николая Эрастовича задергались губы, заалела щека, минуту он сидел, глядя перед собой, на блюдо с клубникой, затем молча встал и ушел с веранды в дом.

Верочка зашептала в смятении:

— Люба, почему ты такая бестактная?..

— Да что я сказала? Я просто поражена...

— Ничего не поражена, ты давно об этом знаешь, не прикидывайся. Нехорошо вы делаете, вы оба — и ты и отец,— все время даете понять... Надо уважать других, другие взгляды... Нельзя же вот так лезть в душу...

— Да души-то нет! — крикнул Павел Евграфович и стукнул палкою в пол.

Верочка поднялась со всей поспешностью, на какую было способно отяжелевшее, грузное тело, глядя на отца в безумном ошеломлении, будто услышала нечто такое, отчего у нее отнялся язык, и вслед за благоверным покинула веранду. Валентина собрала грязную посуду, тоже ушла. Виктор побежал в сад, Павел Евграфович остался на веранде вдвоем со свояченицей, говорить с которой было не о чем.

— Вере надо лечить щитовидку,— сказала свояченица.

Павел Евграфович не ответил. Она его раздражала. Все раздражали. Не смотрел в ее сторону и не слушал, что она бормочет. В черном стекле отражались абажур, скатерть и сгорбленная, с белым хохлом, запавшим в плечи, фигура старика за столом. Потом свояченица ушла, он посидел немного один, дверь отворилась, и вышел Николай Эрастович с горящей папиросой — значит,

собрался идти в сад, в доме курить не разрешалось. Но Николай Эрастович уходить не спешил, стоял на веранде, выпуская табачный дым — что было наглостью,— и произнес негромко:

— Вас хорошо отблагодарили за верную службу...

Павел Евграфович почувствовал, как внутри у него все задрожало от ненависти — непонятно какой, то ли то была ненависть его к Николаю Эрастовичу, то ли передалась ненависть Николая Эрастовича к нему,— и сказал едва слышно, пропавшим голосом:

— Я никому не служил и не ждал никакой благодарности...

Николай Эрастович, попыхивая дымом, вышел на крыльцо. Вскоре из комнаты появилась Верочка и, проходя мимо, не глядя на отца, сказала:

— Русик просил напомнить насчет Приходько.

— Его нету,— сказал Павел Евграфович ей вслед.

— Приехал. Я видела утром.

Павел Евграфович продолжал сидеть один за столом, глядя на свое отражение в черном стекле. Нет, сегодня уж никуда — болят ноги. И в голове шум. Давление поднялось. К себе пойти? Вроде бы рано. Читать — глаза не годятся, спать — не заснешь, промаешься часов до трех впотьмах, лучше уж на веранде, где люди бывают. Тут светло, горит лампа под абажуром. Так просидел долго. Люди бывали — проходили из сада в дом, из дома в сад, жаловались на что-то, вздыхали, разговаривали между собой, исчезали за дверью,— он не обращал на них внимания. Смотрел в сторону, занятый мыслями. Хотя мыслей особых не было, потому что голова устала. Потом сделалась глубокая ночная тишина и застучали легкие лапы по ступеням, заскреблись в дверь, вошел Арапка, конфузясь, прося извинения за поздний час, пригибая морду к полу и хвостом метя. Деликатнейший пес! Павел Евграфович обрадовался и пошел, стараясь не скрипеть, не шаркать — все уже легли, кто в доме, кто в саду,— искать что-нибудь для пса на кухне...

Такая же душная ночь в том августе: девятнадцатый год, какой-то хутор, название забыто. Запах юности — полынь. Никогда больше не проникала в тебя так сильно эта горечь — полынь. Прискакал нарочный с телеграфным сообщением, да никто и не спит в ту ночь. Ка-

кой сон! Прорыв Мамонтова оледенил нас, как град. На стыке VIII и IX армий, верстах в ста к западу. Он рвется не в нашу сторону, а на север, будто бы далеко, но весь фронт затрепетал, как едва зашитая рана. Захвачены Тамбов и Козлов. И вдруг ночной гонец с телеграммой: корпус Мигулина двинулся из Саранска на фронт! Нарушив все приказы. Самовольное выступление. Предательство? Повернул штыки? Соединяться с Деникиным? То, о чем предупреждали, случилось?

Отчетливый ночной ужас в степи, где гарь трав и запах полыни. Первое: неужели она с ним? Все дальше отрывается от меня Ася, за все более необозримые рубежи. Теперь уже за гранью, куда не достать, только штыком и смертью. Не надо лгать себе. Первая мысль именно такова: штыком и смертью. И даже секундная радость, миг надежды, ибо есть путь, потому что сразу поверил. Какие-то люди из политотдела фронта, какой-то раненый командир, пытавшийся пробраться в Козлов, буян и крикун, все мы, отрезанные мамонтовским движением от штаба Южфронта, который был в Козлове, а теперь неведомо где, отлетел на север, все мы, кроме Шуры, мгновенно приняли новость на веру. Приказом Южфронта Мигулин назван предателем и объявлен вне закона. С нами ночует какой-то молодой попик. Нет, не попик, семинарист. Хуторянин пригрел его из жалости. Семинарист — помешанный, все время тихо смеется и плачет, бормоча что-то. Никто не замечает его, не слышит бормотания. Он, как птица, что-то курлычет в углу. Вдруг подходит ко мне, присаживается рядом на корточки — он долговяз, тощ — и говорит со значительностью и печалью, грозя мне пальцем:

— Ты пойми, имя сей звезде — полынь... И вода стала, как полынь, и люди помирают от горечи...

Поразили слова: звезда — полынь. Не знал, что это из библейского текста, объяснили после, и, как ни странно, объяснил один из работников политотдела, грамотный мужик, а тогда подумал, что бред, чушь. Он вот отчего — всю его семью порешили. Где-то на юге. Но не можем понять, кто порешил: то ли белые, то ли григорьевцы, то ли какая-нибудь Маруська Никифорова. Этих марусек развелось видимо-невидимо, в каждом бандитском отряде своя, но настоящую Маруську Никифорову видел я в мае восемнадцатого, под Ростовом. В белой черкеске с газырями. Попик бормочет несуразно: «Са-

ранча пожрала... Жабы нечистые...» И вот сидим ночью, рассуждаем, гудим, смолим махру, и тут телеграмма. Сергея Кирилловича — вне закона. Мигулина, героя, старого бойца революции, может застрелить всякий. Раненый командир бушует яростней всех: изменник! Шкура! Недаром о нем молва шла! Не выдержал, волчья пасть! Да я б его моментом, не думавши...

Все потрясены и воют, орут, костят, матерят Мигулина. Один Шура, как всегда, холодноват.

— Подождите, узнаем подробности.

— Какие подробности? Все очевидно! Выбрал время исключительно тонко: ни раньше, ни позже, именно теперь, когда Мамонтов прорвал фронт...

— Сговорились заранее!

— Гад! Полковник!

— А вы знаете, не могу поверить...

— Не верите телеграмме?

— Нет, телеграмме верю. И верю тому, что он выступил. Но не знаю, зачем.

— Да вы верите тому, что Южфронт объявил его вне закона?

— Верю, потому что есть люди, которые этого хотели.

— Непонятно, какие вам нужны доказательства? Когда он поставит вас к стенке и скомандует взводу «пли!», вы все будете сомневаться...

Раненый командир трясет маузером.

— Моя б воля, я б его, контру, суку... Без разговору! — И от полноты чувств палит в небо. Злоба против Мигулина адская. Все взвинчены, нервны, хотят немедленно что-то делать, куда-то двигаться, пробиваться, то ли к Борисоглебску, то ли в Саранск. И тут разыгрывается молниеносная история, в общем-то, незначительная, не имеющая влияния на ход войны и на судьбу людей — кроме судьбы одного человека, которая, впрочем, к той ночи безнадежно определилась,— но в мою память история вонзилась, как нож. Случайная смерть бродяги в урагане войны... Зачем он бросился на человека с маузером, стал кричать, бесноваться? Взрыв безумия, приступ болезни. Кричал: «Зверь! Пропади! Сгинь!» — хватал раненого за руку, причиняя боль, и тот — тоже в минутном безумии — разрядил в семинариста маузер. Шура тут же приказал арестовать. Не помню, что с ним сделали. Повезли в Саранск под кон-

воем, а дальше? Не помню, не помню. Дальше охота на Мигулина, который уходил лесами на запад...

Когда слишком долго чего-то боятся, это страшное происходит. Но что же на самом деле? В первую минуту поверил, затем возникли сомнения, затем то укреплялась вера, то добавлялись сомнения. Долгая жизнь и бесконечное разбирательство, и вот теперь, стариком — «мусорным стариком», как сказала однажды Вера, сердясь не на отца, на другого старика, который ей насолил,— жаркой ночью в Бору, когда жизнь кончена, ничего не надо, таблетки от бессонницы не помогают, да и к чему они, близок сон, которого не избежать, ответь себе: зачем он так сделал? Не нужны статьи, увековечивание памяти, улица в городе Серафимовиче, не нужна громадная правда, нужна маленькая истина, не во всеуслышанье, а по секрету: зачем?

Вот папка в залоснившемся картоне с наклеенным в верхнем углу желтым прямоугольником кальки с надписью: «Все о С. К. Мигулине». Листки, тетрадки, письма, копии документов — все собранное за годы. Еще раз. Почему бы не теперь? Почему не во втором часу ночи? Ведь сна нет. Глаза беречь глупо, скоро они не понадобятся.

Назад, назад! На несколько месяцев. Для того чтобы понять, что случилось. Разорвалось сердце. Но до того — глухая, мучающая боль... Мы расстались с ним в марте. Его перевели в Серпухов, потом в Смоленск, в Белорусско-Литовскую армию, что было нелепой ссылкой, ибо армия не вела тогда операций. Помощник командующего бездействующей армией. И это в пору, когда на Дону все горит, трещит, наступает Деникин, бушует казачье восстание — вырвали с поля боя и закинули куда-то в лопухи, в тишину и покой! Корпус Хвесина, созданный для борьбы с повстанцами, провалил дело, растерялся, отступил. В июне опять вспомнили о Мигулине. Вот телеграмма члена РВС Южфронта Сокольского Председателю РВС Республики: «Козлов 10 июня. Деникинский отряд в составе, по-видимому, трех конных полков прорвался Казанскую. Опасность переброски восстания Хоперский, Усть-Медведицкий округа значительно увеличилась. Задача экспедиционных войск теперь, когда фронт на юге открыт, поставлена: занять левый берег

Дона от Богучара до Усть-Медведицы, предупредить восстание северных округах. Хвесин обнаружил беспомощное состояние. Решительно предлагаю срочно назначить командиром корпуса Мигулина, бывшего начдивом 23. Имя Мигулина обеспечит нейтралитет и поддержку северных округов, если не поздно. Прошу немедленно ответить Козлов. Командюж всецело согласен. Сокольский».

На другой день Председатель РВС передал по прямому проводу: «Москва. Склянскому. Сокольский настаивает назначении Мигулина командиром Экспедиционного корпуса. Не возражаю. Снеситесь Серпуховым. Положительном случае вызвать Мигулина немедленно. 11 июня 1919 г. Пред РВС Троцкий».

Те же люди, которые *убирали* и *закидывали* в *лопухи*! Главком Вацетис с назначением согласился. Мигулин получил приказ и в тот же день — какой день, в тот же час! — полетел на Дон. Комиссаром корпуса назначен Шура, и я конечно же еду с ним.

Еще выписка из архива: «Приказ РВС Южфронта. Экспедиционный корпус переименовать в Особый. Подчиняется непосредственно Южфронту. Командэкскор т. Хвесин освобождается от командования с разрешением по сдачи должности воспользоваться личным отпуском по болезни с оставлением в резерве комсостава Южфронта. Командующим Особым корпусом назначается тов. Мигулин на правах командарма. Тов. Мигулину немедленно вступить в командование корпусом, приняв командование от т. Хвесина. О приеме и сдаче донести».

Конец июня, свежее лето, дожди, тепло... Едем на бронепоезде в Бутурлиновку, где штаб корпуса. В вагоне встречаю Асю. Всего четыре месяца разлуки, и какая перемена! У меня, лишь только увидел, порыв броситься, обнять, расцеловать, родной человек, роднее нету, один Шура, но прохладная улыбка и кивок головы удерживают. Трясу ей руку.

— Аська, как я рад! Отчего такая худая? Такая скуластая? Он на тебе пушки возит?

Усмехается сухо.

— Была бы рада возить. Да пушек не даете.

Все новое: шуток не понимает, взгляд какой-то сторожкий, опасающийся. Чего? Как бы не проявил старой дружбы? Не обнял, не подурачился? Весь первый день, да и после, по приезде, старается не быть со мной долго.

Мигулин тоже похудел, высох, борода черная клоком, взор горящий, движения поспешные, голос резкий, разговаривает криком, на надрыве, чуть что, затевает митинг, собирает кружком казаков и глушит речью — человек одержимый. Сейчас одна страсть: создать корпус, армию, возглавить, спасти революцию! И, не мысля ни о чем другом, не замечая ничего, успевает, однако, зорким оком следить за Асей — тут ли она, с кем? Эти его взгляды, наивно ищущие, секундно озабоченные, в разгар спора или речи — он ораторствует перед мобилизованными казаками, идет мобилизация в северных округах, вялая, неуспешная, но с появлением Мигулина дело налаживается, его знают, ему верят, он казачья знаменитость и гордость,— эти откровенные взгляды почти старого человека меня поражают. Он любит! Не может без нее! И она, она... Несколько удивленный переменой, которая с нею случилась — а чего дураку удивляться? — спрашиваю, улучив минуту:

— Почему ты со мной, как с чужим? Что произошло?

— Ничего...— Улыбнулась по-старому, мягко, но сейчас же посмурнела опять.— Я не знаю, как ты относишься к Сергею Кирилловичу.

— Ах, дело в этом?

— Да.

— Делишь людей по такому принципу?

— По такому.

— Все ясно, но ты меня извини...— Я ошарашен, слова не подыскиваются, бормочу: — Как-то странно, на тебя непохоже. Я тебя узнать не могу.

— А это понятно. Меня прежней давно нет. Та девочка умерла,— говорит Ася неумолимо. Да Ася ли это? Смотрю на нее, похолодев.— Ты, наверно, присутствовал при моей смерти. Я никогда не встречала людей, как Сергей Кириллович, и жизнь у меня теперь другая. Он необыкновенный, понимаешь? Не как все. Не как мы с тобой. Оттого я и изменилась, что рядом с ним. И, конечно, у него враги, недоброжелатели, завистники, просто негодяи, которые хотели бы, чтоб его не было...

— Надеюсь, меня не относишь к этой категории?

— К этой нет. Но я, Павлик, скажу честно, не чувствую твоего истинного... У меня есть чутье, как у собаки, и вот не чую...

Потом разговорилась понемногу, рассказывает о мытарствах в Серпухове, в Козлове, о поездке в Москву,

куда вызывали в штаб РККА и где высшее начальство обещало работу; формировать кавдивизию из казаков освобожденных округов. Сергей Кириллович согласился, но все почему-то заглохло и кончилось тем, что послали в Смоленск... Какая тоска, какое унижение, он себе места не находил. Жить не хотел. Она страшно трусила за него, вёдь был на грани самоубийства. Представить себе: человек горячий, отважный, полный яростных сил обречен на покой. А на Дону кипит сеча! Да как вынести? Он с ума сходил. Покой — хуже тюрьмы... В чем же тут дело? Кто тормозит? Кто его враг?

Она допрашивает напряженно, всматривается страстно, хочет понять, узнать — для него. Вся эта исповедь — для него. Не могу помочь. Сам толком не понимаю. Есть застарелое недоверие, но откуда? Рассуждать об этом с нею опасно, потому что вижу, тут все воспалено, болит.

— Аська, я не думаю, чтоб были прямые враги. Тут какой-то предрассудок, какая-то тупая боязнь...

— Кого? Чья?

— Ей-богу, не знаю. Может, есть такие люди в Донбюро, может, в РВС фронта...

Некоторых прямых врагов знаю: Купцов, Хуторянский, Симкин. Да и она должна знать, а он-то наверняка. Называть фамилии нет смысла. Вероятно, и в Реввоенсовете Республики имеются если не прямые, практические, то теоретические, то есть идейные враги, не исключая председателя. По каким-то вопросам никогда не договорятся. Например, о казачьем самоуправлении. Ведь он был народным социалистом, теоретики всегда будут помнить. Как Наум Орлик: «Пятьдесят процентов стихийного бунтарства, тридцать процентов еще чего-то и пять процентов марксизма...»

Ася продолжает жадно выпытывать:

— Ты говоришь про РВС Южного. А Сокольский? Ведь он за нас! Он настаивал, чтоб Сергей Кириллович получил корпус.

Как же объяснить, что люди в этих условиях — смертной битвы — действуют не под влиянием чувств, симпатий или антипатий, а под воздействием мощных и высших сил, можно назвать их историческими, можно роковыми. Что значит: за нас? (Бог ты мой, почему же нас? Так быстро? Так окончательно?) Не в нас дело, а в том, что Дон погибает, нужно его спасать. Тут отчаяние... Риск велик, но и какой-то шанс. У Сокольского

мозги поживей, а у Купцова и Хуторянского мышление заскорузлое, вот и разница. Но обольщаться, будто бы он за нас, не стоит. Всего этого говорить нельзя. Я киваю: да, да, разумеется, Сокольский настаивал, слал телеграммы. (А что было делать?) Мое истинное понимание: тут огромная путаница! Я запутался. Одно понимание соединилось с другим, они напластовались, нагромоздились друг на друга, впаялись в течение лет друг в друга. Теперь, спустя жизнь, неясно: так ли я думал тогда? Так ли понимал? Все понимания перемешались. Нет, летом девятнадцатого было что-то иное. Оттого и разговаривал с Асей, опасливо недоговаривая, что во мне тоже сидела частица зла, которое потом растерзало его,— недоверие. Ну, может, ничтожная, едва видимая частица... Немногие были от этой мути избавлены. Ах, все это сегодняшнее, сегодняшнее! Спустя жизнь! А тогда — то, да не то... Тогда... Весна девятнадцатого: наступает Деникин, полыхает восстание... Мигулина отзывают в Москву, в Смоленск... Тогда: акт недоверия есть как бы подтверждение правоты недоверия, и не надо никаких доказательств. Убрали — значит, есть повод. Оставлять Мигулина на Дону во время казачьего бунта? Пустить козла в огород? Не понимая того, что он сделал бы все, что мог, жизнь бы положил, чтобы остановить, погасить... Потому что все было отдано этому... Другой жизни не было... Его беда — все орал напрямик. И отстаивал с пеной у рта, с шашкой наголо. Даже то, в чем разбирался худо. Он орал о народном представительстве. Орал о максимализме. Орал об анархо-коммунистах. Он орал на митингах о том, что не все комиссары отважны и благородны, попадаются трусы. Орал о том, что не все бедняки — добрые люди, есть злодеи и душегубы. И еще орал о том, что хочет создать на Дону народную крепкую власть, настоящую советскую власть, как указывают товарищ Ленин и товарищ Калинин, без генералов и помещиков, с большевиками во главе, но без комиссаров.

И от этого оранья иных брала оторопь. Другие чесали в затылке. А некоторые говорили: «Ну хорошо, пускай, но мы дадим ему войско...» И еще вот что: полководческое тщеславие. Весной девятнадцатого в России бурлят полководческие знаменитости — наши, белые, зеленые, черные... Командир полка, бывший унтер Маслюк, не может спокойно слышать имени Мигулина. Губы

сжимаются, желваки на широких скулах ходят, и шрам поперек лба — след австрийского тесака — белеет. Ничего дурного не говорит Маслюк о Мигулине, потому что никаких слов о Мигулине — ни добрых, ни злых — язык Маслюка выговорить не может. И дело не в том, как думают, что Мигулин — донской казак, а Маслюк — крестьянин воронежский, и не в том, что один унтер, а другой подполковник, а в том, что чужая слава холодит горло, как нож...

Но я не говорю Асе про Маслюка, хотя он-то и есть недруг, потому что не догадываюсь. Все это понимается не сразу. Разговор наш закончился радостным шепотом, счастливым сиянием в глазах:

— Он стал неузнаваем! Совсем другой человек... Господи, как я рада, что нам дали корпус! — И вдруг опять озабоченно: — А как твой Шура относится к Сергею Кирилловичу?

Я говорю: он его уважает.

Но то, что начиналось так хорошо... Первые несколько дней... О да, хорошо, бойко, ходко, напористо! Мобилизация, обучение, стрельбы, митинги, речи, сочинение ночами и печатание Асей под диктовку на «ундервуде» горластых, зажигательных листовок, которые он подписывает «Гражданин станицы Михайлинской, казак Области войска Донского С. К. Мигулин». Вот лист с нашлепанными на одной стороне фиолетовыми квадратиками для обертки конфет Бутурлиновской конфетной фабрики, на другой стороне с воззванием: «К беженцам Донской области». Его стиль: «Граждане казаки и крестьяне! В прошлом году многих из вас красновская контрреволюционная волна заставила оставить родные степи и хаты. Много пришлось пережить и выстрадать... Если одолеет генерал Деникин, спасения никому нет. Сколько ни катись, сколько ни уходи, а где-нибудь да ждет тебя стена, где прикончат тебя кадетские банды... Но если одолеем мы... Итак, граждане изгнанники, все ко мне!.. Бойтесь, если мертвые услышат и встанут, а вы будете спать! Бойтесь, если цепи рабства уже над вашими головами!» И концовка сочинения, конечно же, замечательная: «Да здравствует социальная революция! Да здравствует чистая правда!»

Ася рассказывает секретно — и просит, чтоб я не передавал, Мигулин не хочет, чтоб знали — о том, что деникинцы покарали его семью, захватив Михайлинскую.

Истязали мать, расстреляли отца и брата. Жена Мигулина, с которой он расстался перед войной, бежала с дочерьми, спаслась. А его старший сын погиб на германском фронте. Спалили хату, двор — беженцы рассказали — и на пепелище поставили столб с надписью: «Отсюда выродился змей, иуда донской Мигулин». Гордость не позволяет, чтоб сочувствовали и жалели. Но ведь эта расправа — залог того, что не предаст, не перекинется!

— Почему просит никому не рассказывать?

— Павлик, он странный... Он такой чудной, бесхитростный...

Помню это слово, меня изумившее: бесхитростный. Наверное, вот что: не умеющий, не желающий извлекать для себя пользу ни из чего. Он и ей не рассказывал долго. А потом, рассказав, предупредил: «Все сгорело вот тут, и никто не касайся». И правда странный. Как-то стоим с Асей возле штабного вагона, разговариваем. Ася жмется к вагону, боится отойти на тридцать шагов, ей не велено удаляться, потому что (потому ли?) может каждую минуту понадобиться, отстукать какой-нибудь приказ или воззвание. Я, споря с нею, говорю:

— Ася, пойми...— и тут показывается Мигулин, смотрит диким, исподлобным взглядом.

— Вам, молодой человек, надлежит называть мою жену Анной Константиновной.— И грубым криком: — Шоб никаких Ась, понятно?

Это происходит, однако, в пору, когда он накален, взбудоражен и спокойным тоном разговаривать не может. Южфронт не дает помощи. Опять то же самое: мигулинский корпус — будто бы не родной! Опять пасынок среди любимых детей. Впрочем, одно название — корпус... В конце июня Мигулин и Шура шлют телеграмму в штаб Южфронта: «Приняв командование Особым корпусом и ознакомившись с обстановкой, боевым составом и состоянием частей, доношу, что бои идут в чрезвычайно тяжелых условиях ввиду громадного фронта и слабого состава частей (в некоторых полках не более 80 штыков)... Многие части из-за недостаточной обученности и сколоченности отличаются неустойчивостью (Первый коммунистический полк в ночь с девятнадцатого на двадцатое разбежался), казачьи сотни, пройдя свою станицу, переходят на сторону противника (Федосеевская и Устьбузулукская сотни)... При таком положении, когда части измучены долгим периодом боев, понесли тяжелые потери

и лишились в упорных жестоких боях большого числа командного состава и комиссаров, нравственная упругость их весьма невелика и ими можно пользоваться, лишь как легкой завесой, за которой необходимо приступить к срочному формированию и обучению новых частей. Выполнение же каких-либо активных заданий с этими войсками без соответствующей передышки невозможно. По последнему донесению начдива 2, в бригадах осталось не более 150 штыков в каждой. Начособкор Миронов. Член РВС Данилов».

В этой телеграмме заметны следы Шуриного сочинения. «Нравственная упругость» — от Шуры. Зато вот листы, переписанные с документа в тяжелое время, шесть лет назад — Галя умирала, и сам чуть не умер от пытки горем, только в архиве и спасался,— громаднейшая телеграмма Мигулина в Москву и в РВС фронта. Как радовался — сквозь муку — тому, что нашел! Один старичок подсказал, сообщил шифры, фонд, опись. Хороший старичок, независтливый, хотя в том же времени ковырялся. Теперь уж и старичка нет, и Гали...

«24 июня 19 ч. ст. Анна.

Назначая меня комкор Особого, РВС Южфронта заявил, что этот бывший экскор силен, что в нем до пятнадцати тысяч штыков, в числе коих до пяти тысяч курсантов, и что это одна из боевых единиц фронта. Если такие же сведения даны вам, то я считаю революционным долгом донести о полном противоречии этих сведений с истинным положением вещей. Я нахожу это недопустимым, ибо, считая информационные данные как нечто положительное, мы закрываем благодаря им глаза на действительную опасность и, убаюканные, не принимаем своевременно мер, а если принимаем, то слишком поздно. Я стоял и стою не за келейное строительство социальной жизни, не по узкопартийной программе, а за строительство гласное, за строительство, в котором народ принимал бы живое участие. Я тут буржуазии и кулацких элементов не имею в виду. Только такое строительство вызовет симпатии крестьянской толщи и части истинной интеллигенции. Докладываю, что особкор имеет около трех тысяч штыков на протяжении 145 верст по фронту. Части измотаны и изнурены. Кроме трех курсов, остальные курсанты оказались ниже критики, и их осталось от громких тысяч жалкие сотни и десятки. Коммунистический полк разбежался; в нем были люди, не умевшие

зарядить винтовку. Особкор может играть роль завесы. Положение особкора спасается сейчас только тем, что вывезены мобилизованные казаки из Хоперского округа. Расчет генерала Деникина на этот округ полностью не оправдался. Как только белогвардейщина исправит этот пробел, особкор, как завеса, будет прорван. Не только на Дону деятельность некоторых ревкомов, особотделов, трибуналов и некоторых комиссаров вызвала поголовное восстание, но это восстание грозит разлиться широкою волною в крестьянских селах по лицу всей республики. Если сказать, что на народных митингах в селах Новая Чигла, Верхо-Тишанка и других открыто раздавались голоса «давай царя», то будет понятным настроение толщи крестьянской, дающей такой большой процент дезертиров, образующих отряды зеленых. Восстание в Иловатке на реке Терсе и пока глухое, но сильное брожение в большинстве уездов Саратовской губернии грозит полным крахом делу социальной революции. Я человек беспартийный, но слишком много отдал сил и здоровья в борьбе за социальную революцию, чтобы равнодушно смотреть, как генерал Деникин будет топтать красное знамя труда. Устремляя мысленный взор вперед и видя гибель социальной революции, ибо ничто не настраивает на оптимизм, а пессимист я редко ошибающийся, считаю необходимым рекомендовать такие меры в экстренном порядке: первое — усилить особкор свежей дивизией, второе — перебросить в его состав 23-ю дивизию как основу... или же назначить меня командармом девять... созыва народного представительства... передал в РВС фронта много заявлений станичников... а когда крестьянин пожаловался, его убили. Сами увидите, кто истинный коммунист, кто шкурник...» Что-то путаное, злое, отчаянное, трудно разобрать в три часа ночи, голова устала, но, когда приехал с этим текстом домой — страшно обрадованный! — и тут же, сев возле Галиной кровати, стал читать вслух, Галя вдруг перебила, спросив: «Паша, это кому-нибудь интересно сейчас?» Удивительно непохоже на Галю. Ей всегда интересно. И если теперь неинтересно, значит кончается ее жизнь.

Я объясняю: то, истинное, что создавалось в те дни, во что мы так яростно верили, неминуемо дотянулось до дня сегодняшнего, отразилось, преломилось, стало светом и воздухом, чего люди не замечают, о чем не догадываются. Дети не понимают. Но мы-то знаем. Ведь так? Мы-

то видим это отражение, это преломление ясно. Поэтому так важно теперь, через полвека, понять причину гибели Мигулина. Люди погибают не от пули, болезни или несчастного случая, а потому, что сталкиваются величайшие силы и летит искрами смерть. Она смотрит долгим взглядом, небывало долгим, темным, глубинным — это прощание, навсегда запомнил лицо, щекой на подушке, упавшее, бескровное, в изморози близкой разлуки, и только взгляд бесконечно страстный, пронзительный,— и спрашивает: «А почему погибаю я?» Тихий шепот и намек на улыбку означают, что можно не отвечать. Это вопрос просто так. Себе или никому. Говорю сердито: «Ты не погибаешь! Не мели, пожалуйста, ерунды!» Привычные слова лжи, а сам думаю: они потом никогда не поймут, как мы все это смогли вынести... какие силы нас разрывали... Мигулин погиб оттого, что в роковую пору сшиблись в небесах и дали разряд колоссальной мощи два потока тепла и прохлады, два облака величиной с континент — веры и неверия,— и умчало его, унесло ураганным ветром, в котором перемешались холод и тепло, вера и неверие, от смещения всегда бывает гроза и ливень проливается на землю. Таким же ливнем кончится этот нещадный зной. И я наслажусь прохладой, если доживу. Мы с Галей стоим в беседке, куда прибежали, спасаясь от дождя — тяжелый ливень лупит в крытую толем крышу. Белыми водяными шарами колышется туман в саду. «Обязательно поговорить! В саду в два часа».

Ливень, беседка, мокрое платье, испуганное Галино лицо — из какого-то гимназического далека. Тут назначались свидания. Ножичком вырезаны имена...

— Что случилось?

— Павлик, я опять боюсь за него! Он страшно ругался с Логачевым, с Хариным... Грозил кого-то убить...

Бог ты мой, я холодею от ужаса. Моя Галя в страхе за кого-то — не за меня! Плачет из-за чужого. Немеющими губами спрашиваю.

— Ты так его любишь? — Это странно: будто бы знаю, кого его, и в то же время не могу понять. Безумно напрягаюсь, стараясь догадаться, кто этот человек, который так хорошо знаком.

— Разве не видишь? Без него жить не могу.

Вдруг: не Галя, а Ася. Это Ася в беседке! В саду дома уездного воинского начальника. Она меня вызвала

запиской. Это уж после возвращения Мигулина из второй, июльской поездки в Москву, после разговора в ЦК, в Казачьем отделе, вернулся ободренный и полный сил — Особый корпус, созданный против повстанцев, теперь утратил значение, фронт перекатился на север, Деникин захватил Донщину, Царицын, Харьков. Теперь воевать не с повстанцами, а с Деникиным! Мигулин формирует новый корпус — Донской казачий. Мы стоим в Саранске. Формирование идет потрясающе медленно. А Шура получил новое назначение: в Реввоенсовет Девятой армии. Вот отчего Ася в испуге.

— Ведь он единственный человек, с кем Сергей Кириллович может разговаривать! Хотя и с ним спорит... Но остальных на дух не принимает. Остальные — враги.

— Так уж и враги?

— Враги! — В глазах Аси непреклонность и гнев, мигулинский гнев. Шепчет: — Нарочно шлют нам... из северных округов... про них известно, они там безобразничали... Он их видеть не может! Ненавидит хуже Деникина!

— Куда шлют?

— Да все наши политкомы оттуда... Хоперские...

Сборы накануне отъезда. Разговор с Шурой в хозяйской комнате, где запах чабреца, сундуки, иконы. Хозяин сочувственно расспрашивает: куда отступили? Где фронт? Почему мировой пролетариат дремлет, не чухается? Будто бы озадачен, но по роже — бритой, ухмыляющейся — видно, что рад. Вдруг сообщает шепотом:

— Я вам, граждане коммунисты, скажу откровенно, отчего у вас война неудалая: генералов у вас нет. Книжники да конторщики по штабам, а в главном штабе — Левка очкастый. Разве он против генерала сообразит?

Шуре неохота покидать несчастный мигулинский корпус, но и оставаться дольше мочи нет. Верно, верно шипит кулачина: генералов нет. А если есть кто, мы их, как грузди, маринуем. Глупость невероятная. Любимое Шурино: глупость невероятная. Потому что все усилия Шуры сдвинуть дело, все его телеграммы, вся брань с деятелями Южфронта — устно и по прямому проводу — не дают результата. Как сказано: и хочется, и колется. В июне хочется, в июле колется, потом то так, то этак. Оттого Шура зол, что никому втолковать не может: «Поверьте до конца!» И на Мигулина сердит потому, что тот бешенствует и себе вредит: прогнал, едва не кулаками,

чрезвычайного представителя Южфронта, который приехал проверять работу политотдела.

Входят Логачев и Харин, политкомы, совсем молодые, Логачеву года двадцать три, Харин чуть старше. Логачев — из Новочеркасска, студент, Харин — ростовский, рабочий, котельщик. Оба проводили реквизиции в северных округах в феврале и марте, прославились как твердые, неустрашимые исполнители — их называют «хоперские коммунисты»,— и у Мигулина, конечно, с ними вражда.

— Значит, бросаете нас, Александр Пименович? — Бледно улыбается маленький востроносый Логачев. Смотрит, как всегда, высокомерно, откинув голову.— А не похож ли ваш отъезд на бегство известных тварей с корабля?

— Я человек служивый. Приказ...— мрачно, без обиды объясняет Шура.

— А по сути? По внутреннему чувству как?

Они молодые. То их захлестывает задор, то охватывает страх. Мигулин в приступах ярости грозит их застрелить. А они угрожают арестом, расстрелом ему. Как же работать вместе? Никакая работа не движется. Корпус гниет в бездействии. А Деникин тем временем готовится рвать фронт, и через несколько дней в стык между армиями вонзится конница Мамонтова.

— По внутреннему чувству я вас, ребята, жалею. Не хочу оставлять на съедение комкору. Он вас доест...

— А может, мы его? Вражину? — прищуривается тяжелорукий котельщик.

— Он не вражина. Он революционер, но крестьянский, то есть мелкобуржуазный. И для нас человек ценный, потому что враг наших врагов. Ясно? Пока вы эту истину не усвоите, будет вам худо и опасно...

Шура все так хорошо понимает, но сил и терпения работать с замечательным революционером нет. Троцкий написал на одной из первых мигулинских телеграмм: «Донская учредиловщина и левая эсеровщина». Так и осталось, вроде несмываемой красно-сургучной печати. Наум Орлик! Тоже любил определять состав и навешивать сигнатурки. Аптекарский подход к человечеству — точнее сказать, к человеку — длился десятилетиями, нет ничего удобней готовых формул, но теперь все смешалось. Склянки побились, растворы и кислоты слились. Теперь я многого не понимаю. Временами ни черта. Особо та-

инственными кажутся мне люди молодые и толпа среднего возраста. Кое-что угадываю в стариках. Старики ближе. На стариков я мог бы не хуже Орлика понавешивать сигнатурки, а вот молодые ставят в тупик. Такая каша, такая муть! Тут бы и Наум запутался, тут бы и он запросил пардона. «О, много, много мы во всем этом виноваты! Дон был заброшен, предоставлен самому себе, чтобы потом захлебнуться в собственной крови...» Что я читаю? Бог ты мой, это же письмо в ЦИК. То, что Мигулин говорил Владимиру Ильичу во время их встречи в июле. «Окраины Дона в марте-апреле подвергались разгулу провокаторов, влившихся в огромном числе в тогдашние красногвардейские ряды. Эта тяжелая драма фронтового казачества будет когда-нибудь освещена беспристрастной историей. Среди сотен расстрелянных, сосланных казаков были невинные. Революция сделала такие углубления, что бедный ум станичника бессилен разобраться в совершающихся событиях... Ему непонятна вызываемая голодом страны, происходящая теперь на Дону реквизиция скота и хлеба... Я глубоко убежден в том, что казачество не так контрреволюционно, как на него смотрят... Кто бы что бы про меня ни лгал, что бы ни клеветал, я торжественно заявляю перед лицом пролетариата, что делу его не изменял и не изменю. Прошу одного — понять меня как беспартийного, но стоящего на страже революции с 1906 года...» Дальше хорошо помню. Владимир Ильич будто бы сказал — со слов кого-то из членов Казачьего отдела,— что «такие люди нам нужны. Необходимо умело их использовать». И Калинин, с тех же слов, отнесся сочувственно, лишь выразил опасение, как бы Мигулин от критики отдельных недостойных коммунистов не пошел бы против партии.

Бог ты мой, как все это немыслимо объяснить одним словом! Но каждый раз пытаются. Пытались при жизни Мигулина, выкрикивая такие слова, как «изменник» и «предатель», пытаются и теперь, крича «ленинец» и «революционер». Объяснилось бы просто и одним словом — не сидел бы среди ночи, вороша бумажки... Хотя спасибо бумажкам, еще ночь обломал... Третий час. Нету сна и в помине. И голова будто ясная. Опять все хорошо соображаю и обо всем думаю. Вот читаю про Мигулина, мучаюсь догадками, а позади всего мысль: как там Руська в горящих лесах? Не заболел ли? Парень безалаберный,

глупый — в своей жизни, для себя глупый,— непременно что-нибудь натворит...

Еще письмо, позднее, длинное, кипящее, ошеломляющее: «...На безумие, которое только теперь открылось перед моими глазами, я не пойду и всеми силами, что еще есть во мне, буду бороться против линии расказачивания. Я сторонник того, чтобы, не трогая крестьянство с его бытовым и религиозным укладом, не нарушая его привычек, увести его к лучшей и светлой жизни личным примером, показом, а не громкими, трескучими фразами доморощенных коммунистов, у которых на губах еще не обсохло молоко и большинство которых не может отличить пшеницы от ячменя, хотя и с большим апломбом во время митингов поучает крестьянина ведению сельского хозяйства... (Не меня ли имеет в виду? Каждый раз, читая это место, думаю — меня. Тоже молол на митингах что-то насчет того, что разобьем Деникина, успеем к уборке...) Я хочу остаться искренним работником народа, искренним защитником его чаяний на землю и волю и, прибегая к последнему средству, снимаю с себя всякую клевету лжекоммунистов... Тот же обнаруженный дьявольский план расказачивания заставляет меня повторить заявления на митингах, которые я делал. 1. Я — беспартийный. 2. Буду до конца идти с партией большевиков, как шел до сих пор. 3. Всякое вмешательство лжекоммунистов в боевую и воспитательную сферу командного состава считаю недопустимым. 4. Требую именем революции и от имени измученного казачества прекратить... И все негодяи, что искусственно создавали возбуждение в населении с целью придирки для истребления, должны быть немедленно арестованы, преданы суду... Я борюсь с тем злом, какое чинят отдельные агенты власти, т. е. за то, что говорилось недавно представителем ВЦИК буквально так: «Комиссаров, вносящих разруху и развал в деревню, мы будем самым решительным образом убирать, а крестьянам предложим избрать тех, кого они найдут нужным и полезным...» Я знаю, что зло, которое я раскрываю, является для партии неприемлемым полностью... Но почему же люди, которые стараются указать на зло и открыто борются с ним, преследуются вплоть до расстрела. Возможно, после этого письма и меня ждет такая же участь...»

Те, кому было адресовано, вовремя не прочли. Все могло быть иначе. Но другие люди прочли. Главным

злом оказалась искренность. Еще бы, сам на себя наклепал! Тут комкор начинает метаться. Людей ему не дают. Просит направлять в корпус пойманных дезертиров — отказывают. Предлагает провести мобилизацию крестьян — нет. В начале августа подал заявление в партию — политотдел во главе с Логачевым, Хариным своего комкора в партию не принял. Вот где беда: не было рядом истинных комиссаров! Таких, как Фурманов рядом с Чапаевым. Таких, о ком на Восьмом съезде сказано: «...рука об руку с лучшими элементами командного состава в короткий срок создали боеспособную армию». Ленин не знал всех подробностей, но понимал суть беды. Письмо Гусеву! В сентябре девятнадцатого! «Надо лучших, *энергичнейших* комиссаров послать на юг, а не сонных тетерь...» В пятьдесят первом томе... Должна быть закладка... Вот. Вот! Письмо члену РВС Гусеву... Сергею Ивановичу... «...на деле у нас застой — почти развал... С Мамонтовым застой. Видимо, опоздание за опозданием. Опоздали войска, шедшие с севера на Воронеж. Опоздали с перекидкой 21-й дивизии на юг. Опоздали с автопулеметами. Опоздали со связью... С формированием тоже опаздываем. Пропускаем осень — а Деникин утроит силы, получит и танки и пр. и пр. Так нельзя. Надо *сонный* темп работы переделать в *живой*».

Ведь об этом Мигулин кричал летом! Ведь это его корпус формировался ужасающе — сонным темпом!

Ни Шуры, ни меня в эту пору в Саранске уже нет. Мы в Козлове. Все узнаем позже по пристрастным, недостоверным рассказам.

Вот из доклада Казымбетова, гонца из Москвы, из Казачьего отдела. Казымбетов пробыл в корпусе несколько дней: «Как личность тов. Мигулин в настоящее время пользуется огромной популярностью на Южном фронте, как красном, так и белом... Его имя окружено ореолом честности и глубокой преданности делу Социальной революции и интересам трудящегося народа... Мигулин является единственным лицом, на которое смотрит с доверием и надеждой, как на избавителя от генеральско-помещичьего гнета и контрреволюции, казачество. Его нужно умело использовать для революции, несмотря на его открытые и подчас резкие выражения по адресу «лжекоммунистов»...» Дальше, дальше!.. «Итак, первопричина недоверия — это вообще его популярность...» Дальше. О настроениях в корпусе... Вот! «Корпус не

сформирован и еле формируется. Красноармейцы вооружены против политработников, политработники вооружены против тов. Мигулина. Мигулин негодует на то, что ему, истинному борцу за Социальную революцию, потерявшему здоровье на фронте, не только не доверяют, но даже стараются вырывать ему могилу, посылая на него неосновательные, по его мнению, доносы, вследствие чего Мигулин производит впечатление затравленного и отчаявшегося человека. В последнее время тов. Мигулин, боясь ареста или покушения, держит около себя непосредственную охрану. Политработники боятся Мигулина. Красноармейцы в возбужденном состоянии и каждую минуту готовы к вооруженной защите Мигулина от «покушения» на него. Мигулин, по моему мнению, не похож на Григорьева и далек от авантюры, но «григорьевщина» подготавливается искусственно. Мигулин может быть вынужден на отчаянный жест...»

Темная ростовская глухомань, домишки, заборы, морозная ночь, мелькание свечей за теплыми окнами, рождество празднуют, никто о нас не догадывается. Грохаемся в какой-то проулок, вышибаем калитку. Где догадаться — мы за день рванули восемьдесят верст! Влетели со стороны Нахичевани. Как на пир Балтасара. Возле дома, из окна которого свет, голоса, стоит офицер в башлыке, в длинной шинели, обнимает женщину, запрокинул страстно, изгибает, клонит, сейчас уронит в снег, а она в платье, простоволосая. Дверь в дом распахнута, видно, только что выскочили оттуда, из тепла, на мороз. А я смотрю с крыльца и вижу: это Мигулин и Ася. «Не сметь!» — кричу. Он дернулся к кобуре, отпрянул от Аси, и я шашкою сверху, как с коня, коротким страшным ударом; хрипнуло что-то, как арбуз под ножом. Только и успел: «А...» Павел Евграфович просыпается от кошмарного видения и долго не может успокоить сердце. Руки дрожат, все внутри колотится, во рту сухо. Бог ты мой, угораздило такой ужас и нелепость — главное, нелепость! — во сне увидеть. Что за черт? Откуда сие? Это вот что врубилось: освобождение Ростова, как упали на них громом среди ясного неба. Под рождество, накануне двадцатого года. И был какой-то дом, двор, музыка из окна, стрельба вдоль улицы, и офицер с девушкой целуются. Боец его тут же, в момент порешил. Тот вздумал

шум поднять. А молчал бы — был бы жив. Вбежали в дом, там все наготове: стол накрыт, вина, закуски, женщины кричат, граммофон играет...

...Наконец в середине августа пришел от Аси ответ в толстом конверте, где оказалась вложенной согнутая пополам ученическая тетрадка, мелко исписанная. Павел Евграфович прочитал: «Дорогой Павел! Я была бесконечно рада получить от тебя письмо, из которого узнала, что ты жив и здоров, живешь с детьми и внуками, что твоя жизнь сложилась, в общем, благоприятно, если не считать потери близкого человека, но в нашем возрасте редко кто таких потерь избежал, а я это горе испытала трижды. Так что понимаю тебя и очень сочувствую, дорогой Павел. Задержалась с ответом потому, что хотела получше вспомнить и записать как можно подробней, как ты просил. Вот что сохранила память.

Ты спрашиваешь: что происходило после вашего, твоего дяди и твоего, отъезда из корпуса? Разумеется, ты досконально знать не мог. А слухи ходили самые разные и ужасные. Мне кажется, их нарочно распространяли враги Сергея Кирилловича. Конечно, он мог в запальчивости назвать какого-нибудь струсившего работника нехорошим словом, за что мне всегда бывало стыдно, и я его ругала. Но ведь он был бешеный! Он и коммунистов мог ругать сгоряча, хотя врагов коммунизма ненавидел люто и воевал против них всю жизнь. Мне кажется, роковой удар нанесли в августе, когда он подал в партию, а его не приняли. Его собственный политотдел отказал. Не помню сейчас фамилий этих людей, кроме одной — Логачев. Сергей Кириллович повторял ее часто, всегда с неприязнью и презрительно, иногда с угрозой: «Этот сопляк у меня дочикается!» Был еще какой-то, большого роста, черный, лохматый, еще другой, пожилой, сухощавый, по-моему, латыш, по-русски говорил плохо. Но особенно ненавидел Сергей Кириллович нескольких своих земляков, из Усть-Медведицкого округа, которые раньше были в ревкомах и вели неправильную линию, с чем Сергей Кириллович не соглашался, с ними спорил. Он всегда спорил из-за казачества... Вокруг казачества было много тогда разговоров, одни за, другие против, сейчас не очень-то помню суть разногласий, помню лишь, что С. К. нервничал, называл кого-то балбесами и негодяями,

говорил, что негодяи погубят революцию. Он считал, что нарочно присылают людей, которые ему неприятны и враждебны, у них задание: за ним следить и его контролировать. Называл их — между своими, конечно — попками, надзирателями, то есть грубо. Вообще атмосфера в корпусе была неспокойная. В особенности когда уехал Данилов, твой дядя. Теперь вспомнила его фамилию: Данилов. Между ними была ссора. Не помню, из-за чего. Кажется, из-за какой-то комиссии, которую прислали из штаба фронта. Сергей Кириллович говорил: «Проверяльщиков шлют, а пополнений прислать не могут, сколько ни прошу».

Он был очень огорчен несправедливым отношением. Конечно, я не историк и не политический работник, не могу делать окончательных оценок, но как человек, наблюдавший его близко в те недели, хочу сказать: он был предан революции и советской власти, а его некоторые толкали стать врагом. Хотя он критиковал недостатки и поведение работников. Этого отрицать нельзя. Помню, придет в вагон вечером, ординарца Ивана отошлет куда-нибудь и ходит, как тигр, молчит, только стонет, как от боли. «Сережа,— спрашиваю,— что случилось?» — «Ах, рассказывать неохота...— Потом начнет вдруг кричать: — Деникин наступает! А меня держат в заточении. Я на фронт рвусь! Я их заставлю дать распоряжение!» Когда Данилов уехал, он пришел крайне подавленный и сказал: «Если у каторжного терпячка лопнула, то мне что же остается — пулю в лоб?»

Был убит вашим отъездом. Ну, что дальше? Бесконечные совещания со штабными, с командирами происходили всю ночь. Обстановка накаленная. Одни совещаются, других не пускают. Помню, Сергей Кириллович напряженно работал, писал какую-то программу, я ее печатала, но сейчас совсем не помню, что это было. Потом, на суде, она, кажется, фигурировала в качестве улики против него, будто бы он заранее замышлял предательство, но это неправда. Он писал что-то отвлеченное, свои рассуждения на историческую тему. Он очень любил заниматься философией, рассуждать, спорить, хотя не имел настоящего образования, но иных умных людей ставил в тупик. Какие-то телеграммы шли в Южфронт, в Реввоенсовет Республики, оттуда ответы, и все неблагоприятные, и, наконец, я чувствую, он приходит к решению. Ведь Деникин наступал очень успешно. Вести шли тревожные.

Он не мог выдержать. Человек с другим характером, более рассудительный, мог бы себя преодолеть, а Сергей Кириллович взорвался. Я его не защищаю, Павел, я просто плачу, плачу, вспоминая, как он прибегал ко мне и проклинал кого-то и спрашивал: «Ну что мне делать? Скажи, посоветуй!» Понимал, конечно, что ничего посоветовать не могу, просто было отчаяние. Что делать? Я сама как в бреду. Только любила его тогда и жалела безумно.

Вдруг он мне говорит: «Ты должна уехать немедленно!» Почему? Так надо. Ничего не объясняет. Я догадалась. «Ты выступаешь на фронт? Тогда я с тобой!» Мы проспорили всю ночь. Брать с собой ни за что не хотел, но и ехать было некуда. Мама и папа, сестра Варя находились на юге, в Ростове или Екатеринодаре, я точно не знала, во всяком случае, за чертой фронта. Была у нас еще одна родственница, тетя Агния, сестра папы, которая жила в Смоленске, но ехать к ней я наотрез отказалась. Она была чужой человек, замужем за поляком, сама приняла католичество, дело не в этом, я не могла покинуть Сергея Кирилловича. Тогда он стал уговаривать поехать к его сестре, в Воронежскую губернию, однако было неизвестно, кто сейчас в тех местах: наши или белые. Итак, ехать, к счастью, было некуда, и я с ним осталась. Все стало разворачиваться стремительно. Помню, он написал воззвание. Его помощник Коровин говорил, что чересчур резко, просил смягчить. Опять они спорили и ругались долго, работники политотдела требовали, чтобы Сергей Кириллович убрал каких-то своих командиров и предал их суду, он не соглашался. Помню еще, его друг Миша Богданов застрелился. Этот факт подействовал очень тяжело. Сергей Кириллович как-то вдруг пал духом и будто отказался от мысли выступить самовольно. Но тут получился разговор по прямому проводу с одним из вождей Южного фронта, может быть, с Янсоном... Я точно не помню. Разговор помню очень хорошо, потому что происходил при мне и Сергей Кириллович потом подробно пересказывал. Этот разговор и повлиял: полетел, как первый камень с горы, а за ним обрушилась целая лавина.

Конечно, то, что Сергей Кириллович надумал, может быть, безрассудно, а может быть, нет, я своего мужа судить не берусь, знаю только, что он был честный человек, говорил, что нет выхода. Все это, хотя обсуждалось

за закрытыми дверьми и в кругу самых близких и доверенных, стало, конечно, известно в штабе фронта. Потому что нашлись люди, которые донесли. Сергей Кириллович был лишен нужной хитрости, он многим напрасно доверял. Например, командира полка Юрганова считал верным другом, а тот вел себя хуже всех и даже оправдывался на суде, почему он Сергея Кирилловича не застрелил, такой мерзавец. Даже врал, будто где-то стрелял в него, но не попал, отмаливал себе прощение, все равно не помогло. Но я отвлеклась.

Янсон спросил: верно ли, что собираетесь выступить на фронт без ведома командования? Сергей Кириллович твердым голосом объяснил положение. Помню такие фразы: «Вокруг меня атмосфера, в которой я задыхаюсь... Я согласен влиться с сотней преданных мне людей в родную дивизию». Он имел в виду 23-ю дивизию, от командования которой был отстранен в марте. Там начдивом стал его друг Маликов. Вообще говорил сначала спокойно и рассудительно, даже на него непохоже. Янсон сказал, что приказывает от имени Реввоенсовета не отправлять ни одной части без разрешения.

Сергей Кириллович сказал: «Тогда уезжаю один. Жить здесь дольше не могу, меня жестоко оскорбляют!» Янсон потребовал, чтобы Сергей Кириллович приехал в Пензу. Штаб фронта был тогда в Пензе. Между прочим, помню, сказал: «Приезжайте, сообща обдумаем. Тут сейчас командующий фронтом и товарищ Данилов». Но Сергей Кириллович прямо ответил, что боится за свою безопасность и без конвоя не поедет. Янсон убеждал, что бояться нечего, потом согласился на конвой. Сергей Кириллович потребовал 150 человек. Хорошо, берите 150 человек и приезжайте немедленно. Помню и последние слова Сергея Кирилловича, когда спокойствие изменило ему, он стоял бледный, пот стекал по лицу, был к тому же очень жаркий день, и кричал в трубку, а я стояла перед ним, он все время смотрел на меня, но меня не видел, кричал: «Прошу поставить в известность 23-ю дивизию о том, что вызываюсь в Пензу, чтоб она знала, если что случится! Я вам, товарищ Янсон, как человеку, которому верю, поручаю себя!»

Мне это показалось наивным. Но вообще я была в ужасе. Я чувствовала, что надвигается страшное. Он положил трубку аппарата и сказал: «Все!» Потом спросил, как он, по моему мнению, разговаривал. Я сказала, что

очень хорошо и твердо. Он был доволен. Именно это хотел знать: достойно ли? Потом начались его муки, колебания, которые длились целые сутки. То решал выступать, то отменял решение. Кстати, на него подействовало вот что: Янсон сказал, что в Пензе Данилов. Хотя он с твоим дядей тоже ругался (а с кем не ругался?), но он его уважал, у меня это ощущение сохранилось, поэтому скрытно переживал, когда его перевели от нас. Он чувствовал, что без него станет хуже, так и вышло. Говорил, что был бы «рябой» в политотделе, его бы в партию приняли, а молодые злыдни вознамерились погубить. Звал он дядю почему-то «рябой». Совсем не помню лица, помню только: что-то коренастое, прочное, голова бритая. И вот рассуждал со мной: «Если Данилов в Пензе, почему не подошел к телефону и не сказал несколько слов?» Ему это показалось не случайным. Он подумал, что Данилов не берет на себя ответственность звать его в Пензу, потому что не уверен за других. Не знаю, что было на самом деле и почему Данилов не захотел с ним говорить. Ведь Янсон звонил дважды, на следующий день тоже, когда Сергей Кириллович уже издал приказ о выступлении. Оба разговаривали теперь грубо и зло, и Янсон грозил объявить Сергея Кирилловича вне закона, а тот его сильно изругал. Но накануне, после первого разговора по прямому проводу, было так: кто-то подбросил в вагон записку в конверте, я нашла на полу и прочитала. Всего одна строчка крупными печатными буквами: «В Пензу не езжайте. Арестуют и убьют». Тут я стала лихорадочно соображать: что мне делать? Сказать ли ему? Почему-то сразу подумала на одного человека из штаба, который мне не нравился. Он постоянно настраивал Сергея Кирилловича против политотдельских и за то, чтобы выступить, и вообще вел неприятные разговоры. А меня однажды схватил в потемках, будто бы обознавшись, спутав с одной женщиной, хотя прекрасно видел, что это я, и, когда я вырвалась и сказала: «А вы не боитесь комкора? Ведь если узнает, он вас на месте зарубит»,— он усмехнулся нехорошо и говорит: «Еще неизвестно, кто кого раньше зарубит!» Мне это очень не понравилось. Я подумала, что этот человек может сделать Сергею Кирилловичу зло. Павел, извини меня. Я пишу чересчур подробно и не могу остановиться, все подряд вспоминается, все новое и новое, одно цепляется за другое, ты пойми, я издавна старалась об этом забыть, еще с тех

пор, когда Сергей Кириллович был объявлен врагом, никому ничего не рассказывала и тем более не писала. И сама поражена, сколько всего осталось в памяти. Ведь прошло больше пятидесяти лет. Нет, наша память человеческая — поистине чудо природы.

Словом, я стою с запиской в руках и думаю: как поступить? Честно говоря, я не хотела его самовольного похода на фронт, и не из каких-то соображений высшего порядка, революции, дисциплины, что было мне чуждо, я не сильна в политике, а просто боялась за него: чувствовала, что рвется под пули, умереть, погибнуть, лишь бы не прозябать. Смерть его ничуть не пугала, а меня смерть — его смерть — пугала очень. Я такой человек, всегда волнуюсь за близких. Мне хотелось, чтобы поехал в Пензу, чтобы все как-то уладилось, усмирилось. Я не верила, что Мигулина могут арестовать, и уж совсем вздор — убить! Слишком знаменито было это имя. Вдруг он вошел в вагон, не вошел, а ворвался, впрыгнул прямо одним прыжком, как юноша — он был вообще очень быстр и скор, не по возрасту,— увидел записку, спросил: «Что это?» — и вырвал из моих рук. Он был очень ревнивый. Я сказала тому человеку правду: если бы Мигулин увидел, как тот пытался меня потискать, как конюх девку впотьмах, он бы его просто убил. Он прочел записку, усмехнулся, порвал. К той минуте было решено не ехать в Пензу, но записка повёрнула дело: ему вдруг стало стыдно меня. Гордость была задета. Он подумал, что я могу расценить его отказ поехать в Пензу на переговоры как то, что он испугался сказанного в записке. Он тут же приказал идти на станцию и договариваться насчет вагонов. Нужно было много вагонов, людских и конских, целый состав. Вскоре прискакал близкий ему человек, командир пулеметной команды, и сказал, что начальник станции Саранск сказал, что вагонов нет. Когда будут, неизвестно. Может дать паровоз и один вагон, больше ничего. Мигулин понял это так: они хитрят, желая, чтобы он выехал без конвоя. Тогда он разозлился и стал кричать: «С ними нельзя договариваться! Они не выполняют обещаний!» Все опять перевернулось в другую сторону.

Он приказал собрать казаков на митинг. Все въезды и выезды из города были закрыты. Каких-то работников он велел арестовать и держать их в виде заложников. На митинге прочитал воззвание, в котором, хорошо помню,

был призыв идти на фронт и бить Деникина, спасать революцию, а также бить, как он выражался, «лжекоммунистов». Это было вроде всенародного обсуждения, он советовался с бойцами, как быть. Было страшное напряжение, крики и даже стрельба в воздух. Я стояла позади трибуны и не могла успокоиться, все время дрожала, боялась, что кто-нибудь выстрелит в него из толпы. А говорить он умел с огромным вдохновением, я таких ораторов никогда не слышала. Между прочим, выступали люди, которые отговаривали красноармейцев идти за Сергеем Кирилловичем, угрожали им и ругали Сергея Кирилловича открыто, говоря, что он вне закона, и я еще удивлялась их смелости. Потому что основная масса была против них. Но Сергей Кириллович разрешал говорить всем, только сам нервничал, перебивал и кричал возражения, а того черного, лохматого вдруг прогнал с трибуны, закричав: «Я не позволю агитировать своих бойцов!» Потом этого политотдельца арестовали бойцы из комендантской сотни. Он кричал: «Можете меня расстрелять, Мигулин, но я называю вас изменником!» Сергей Кириллович сказал, что никого расстреливать не будет, потому что против смертной казни. Помню еще спор вокруг каких-то денег, взятых из казначейства. Один командир по фамилии Забей-Борода обвинял Коровина в том, что тот взял деньги. Сергей Кириллович мне потом объяснил, что деньги действительно были взяты, чтобы платить жалованье бойцам, и за лошадь платили отдельно. Сергей Кириллович был вообще к деньгам равнодушен, счету им не знал. Еще на митинге, помню, обращался к бойцам с вопросом: «Смотрите, готовы ли вы выступать?» Отвечали: «Готовы!» «Бывает,— говорит,— такая птица лебедь, вот я вроде нее, пою свою лебединую песню. Поняли вы меня?» Поняли, кричат. Готовы? Готовы!

Ну и на другой день выступили. Всего с нами ушли несколько тысяч человек, может быть, четыре или пять тысяч, но через несколько дней, когда стал известен приказ Янсона, где Сергей Кириллович объявлен мятежником и приказывалось доставить его в штаб живым или мертвым, многие испугались и наш отряд поредел вдвое. Были небольшие сражения, перестрелки. Настроение все время падало. Какая-то тревога, обреченность чувствовались у всех. Сергей Кириллович мечтал скорее выйти к линии фронта и вступить в сражение с Деникиным, разгромить мамонтовцев, но все это были, конечно, мечты.

Опять пытался со мной расстаться, посадил в бричку, выделил трех бойцов и велел двигаться на север, но я сказала, что себя застрелю, если он меня прогонит. У меня был револьвер. Опять не удалось ему от меня отделаться, чему, надо сказать, он был рад. Не помню всех подробностей похода, который длился недели три, шли лесами, глухими дорогами, ночевали в лесу, отряд наш таял. Когда комбриг Скворцов остановил нас и велел сложить оружие, оставалось человек пятьсот, не больше. Мы могли бы сражаться, могли погибнуть, Скворцов был настроен очень решительно, но Сергей Кириллович отдал приказ — сопротивления не оказывать, оружие сдать. Этот ужасный день запомнила до последней кровинки. Был ужасен не тем, что мы оказались в плену у своих, не будучи врагами, я этого как следует не понимала, я лишь чувствовала сердцем, что ему ужасно — сокрушена надежда, ничего не смог доказать. Смерти он никогда не боялся. Он был подавлен тем, что ничего не смог доказать. И очень злобно, унижающе вел себя один командир полка, Маслюк. Он подъехал на лошади, ухмыляясь необычайно надменно, спесиво, как плохой актер, и спросил: «Где работники политотдела? Живы?» Сергей Кириллович сказал: да, живы. Махнул рукою назад. Везли двух политотдельцев как заложников. Сергей Кириллович сидел в бричке. Маслюк побагровел и рявкнул: «Встать, когда со мной разговариваешь, гад!» И замахнулся ударить. Сергей Кириллович дернулся, я испугалась, но Сергей Кириллович сдержал себя и сказал спокойно: «Ты, Ванька, не свисти. А играй «барыню»... Почему он сказал «играй «барыню», я даже не знаю. Но я очень хорошо это запомнила.

И такое у него было презрение, у Сергея Кирилловича! Не знаю, что потом с этим Маслюком стало. Кажется, тоже погиб. Не забуду его надутое лицо, как он смотрел на Сергея Кирилловича сверху вниз и с наслаждением произнес: гад! Он требовал расстрелять Сергея Кирилловича и нескольких командиров, право расстрела на месте у них было, и он хотел им воспользоваться, наседал на комбрига Скворцова. Сергей Кириллович вел себя спокойно. Я не могла удержаться от слез, он меня успокаивал и говорил, что я должна сделать после его смерти, как распорядиться его наследством. Боже мой, наследство! У него ничего не было. Человек дожил почти до пятидесяти лет и не имел ни дома, ни денег, никаких ценно-

стей, ничего, кроме пары сапог, казачьих шароваров с лампасами, коня и оружия. Теперь не было и того, что имеет самый бедный неимущий казак: земельного пая. Зато были какие-то бумаги, записи, он ими дорожил, и просил передать кому-то в Москве, я забыла кому. По-моему, это были его мысли о казачьем самоуправлении и вообще об устройстве Донской области. Потом это все пропало. Я никогда себе не прощу. Когда ехала из Балашова в Москву, у меня украли чемодан с вещами, там были эти бумаги. Тогда никого не расстреляли, в расположении части Скворцова оказался один крупный военный чин, из самых главных, не помню, кто именно, видела его две секунды, когда он садился в автомобиль: небольшого роста, во френче, черная бородка, пенсне, вид штатский. Тогда, конечно, я знала, кто это был, а теперь забыла. Он распорядился отправить в Балашов, там судить военным судом. Это было сделано не из великодушия, а потому, что сразу решили, что громкий процесс важней, чем наспех расстрелять в лесу.

Тогда же меня от него отделили, и я увидела его лишь через три недели, после объявления приговора, когда дали свидание. Как проходил суд, тебе известно. Ты пишешь в своей заметке, что осужденные после объявления приговора всю ночь пели революционные песни. Может быть, так, я не знаю, но я кое-что слышала, потому что простояла ночь под стеною тюрьмы и до меня доносились обрывки песен, я слышала казачьи песни. «Ах ты, батюшка, славный тихий Дон...» и «Разве можно удержать сокола в неволе?». Эта последняя песня была любимой Сергея Кирилловича, он пел ее часто. Правда, особым голосом не обладал и слухом тоже.

Павел, ты спрашиваешь, отчего я в письме высказала удивление тем, что именно ты написал заметку о Сергее Кирилловиче. Это неправильно. Небольшое удивление, правда, есть, но оно не главное чувство, которое я испытала, прочитав заметку, а главное — огромная радость и огромная благодарность тебе за то, что ты вспомнил дорогое имя. А небольшое удивление лишь оттого, что ты был в составе секретариата суда в Балашове в 1919 году. Помню, ты не смог помочь мне встретиться с адвокатом в первый день заседания, сказав, что поздно. Вообще, мне кажется, Павел, ты тогда как-то верил в виновность Сергея Кирилловича. Я тебя не обвиняю, тогда большинство верило. Люди находились в угаре войны, многое

видели совсем не так, как теперь, когда можно спокойно все оценить.

Павел, я устала от этого письма и все время боюсь, что что-то сказать не успела. Какой-то страх, что самое важное, самое ценное о Сергее Кирилловиче написать забыла. Вчера вызывала врача и целый день лежала, очень разволновалась. Поэтому кончаю, а то можно вспоминать бесконечно. У меня сохранились случайно последние письма Сергея Кирилловича, некоторые его документы, но я тебе их пока не посылаю. Может быть, мы с тобой встретимся здесь, в Клюквине, или я приеду в Москву, у невестки есть машина, она иногда ездит в Москву по делам, за покупками. Но я бы хотела, дорогой Павел, увидеть тебя здесь, я стала плоха, истинная старуха. Обнимаю тебя. Ответь мне поскорее. Твоя Ася.

Между прочим, невестка, она довольно бесцеремонная, прочитала мое сочинение и сделала такой вывод: «Вы, матушка (называет меня, как ей кажется, остроумно — матушкой), неправильно построили жизнь. Вам надо было сочинять романы. Вы пишете — прямо не оторвешься. Как детектив». Вот какие комплименты на старости лет. Напиши, как ты переносишь жару. У нас тут все сгорело, картошки не будет, ягод совсем не видели».

Павел Евграфович прочитал письмо дважды, потом еще перечитал отдельные места, испытывая чувство восторга и какой-то невнятной тревоги, отчего было сердцебиение и холодели руки. Принял лекарство, немного успокоился. Восторг был оттого, что умершее трепетало и жило на страницах школьной тетрадки, а тревога — бог знает... Не оттого же, что Ася написала нелепость, будто он верил в вину Мигулина. Хотя, может, и верил, но не так, как другие. Совсем не верить было нельзя. Она не должна была так писать, упрекая его спустя полвека. Просто не помнит, как было на самом деле. Было очень грубо, однозначно: изменник, и все! Чего ж она требует? К чему эти упреки? Захотелось немедленно ответить и послать кое-какие материалы, чтобы она поняла суть: как было трудно пробивать заметку в журнале! Даже теперь. Она смотрит со своей колокольни и не видит многого, не помнит, не хочет знать. А не послать ли вот это воззвание, которое он выпустил сразу после выступления?

«Измученный русский народ, при виде твоих страданий и мучений, надругательств над тобою и твоей со-

вестью никто из честных граждан, любящих правду, больше терпеть и выносить этого насилия не должен. Возьми всю власть, всю землю, фабрики и заводы в свои руки.

А мы, подлинные защитники твоих интересов, идем биться на фронт со злым врагом твоим генералом Деникиным, глубоко веря, что ты не захочешь возврата помещика и капиталиста, сам постараешься...» Так, так... Вот дальше: «На красных знаменах Донского революционного корпуса написано: вся земля крестьянам, все фабрики и заводы рабочим, вся власть трудовому народу в лице подлинных Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Все так называемые дезертиры присоединятся ко мне и составят ту грозную силу, перед которой дрогнет Деникин и преклонятся коммунисты.

Командующий Донским революционным корпусом гражданин Мигулин».

Вот ведь какая каша варилась. Всего там было намешано. Он-то надеялся, что корпус будет расти, а корпус таял. Теперь взять его отношения с Казачьим отделом. Да, первое время отношения были неплохие. Когда ездил в Москву, он встречался с людьми из отдела, они обещали помощь, и он отзывался о них по-доброму. Потом какие-то эмиссары отдела приезжали в корпус, писали сочувственные доклады. Но почему ты не упоминаешь, Ася, что на том митинге, который ты так подробно описываешь, он называл Казачий отдел «собачьим отделом» и «червеобразным отростком слепой кишки». Это его подлинные слова!

И насчет того, кто верил, кто не верил... Да если честно, все верили! До единого. Как было не верить, когда читались такие обращения:

«Товарищи! Нами были приняты все меры к мирному улаживанию конфликта между Мигулиным и Советской Республикой. Теперь время разговоров кончено, и, чтобы вы знали, куда вас ведут и на что толкают, мы передаем решение Ревсовета Республики.

Мигулин объявляется мятежником, против него двинуты сильные отряды. С ним будет поступлено как со стоящим вне закона. Сообщите это войскам с предупреждением, что всякий, кто посмеет поднять оружие против советской власти, будет сметен с лица земли. Во избежа-

ние кровопролития предлагаю Мигулину в последний раз вернуться к исполнению воинского долга, иначе... будет считаться изменником Революции. Если подчинится добровольно, гарантирую безопасность, иначе погибель его неизбежна...»

А вот из обвинительного акта:

«В этих своих воззваниях, которые он выпускает по пути следования, есть указание, что он хочет свергнуть коммунистическую партию. В одном воззвании говорится: я поднял бунт против советской власти, которая не нравится вам, подразумеваются красноармейцы... Он зовет в свои ряды дезертиров, которые являются главнейшим злом Советской России, они подорвали наше положение на Южном фронте... В пути следования Мигулина было несколько боев с нашими красноармейскими частями, по показаниям одних — 4, по другим сведениям — 5. Стало быть, в тот момент, когда обнаружилось, что советская власть не может допустить партизанских выступлений, Мигулин силой оружия прорывается на фронт... 23 августа поздно вечером Мигулину было известно, что если он выйдет на фронт, то будет объявлен вне закона... В результате стычек среди наших войск было много убитых и раненых, были потери и со стороны Мигулина. В этих затруднительных наших оперативных действиях Мигулин отдавал приказания рвать телефонные и телеграфные провода. Имеются сведения, что Мигулин в пути арестовал коммунистов и некоторых крестьян — правда, он затем отпускал их — за то, что они отказывались давать ему подводы, и даже грозил расстрелом. По пути был ограблен один завод, у заведующего была отобрана некоторая сумма денег. (Видишь, Асенька, эти факты почему-то тебе не запомнились. Да, наша человеческая память — еще более чудо потому, что умеет поразительным образом одно отсеивать, а другое сохранять!) При приближении к фронту, когда положение Мигулина стало довольно опасным, когда он почувствовал, что его игра проиграна, он начал колебаться, но все же вместо того, чтобы сдаться мирным путем, он пытался идти дальше... Мигулин арестовал двух коммунистов, Логачева и Харина, по подозрению в покушении на его жизнь. Но в деле нет материалов, устанавливающих наличность такого покушения. Коммунистов этих Мигулин объявляет заложниками и грозит расстрелять при первом выстреле со стороны советских войск. Арестованные

коммунисты шли в течение нескольких дней с красноармейцами, и им в любой момент грозила опасность быть расстрелянными, и только паника, вызванная выстрелами с нашей стороны, дала им возможность бежать...»

А она пишет, будто арестованные находились в рядах корпуса и, когда Маслюк спросил, где они, Мигулин махнул рукою назад, как бы говоря: здесь. Бог ты мой, память — штука ненадежная. Нужны старенькие бумажки, истлевшие на сгибах документы, выцветшие чернила, бледный шрифт «ундервуда»... *Но посылать все это ей нельзя.*

Павел Евграфович сейчас же сел за ответ.

«Дорогая Ася!

Благодарю тебя за присланные содержательные воспоминания. В них я почерпнул очень много интересного, раскрывающего...» Тут он надолго задумался, какое применить выражение: «всю историю», или «весь ход», или же просто «события». Однако, призадумавшись покрепче, решил написать «некоторые подробности». Дальше написал «выступления Донского корпуса на фронт» и услышал выстрел где-то близко. Он не обратил внимания, ибо в расположении корпуса всегда постреливали. Дисциплина тут была не ахти. Следующую фразу только начал, как бабахнуло сразу два выстрела, и он подумал, что на трехлинейку не похоже, бьют вроде из охотничьего, что показалось странным: откуда охотничье? Какие-то тонкие, то ли женские, то ли детские, голоса кричали. Павел Евграфович отложил ручку и, как был, в сетчатой майке и в полосатых брюках от пижамы, вышел из комнаты и задней дверью через большое общее крыльцо спустился на двор.

На повороте дороги, ведущей в глубь участка, он увидел грузовик с крытым кузовом. Возле грузовика толпились несколько человек, женщины и ребятишки, и что-то кричали, вопили и даже плакали. Внучка Полины великовозрастная Алена бросилась к Павлу Евграфовичу, рыдая.

— Спасите! Они убивают!

— Кого?! — изумился Павел Евграфович.

— Уже убили Гуслика! Теперь ищут Арапку, хотят убить! Какие-то звери! Боже мой, звери, звери!

Человек с охотничьим ружьем на плече удалялся в сторону сараев, рядом с ним мелькал, кажется, Приходько — в соломенной шляпе, в чем-то белом, развевающем-

ся,— за ними бежала толпа детей. Павел Евграфович услышал азартный крик:

— Толя! Айда Арапку стрелять!

Он с ужасом узнал голос внука. Возле заднего борта в кузове стоял знакомый парень — Митька совхозный, прохвост, пьянчужка, он и теперь был, видно, хмелен, рожа красная, еле ворочал языком, что-то женщинам объяснял мыком, а те на него орали и махали руками. Застреленные собаки лежали в кузове. Мальчишки подпрыгивали, чтобы заглянуть через борт. Павел Евграфович поспешил, задыхаясь, к сараям, где человек с охотничьим ружьем тыркался из одной сараюшки в другую, ища Арапку. Какой-то мальчик плакал. Другой закричал радостно:

— Вон! Вон! Вон он!

Убийца разбрасывал груду досок.

— Что можно сделать? — говорил Приходько.— Приказ дачного треста... Это не от нас, товарищи, зависит...

— Прекратить! — крикнул что есть мочи Павел Евграфович.

Никто почему-то не услышал. Он опустился на что-то вроде ящика, деревянное, ноги не держали. В груди была боль. Он вдруг подумал, что сидит на чем-то деревянном и длинном, как гроб. Внезапно из-под досок выскочил, скуля, Арапка и бросился к Павлу Евграфовичу. Прыгнул к нему на колени и сунул нос ему под мышку. Павел Евграфович обнял пса, чувствуя, как тот дрожит. Павел Евграфович задыхался, и в груди была боль.

— Это мой пес... Это не бездомный...— сказал слабым голосом.

Люди что-то кричали. Женщина ругалась с Приходько. Он понимал, что Приходько хочет, чтобы Арапку убили, потому что Арапка пристает к его собачонке. Убивать только за то, что дворняга. Да он лучше всех. Они сами бешеные, эти пьянчуги, их самих застрелить. Ему хотелось все это крикнуть человеку с ружьем и Приходько, сказать Приходько, что он подлец. Он бывший юнкер. Он перекрасился. Его самого застрелить. Но не то что крикнуть, даже сказать не было сил, в груди была боль, он обнимал пса и дрожал вместе с ним. Он чувствовал подступающую тошноту. Никто не отнимет у него пса, как бы ни кричали, как бы ни воняли водкой в лицо. Приходько злобно вертел глазом.

— Вы нарушаете параграф! Указание Моссовета!

Павел Евграфович собирал во рту слюну, чтобы плюнуть. Какой-то мальчик подбежал и сел рядом с Павлом Евграфовичем, обняв Арапку. Теперь обнимали пса вдвоем. Потом с другой стороны подошла девочка и положила руку на Арапкин затылок, торчавший из-под мышки. Вдруг он почувствовал, что пес перестал дрожать.

Кто-то хрипел в ухо:

— Найди червонец... Я ему дам, змею, а то не отстанет...

Это был Митька совхозный. Тот мальчишка, что сел с Павлом Евграфовичем рядом, нес Арапку на руках, уморился, выпустил, Арапка побежал рядом, прижимаясь к ногам. Павел Евграфович останавливался, когда давила боль. Дома искал деньги, рылся повсюду, по карманам, по ящикам, спросил у Валентины, но нашел только три рубля и копеек сорок мелочью.

Митька был недоволен, ворчал, но согласился.

— Ладно, давай! — Побежал, прыгая через насаждения, треща кустами, торопясь к грузовику, к новым собакам, новым трешницам.

Павел Евграфович ушел в дом и затворил за собой дверь. Ни с кем разговаривать не хотелось. По-прежнему болела грудь, но не оттого разговаривать не хотелось. Нет, не оттого. Все вместе — какая-то гадость. Арапку он спас. Но как спасти остальное? Например, того мальчика, который кричал: «Вон! Вон! Вон...»? И собственного внука? Как теперь разговаривать с Приходько? Подумал, что при Гале всего этого быть не могло. Не могло быть таких душителей собак, таких любознательных мальчиков, такой жары. Жара нечеловеческая, нездешняя, жара того света. Все было другое при Гале.

Сидел в кресле-качалке, вдруг говор — Верочка с Эрастычем. Где-то под окном, внизу, совсем близко. И разговаривают-то негромко, а ему, как назло, все слышно. Даже удивительно, до чего отчетливо и ясно. Верочка жаловалась: «Ужасно волнуюсь. Смотреть больно. Стал такой старенький, такой жалкий, чудной... Еле ходит...» Эрастыч: «Не бери в голову. (Что за глупость: не бери в голову. Научный работник, а выражается черт знает как.) Ведь не можешь заставить брата бросить пить? Не можешь вернуть старику здоровье? Значит, не бери в голову». Слушал спокойно. Ничего нового. Мучило только то, что подслушивает, но подняться с качалки бы-

ло непросто, требовались усилия, и он некоторое время колебался, затевать ли сложную операцию по подъему с качалки, надеясь, что томительный разговор внизу сам собой прекратится. Кашлянул громко и стукнул палкою в пол, давая знать, что сидит рядом. Нет, не слышали, продолжали. Верочка все жалобней: «Но ведь мне его жалко, правда же. Ну что он сидит ночами, не спит, перебирает свои бумажки...» — «И слава богу, есть занятие».— «Это не занятие, Коля. Это что-то...» — «Все старики немного «чайники». Старость — вид шизофрении». И ушли.

Думал над странной фразой: «Все старики немного «чайники». Что этот неприятный человек имел в виду? От фразы исходила тревога. Шизофрения — понятно. Считают его шизофреником. Но при чем тут чайники? Бог ты мой, они сами больны, они больны непониманием, больны нечувствием, о чем мечтал человек с голым и мятым черепом — как его звали? — он говорил, что надо избавиться от эмоций. Уже избавились? Вылетела из головы фамилия. Череп похож на кулич. Его зарубили весной двадцатого года.

Нет, не пойду и разговаривать не стану. Все разговоры неинтересны. А если нет интереса, нет смысла, зачем об этом беспокоиться? Все это давно ушло и абсолютно ненужно; подумаешь, загадка, кто получил домик старухи, не имевшей наследников. Нет, нет, неинтересно. Единственное, что интересно: что выбросило Мигулина из Саранска навстречу Деникину? Вот тут поистине болит, тут проблема, вопрос вопросов!

Чтобы ответить на упрек: «Ты все же верил в его вину...»

Спросите у муравьев, которые бегут цепочкой вот здесь, по подоконнику, один за другим, верят ли они в то, что там, куда они бегут, их ждут корм, спасение, истина... Один человек, как всегда, недоверчиво хмыкал.

Приехали в Балашов на рассвете. Мглистый темный октябрь. В квартире, которую для нас сняли, живет корреспондент реввоенсоветской газеты «В пути» Лев. На льва непохож: тонок, бледнолиц, военный френч сидит на нем, как с чужого плеча.

Он привез последний номер газеты «В пути» со статьей о Мигулине «Полковник Мигулин». Написал Троцкий. Суд начинается через два дня.

— Послушайте, нельзя же, ей-богу...— говорит Шура, вчитываясь в статью, и я вижу, как лицо его грубо, пятнами белеет. Знаю, эти белые пятна — признак раздражения.— Смотрите, что он пишет: «Постыдно и жалко заканчивается карьера бывшего полковника Мигулина. Он считал себя, и многие другие считали его большим «революционером»... Но что явилось причиной временного присоединения Мигулина к революции? Теперь совершенно ясно: личное честолюбие, карьеризм, стремление подняться вверх на спине трудящихся масс...» Дальше впрямую об измене...

— И что же? Почему не устраивает? — спрашивает Лев.

— Да потому, что нельзя до суда писать: «Теперь совершенно ясно...»

— Не понимаю...

— Если «совершенно ясно», тогда суд ни к чему. Все суды мира устраиваются, чтобы установить ясность.

— Все суды мира нас не интересуют,— говорит Лев.— Революционный суд ни на что не похож. Такого суда не было в истории.

Лев — это фамилия? Зовут как-то сложно, и все привыкли: Лев, Лев. Мы знакомы давно, недели три. То он мелькал в Козлове, то в штабе IX армии. Шура объясняет: если б он знал, что так обстоит дело, он бы не дал согласия участвовать в процессе. Лев холодно:

— Не думаю, Александр Пименович, чтобы зависело от вашего согласия.

С этого темного рассвета, статьи «Полковник Мигулин» и неприятного разговора с корреспондентом Львом все пошло вкось. Шура сразу стал возражать, как у него бывало, против всего подряд. Раздражение и злость кипели. Кажется, он проклинал себя за то, что не уклонился вовремя, и теперь делал все, чтобы разругаться, поломать, уехать. А он был нужен — его авторитет, каторжанская слава прибавляли веса суду. Два других члена суда — кубанские казаки, председателем назначен старый партиец Сыренко. Главный обвинитель — Янсон. Он давний знакомец Шуры. Они на «ты». Янсон тут главный, все споры, ругань, несогласие — с ним.

— Пойми ты, черт упрямый, что сей суд имеет не юридический, а политический смысл. Пропагандистский смысл! Мы должны сокрушить легенду о Мигулине. Мы должны нанести удар по контрреволюционному казачест-

ву — раз, по бонапартизму — два и по партизанщине — три.

И еще говорит Шуре:

— Почему, Александр, ты всегда ломишь свою линию? Почему ты всегда — а я хорошо помню по старым временам — так тяжело подчиняешься дисциплине и коллективному мнению?

Шура говорит, что приехал участвовать в судебном разбирательстве, а не в театре. Если тут заранее отрепетированный спектакль, тогда увольте. Не совсем правда. Спектакля хотел автор статьи «Полковник Мигулин». Но вышло иное. Вышло совсем иное, но Шура не знал, что выйдет. Янсон раздраженно уверяет: не волнуйся, будет настоящий суд, будет обвинитель, защитник, будут члены суда, публика, журналисты, но у него, Янсона, предварительное мнение четкое. Мигулин должен быть судим за измену.

— Ты этого не считаешь?

— Я не знаю. За тем и приехал — узнать.

Споры делаются все резче, Шура закусил удила. Кончается катастрофой: вечером Шура уезжает в Пензу, бросив гневное объяснение, что снимает с себя обязанности члена суда в связи с несогласием с тем-то и тем-то. Не помню, с чем именно. На его место срочно вызван председатель армейского ревтрибунала Десятой. Шура поступает рискованно. Я за него в страхе. Была минута — сразу после внезапного отъезда, когда Сыренко и Янсон, взбешенные, говорят об аресте и привлечении к суду. Но, разумеется, вздор! Потом соглашаются, что, может, и к лучшему: с его настроением неизвестно, что он бы отколол на суде...

А я остаюсь в Балашове. Потому что еще раньше назначен в помощники секретарю суда. Много волокиты, много бумаг, имен. Кроме Мигулина судятся двенадцать человек командиров и близких ему казаков, допрашиваются полтора десятка свидетелей. Да и все захваченные Скворцовым 430 человек находятся на положении обвиняемых и ждут решения своей доли.

Мрачный, исхудалый, разом старик — в черных волосах проседь сильней привычного,— сидит Мигулин на первой скамье сбоку от стола судей и то и дело порывисто, наклоняясь вперед, выламываясь плечом, оглядывает зал, ища глазами. Ищет Асю, а ее нет. Публику в первый день не пускают. С Асей встречаюсь вечером...

Вот редчайшая редкость, драгоценность в сто шестьдесят страниц в синей папочке: стенограмма суда. Если начнется в доме пожар и надо хватать самое ценное, схвачу эту папку. А зачем? Все читано, перечитано.

Председатель. Подсудимый Мигулин, вы слышали, в чем вы обвиняетесь?

Мигулин. Слышал.

Председатель. Признаете себя виновным?

Мигулин. По всем предъявленным пунктам, за исключением некоторых деталей, признаю себя виновным, но прошу во время судебного процесса выслушать мою исповедь...

Все читано, перечитано, передумано, перемеряно памятью. Но каждый раз что-то новое. Галя тоже читала. Говорила, что Мигулин — правдивый и честный человек, но с узким кругозором. Это она вывела из стенограммы. А уж она-то понимала. Она ничего не знала про Асю. Галя в людях разбиралась преотлично, в особенности в мужчинах. Женщины занимали ее мало. Да у ней и подруг не было — одна Полина. Она говорила: «С ними скучно. В них столько ерунды...»

Мигулин. Я был не против идейного коммунизма, а против отдельных личностей, которые своими действиями подрывали авторитет советской власти... Я обрисовывал на митингах все примеры очень рельефно... Итак, я хочу указать на невозможно сложившуюся политическую атмосферу в Саранске вокруг меня. Затем распространился слух, что пал Тамбов, и мне казалось, что кадеты могут подойти при таком положении к Богоявленску. Мне казалось, что деникинские войска вклинятся в наше расположение в направлении Ряжска, тем более что распространились слухи об эвакуации Козлова... И решил выступить с наличными силами, убежденный, что я своим выступлением в любом месте остановлю фронт...

Председатель. Вы грозили арестовать коммунистов?

Мигулин. Это был просто тактический шаг, так как я не хотел, чтобы кто-нибудь мешал мне на пути. Я сперва объявил, что Харин и Логачев будут расстреляны, но затем отдал приказ, чтобы этого не делали, так как я в принципе против смертной казни. Мною не был расстрелян ни один из арестованных коммунистов.

Председатель. Когда была написана ваша дек-

ларация «Да здравствует Российское Пролетарское Трудовое Крестьянство»?

Мигулин. В первых числах августа, когда мне на одном из митингов была подана записка: что такое социальная революция и как должно жить человечество?

Председатель. Не жалели ли вы, что у вас нет орудия, а то бы вы смели Пензу с лица земли?

Мигулин. Нет, не говорил этого.

Председатель. Руководили ли вы боями и какими во время похода?

Мигулин. Мы старались избегать боев и, еще не доходя до реки Суры, советовались с Юргановым, как лучше пройти, чтобы избежать столкновения... Откровенно говорю, что первоначальное мое направление было на Пензу, так как мне хотелось, чтобы т. Янсон меня наконец понял...

Янсон. Скажите, когда вы выступили со своей частью якобы на защиту фронта, логично ли было с вашей стороны устраивать новый фронт в тылу советской власти — как офицер, подумали ли вы над этим?

Мигулин. Конечно, я действовал нелогично, но поймите мое душевное состояние, поймите ту атмосферу...

Янсон. Чувствовали вы себя в последние дни нормальным человеком или ваш разум мутился?

Мигулин. Вы уже слышали от меня, я не отдавал себе отчета и, когда вел с вами переговоры, метался из стороны в сторону, несколько раз бывал на станции, несколько раз подходил к аппарату и в конце концов, измученный этой борьбой...

Откуда она узнала, что я в театре? Вечером со Львом пошли в театр, вернее, в клуб, где выступают артисты из Саратова, показывают «Даму из Торжка». Кроме названия, ничего не помню. Помню еще, что Лев поражает необычайной презрительностью суждений, он театрал, знаток, столичная штучка, у него друзья среди актеров МХАТа. Сразу после процесса он возвратится в Москву. «Если подобная дрянь будет процветать на сцене, надо устраивать вторую революцию!» Актеры садятся кучей в телегу, их везут на вокзал. В телегу положили мешок с мукой. И тут внезапно появляется Ася, которую я сразу не узнаю: она закутана в платок до глаз, в длинном черном пальто. Хватает меня за руку и тащит от подъезда в темноту.

«Павлик, на одну минуту...»

Просит устроить свидание с Мигулиным. Я ошеломлен. На меня обрушивается какой-то бред, она вне себя, больна, помешалась, у нее жар, губы горят; она целует меня, стискивает, умоляет, уговаривает... «Я знаю, я виновата перед тобой, ты меня любишь, ты мой родной и ты сделаешь... ты поможешь... Если не увижу его завтра, я умру.... Что он говорил сегодня, какой ужас. Клеветал на себя! Говорил, что помутился разум...» Оказывается, она была на процессе, упросила кого-то, пробралась, сидела, спрятавшись, он ее долго не видел, хотя все время искал, но потом она сделала так, что он увидел! Я говорю: невозможно. Я там мелкая сошка. С Янсоном и Сыренко отношения плохие из-за Шуры, они на него сердиты и для меня не сделают ничего. «Но ведь они его расстреляют! Другого не будет!» Я молчу, потому что это правда. Что могу ей сказать? Мне и жаль ее бесконечно, и изумление перед любовью душит меня... И, когда она лепечет в безумии, хватая мои пальцы, заглядывая в глаза, не видя меня, что, если я помогу, она готова на все, она останется со мною, я спрашиваю: «Навсегда? Или только сегодня?» Ужасен этот вопрос, низок и не мой, не мой! Не мог я так спросить, будь я самим собой! Но ведь и я в угаре, и я как помешанный. Она глядит на меня и вдруг разражается рыданием, и шепчет, и рукою показывает: навсегда, навсегда! Навсегда — лишь бы только одну минутку с ним...

Вот о чем она не вспоминает в письме. Вот про что забыла. Будто не было встречи на улице, рыданий, безумия, будто не пошли потом на квартиру, где Лев храпел за стеной, где она осталась до утра и где не было ничего, кроме разговора, многих часов объяснений, чужой любви, тоски, фантастических планов, ничего не могло быть. Ничего, ничего, поэтому забыла. Помнит только, что не смог ее свести с адвокатом. Не желает ни понимать, ни знать. Я говорю: «Но ты войди в положение. Деникин наступает, взят Курск, в Москве раскрыт заговор, бомба в Леонтьевском переулке, погибли наши товарищи... Как прикажешь в час смертельной опасности судить человека, который обвиняется в измене?» — «А я чем хочешь клянусь, он не изменник!» — «Но ведь даже близкий ему человек, Юрганов, говорит, что хотел его застрелить за измену». — «Ложь! Не было ничего отвратительнее ответов Юрганова. Я этого человека поняла... Это гниль, которая вырывается бурей со дна...»

Где ответы Юрганова? Не забыть взгляд, каким смотрел на него Мигулин.

Юрганов. Я был исключен из шестого класса гимназии по подозрению в убийстве, затем года через два стал народным учителем, но вследствие постоянных столкновений с попами, с которыми никак не мог сговориться, я бросил службу, скитался, пролетарничал, потом был взят на войну. Во время Керенского был допущен в военную школу и получил звание прапорщика. С Октябрьским переворотом вступил в Красную Армию, где нахожусь по сие время...

Председатель. В каких должностях служили вы?

Юрганов. Сперва рядовым, потом выборным командиром, командовал бригадой и в корпусе Мигулина был начдивом... Я увидел разлад и неправоту Мигулина. Он был неправ в огульных нападках на политических работников... Неправоту Мигулина я объяснял его болезненной нервностью и подозрительностью... Я старался связать враждующие стороны.

Председатель. Писали ли вы письмо комбригу Скворцову, называя Мигулина вождем мировой революции?

Юрганов. Да, я писал. Но на собрании 21 августа, когда Мигулин призывал идти на фронт и когда массы, возбужденные его призывом, кричали «Вперед на фронт!», Мигулин спросил меня: «А вы идете защищать своих товарищей?» Что я мог ответить? Я сказал: иду. Потом он арестовал на митинге комиссара и, когда я пошел к нему и указал на неуместность его поступка, он сказал: «Я погорячился». Меня возмутил поступок Мигулина, и я сказал, что если он сделает сдвиг вправо, то я его убью... (Мигулин что-то выкрикивает со смехом. Председатель делает ему замечание.) И в конце концов, видя, что Мигулина ни в коем случае нельзя допускать до фронта, решил сделать то, что давно уже я задумал,— убить его. Раньше это сделать не представлялось возможным, так как он окружал себя верными людьми, «янычарами»...

Председатель. Зачем вы предупреждали комбрига о выступлении Мигулина в письме?

Юрганов. Я писал, что он может сделать что-нибудь из ряда вон выходящее.

Председатель. И вы хотели, чтобы комбриг поддержал вашу авантюру?

Юрганов. Я опять повторяю, что письмо было написано под давлением Мигулина.

Председатель. Я прочту вам наиболее существенные фразы. «Мигулин — не только великий стратег, но и великий пророк». Вы писали эту фразу?

Юрганов. Да, это моя фраза.

Председатель. «Если он восстанет, то за правду, за истину, за волю».

Юрганов. Это мои слова.

Председатель. «Крестьянство готово броситься в кабалу Деникину, лишь бы не пережить тех мук...»

Юрганов. Это слова Мигулина.

Председатель. Почему вы в конце письма пишете: крепко целую тебя, может быть, в последний раз?

Юрганов. Это вообще только приписка, которой я не придаю особого значения, тем более что я в то время колебался, мог убить Мигулина и сам покончить с собой...

Допрос Дронова. Спрашивают: чем занимался до Октябрьской революции, чем занимался во время войны?

Дронов. Я был в чине подъесаула, был полковым адъютантом, после Октябрьской жил в Киеве, в ряды Красной Армии вступил после Октябрьского переворота. В корпус Мигулина попал 15 августа на должность адъютанта второго полка...

Председатель. При Скоропадском были в его войсках?

Дронов. Мне пришлось служить при шести правительствах, в штабных должностях...

Председатель. Почему вы пошли за Мигулиным?

Дронов. Отчасти в силу личных причин, потому что не получал жалованье в течение полутора месяцев.

Председатель. Вы понимали, что значит — вне закона?

Дронов. Я не придавал этому большого значения.

Почему-то кажется, что именно об этом Дронове — вдруг возникает: щеголеватый, долговязый, почтительно вытягивает кадыкастую шею и даже ухо поворачивает в сторону председателя, чтоб лучше слышать,— писала Ася в письме. Про какого-то, который приставал к ней, тискал в потемках. Он? Померещилось почему-то, что он, и вот читаю со злобой...

Председатель. Перед разоружением Мигулин обращался к войскам?

Дронов. Дело было так. Мигулин приказал полку выстроиться и сказал подлинную фразу: «Я жертвую своей жизнью, чтобы не проливалась кровь. Идем на соединение с казаками. Песенники, вперед!» И полк двинулся вперед с песнями. Это было в Крутеньких, не доходя до Мокреньких...

Председатель. Скажите, слышали вы когда-нибудь от Мигулина отзывы о Троцком?

Дронов. Да, слышал. В некоторых деревнях во время похода были митинги, на которых говорили такую фразу: «Недавно я прочел в газете, что России нужна в течение ряда лет твердая диктаторская власть, и не думает ли уж Лев Троцкий стать диктатором России?»

Председатель. Когда вы узнали, что Мигулин объявлен вне закона?

Дронов. Минут за пять — десять до выступления...

Председатель. Мигулин, вам известно было, что утром 22 и 23 августа казаки бесчинствовали и арестовали коммунистов?

Мигулин. Я не знал этого.

Объявляется перерыв на два часа. Вечером обвинительная речь Янсона. Ему тогда двадцать восемь. Но я не видел — никто не видел — в белобрысом коротконогом человечке на трибуне ни его молодости, ни университетского прошлого, ни прибалтийского происхождения: это говорила ледяным голосом революция, говорил ход вещей. И замораживался дух, цепенели руки — помню, помню...

Помню: холодный блеск неба за окном. Внезапный солнечный день. Помню: Ася в одном из первых рядов, не замечая, не слыша ничего, глядит на казака с седыми усами. Помню нараставшее изумление: как я мог сомневаться в его вине? Все так смертельно ясно.

«Я обвиняю бывшего казачьего полковника Мигулина и всех его соучастников в том, что во время войны Советской власти с Деникиным они, занимая ответственные посты в нашей Красной Армии, подняли вооруженный мятеж против Советской власти. Перед нами громаднейший следственный материал, из которого картина восстания вырисовалась достаточно ясно. В ночь на 23 августа я узнал, что в Саранске творится что-то неладное, что корпус волнуется, что Мигулин произносит мятежные речи. Я предпринял все меры к мирному улаживанию конфликта. По прямому проводу я сообщил

Мигулину об остановке на Южном фронте, о рейде Мамонтова. Я заявил ему, что его несогласованное выступление может принести большой вред делу защиты Советской Республики. На это последовал сумбурный и бестолковый ответ, что он «больше не может», что он «задыхается»... Увлекая за собой корпус, он двинулся из Саранска на фронт, намереваясь соединиться с 23-й дивизией и образовать воинскую силу для каких-то ему, Мигулину, одному известных целей...

Здесь на суде Мигулин чересчур скромен. Он раскаивается. Он говорит о том, что человек он неуравновешенный, что его, так сказать, толкнули на это дело, что, совершая это преступление, он не отдавал себе отчета. Но было время, когда Мигулин, чувствуя за собой некоторую силу, был не таким. Он надеялся стать народным героем, чем-то вроде русского Гарибальди. Тогда он умел даже грозить. Так, например, в своем воззвании или манифесте, где он объявлял мне войну, он пишет: «Я сокрушу, смету вас, если посмеете выступить против меня...» Анализируя весь материал по делу Мигулина, я пришел к выводу, что перед нами не орел, а всего лишь селезень, ибо приемы, при помощи которых он увлекал за собой своих солдат, не приемы вождя... Я утверждаю, что никто за время нашей революции не создавал более путаной и туманной идеологии. Невольно напрашивается сравнение Мигулина с блаженной памяти Керенским, который, задыхаясь, говорил: «Если вы мне не верите, я застрелюсь...»

Главный соучастник Мигулина Юрганов держит себя на суде трусливо, указывает, что он был против Мигулина и что он пытался даже его убить. Он называет себя сочувствующим партии коммунистов. Значит, в совершенном преступлении Юрганов повинен вдвойне, как изменник своей партии и Советской власти. В революционное время отношение к таким жалким слюнтяям редко когда бывает сочувственным. Он должен был побороть свое малодушие, свою трусливость и ясно и отчетливо сказать войскам: «Мигулин — изменник, вы должны оставаться в Саранске». Такое заявление, может быть, спасло бы нас от необходимости судить четыреста с лишним человек, среди которых заведомых предателей и изменников, безусловно, меньшинство. Из лиц командного состава, которые пошли с Мигулиным, меня еще интересует фигура Дронова, согласно заявлению которо-

го, он на Украине служил шести правительствам. Очевидно, Советской власти, потом Петлюре, гетману Скоропадскому, снова Советской власти и т. п., причем при всех правительствах оставался в штабных должностях. Я думаю, что на этот раз он изменял последний раз... Такие люди, как Мигулин, неуравновешенные, недурные ораторы, возбудив темную массу, не в состоянии удержать ее в своих руках. Им на смену приходят деникинцы. Дронов вместе с Мамонтовым создал бы действительно фронт против Советской власти. Недаром этот человек пошел с Мигулиным. По его словам, он как будто пошел за тем, чтобы получить свое жалованье за полтора месяца. Это смешно слышать из уст бывшего полкового адъютанта. Чуя авантюру, чуя возможность легкой политической наживы, он пошел за Мигулиным. Здесь он держит себя скромницей, простачком, услужливо отвечает на все вопросы. Этакая божья коровка и скромница не могла бы служить при шести правительствах в штабных должностях...

Вы все знаете, что уже почти два года смысл и суть нашей революции заключается в борьбе крайностей: рабочего класса, партии коммунистов и Советской власти с одной стороны и буржуазной контрреволюции — Деникина, Колчака, Юденича — с другой стороны. Все попытки соглашательских партий, попытки учредиловцев, попытки сторонников всяких «рад» и т. п. найти какую-то среднюю линию до сих пор оказались тщетными. Мы знаем, и всякий это может проверить на тысяче фактов, что всякая борьба, поднятая против Советской власти, железной неумолимой логикой вещей влекла к Деникину и к контрреволюции. Против нас поднимали восстание чехословаки, левые эсеры, демократические группы меньшевиков и прочие. Все эти группы оказались в конце концов в объятиях Деникина, который смел их всех с дороги. Только он один решительный и сильный противник, и кто-нибудь один, или Советская власть, или Деникин, выйдет победителем из этой страшной, колоссальной борьбы...»

Неглупо, неглупо рассуждал Эдвард Янович! И говорить умел, и голова светлая. А время катастрофическое — октябрь девятнадцатого. О чем тогда думали в захолустном Балашове? На что надеялись? Бог ты мой, Деникин взял Воронеж, подходил к Орлу и Брянску... На востоке пал Тобольск... Юденич в Красном Селе,

немцы в Риге... Все на волоске... И ни секунды сомнения в конечной победе! На другой день после суда отправились на охоту: встали на рассвете, поехали сначала на озеро, стреляли уток, потом куда-то в поле за куропатками...

«...Здесь он развивает перед нами полутолстовскую, полусентиментальную мелодраму. Он, дескать, за такой строй, который вводился бы без каких бы то ни было насилий. Но кто поверит, что вы, старый казачий офицер, который в старой войне имел почти все воинские отличия, вплоть до георгиевского оружия, искренне стали на такую точку зрения? Возьмем даже его теорию государства. Он хочет немедленной свободы для всех граждан. Он не понимает, что путь к социализму лежит через диктатуру угнетенных над угнетателями. Он не понимает, что требование свободы для всех в эпоху гражданской войны есть требование свободы для контрреволюционеров...

Вы много распространяетесь о любви к народу, о свободе, причем пишете, что народу плохо живется в России, и обвиняете в этом партию коммунистов. Вы лжете, партия коммунистов тут ни при чем! Вы хорошо знаете, что мы разорены четырехлетней войной, вы знаете, что наши заводы и фабрики остановились, потому что контрреволюция захватила области, богатые нефтью, углем и хлебом... Вы говорите, что не надо принуждать людей, что они должны все делать добровольно, что вообще весь аппарат государства должен быть ослаблен. Хорошо, но что же было бы теперь, если бы у нас не было принудительного набора в Красную Армию, не было бы хлебной монополии? Истреблены были бы не только коммунисты, но и вы, гражданин Мигулин, не особенно пышно расцвели бы при генеральской диктатуре. Вы жалуетесь на то, что тяжело жить крестьянину. Это правда, ему живется нелегко, страна разорена! Но вы не вспомнили, критикуя нашу продовольственную политику, что города обнищали, что им нечего обменивать на хлеб. Рабочий должен умереть с голоду, если Советская власть не даст ему хлеба. Явление это позорное в такой стране, где хлеб в избытке...

Теперь о безобразиях на Дону. Из следственного материала видно, что безобразия имели место. Но также видно и то, что главные виновники этих ужасов уже расстреляны. Не надо забывать, что все эти факты соверша-

лись в обстановке гражданской войны, когда страсти накаляются до предела. Вспомните французскую революцию и борьбу Вандеи с Конвентом. Вы увидите, что войска Конвента совершали ужасные поступки, ужасные с точки зрения индивидуального человека. Поступки войск Конвента понятны лишь при свете классового анализа. Они оправданы историей, потому что их совершил новый, прогрессивный класс, сметавший со своего пути пережитки феодализма и народного невежества. То же самое и теперь. Вы должны понять...

Мы переживаем величайшие трудности, революция охвачена железным кольцом, наша армия выбивается из последних сил, чтобы удержать октябрьские завоевания. Наша армия начинает изживать ту разнузданность, которая раньше процветала в красноармейских частях, когда каждый начальник действовал самочинно, кустарническим способом... Мигулинщина, какими бы маниловскими словечками она ни прикрывалась, есть выражение этой разнузданности кустарнического периода.

Перед нами преступник, болтающий о счастье человечества, а на деле открывающий Мамонтову дорогу на Москву. К таким людям у нас не должно быть жалости. Сор мелкобуржуазной идеологии должен быть сметен с пути революции и Красной Армии. Я считаю, что по отношению к Мигулину и его соучастникам должна быть применена самая суровая кара...

Я требую для Мигулина, всего командного состава и всех комиссаров и коммунистов, шедших с ним, расстрела».

Потом защитник Стремоухов: не похожий ни на кого, пожалуй, довоенный, допотопный, в пенсне. Он толст, что тоже необыкновенно, говорит с одышкой.

«Товарищи! Революционному трибуналу угодно было поручить мне тяжелый долг защиты обвиняемого. Не систему мигулинщины, не историческое явление, известное под именем мигулинщины, а самого обвиняемого... Обвинитель прочел нам целую лекцию о мигулинщине, он изложил нам взгляд господствующей коммунистической партии; все это не ново, и если обвинитель, объясняя партийно это явление, обращался лицом к публике, а к вам боком (председатель останавливает защитника, указывая на неуместность таких выражений), то я, как защитник людей, обращаюсь к вашим сердцам... Я много думал над этим делом и теперь спрашиваю: в чем они

обвиняются? В дезертирстве... Но до сих пор мы знали и обвиняли людей, бегущих с фронта, теперь же обвиняем группу лиц, которая пошла на фронт!

Кого же мы здесь обвиняем? Не селезня, как сказал обвинитель. Перед нами лев революции. С самого начала Советской России он бился в рядах защитников революции, бился честно два года, и как бился! Этот селезень, повторяю, бился с самого начала пролетарской революции. Правда, он не совсем представлял себе политическую программу, он не мог разбираться во всех тонкостях политики, как в этом разбирается обвинитель, очевидно, старый партийный работник, которого нам было приятно слушать, но лев революции разбирался во всех этих вопросах сердцем, он сердцем почувствовал, что партия несет то, что нужно обездоленному трудящемуся классу... Где случится беда, где белогвардейские банды расстроят наш красный фронт, туда стремится этот селезень, ему доверяют в такой ответственный момент, на него возлагают надежды, и он оправдывает их. Позвольте вам напомнить, когда в прошлом году, я слабо знаю историю наших военных событий, наши красноармейские части на Хоперском участке не могли прорваться через проволочные заграждения, вот этот самый селезень ударил в тыл неприятеля, опрокинул и погнал врага на юг. Разве это селезень, который в дальнейшем своем движении дошел до Новочеркасска?

Так в чем же провинился этот человек, который сейчас стоит перед нами в качестве подсудимого? А вот в чем: как боец Красной Армии, он был плохой политик, плохо разбирался в той политической атмосфере, которая его окружала, и, как боец, был прям в своих поступках. Человек цельный, у него что на сердце, то и на деле, не скрывающий своих мыслей... В беседе со мной в камере № 19 он выразил сожаление, что вся его переписка попала сюда. Тут письма личного характера. Он просил не цитировать, да нам и не нужно, но я позволю себе нарушить его желание только в одном пункте: я прочел тут замечательную фразу, в которой он весь. Он пишет любимой женщине: «Принадлежи мне вся или уйди от меня». В этой коротенькой фразе сказалась вся натура Мигулина...»

Сколько я ни вспоминаю, не могу припомнить этой фразы, хотя речь защитника слушал внимательно. И даже более чем внимательно — жадно, восторженно! Она

меня захватила и перевернула, так же как сперва захватила и перевернула речь Янсона. Но если в стенограмме стоит, значит, фраза была... Когда? В феврале? Когда еще жив был Володя? И она делила любовь между ними двумя?

«...На Дону со стороны внутреннего управления дело обстояло неладно. Мигулин кричит: «Беда идет! В результате наши успехи сойдут на нет!» Но голос его слабо слышен. Ему говорят, что в центре не забывают Дона, издают приказы, но дело-то ведь не в том, чтобы издавать приказы и писать, что мы будем бороться со всеми этими безобразиями, а в том, что безобразия все-таки продолжаются... Верный себе, Советской России, Мигулин из глубины души кричит: «Так дальше жить нельзя! Помогите! Сделайте что-нибудь для облегчения создавшегося положения!»

И кто знает, не было ли вызвано этим криком известное обращение центра к казакам. Мы знаем, что за последнее время политика Советской власти изменилась по отношению к казачеству. В газете «Красный пахарь» от 11 сентября сказано, что политика по отношению к казачеству будет изменена, будут считаться с бытовыми условиями Дона... Мигулин закричал, и крик его побудил к излечению одной из язв Советской России. В этом его заслуга, и за эту заслугу его можно помиловать. И я, как защитник людей, прошу вашего великого снисхождения, прошу всем сердцем взвесить обстоятельства этого процесса, вдуматься и тогда уже вынести свое решение».

И вот речь Мигулина:

«Граждане судьи, когда я очутился в камере № 19, я занес свои впечатления в первые минуты моего пребывания в камере на клочке бумаги, который останется после меня. Дико в первую минуту в этом каменном мешке, и, когда захлопнулась дверь, сразу как будто и не понимаешь, в чем дело. Вся моя жизнь отдана революции, а она посадила тебя в эту тюрьму, всю жизнь боролся за свободу, и в результате ты лишен этой свободы. В этом каменном мешке я, быть может, впервые свободно задумался, никто мне не мешал, задумался над тем, кто я такой.

Янсон сказал, что я незнаком с Марксом. Да, я не знаю его, но тут в камере я впервые прочел небольшую книжку о социальном движении во Франции и неожиданно напал на одно определение, характеризующее таких

людей, как я. Дело в том, что во Франции были социалисты, озабоченные мыслью о справедливости и везде и всюду искавшие ее. Люди в высшей степени искренние, но лишенные научных знаний и методов... Таким как раз являюсь я, и в этом мое несчастье... И я прошу Революционный трибунал прислушаться к этому. Я скажу кое-что о тех революционных выступлениях, которые мне приходилось делать в течение моей жизни.

В 1895 году, когда я еще был нижним чином, одним из начальников из моего девятирублевого жалованья было вычтено шесть рублей. Я возмутился против этого и сказал, что я застрелю такую собаку. Создалось такое тяжелое положение, которого я не мог долго выносить и перешел на службу в мировые судьи. С 1904 года я уже был офицером и был избран на общественную должность станичным атаманом. В это время пришлось снаряжать на общественный счет девять человек, это тяжело отзывалось на казаках, заставляло их входить в долги, и я, горячо стоявший за интересы казачества, принял все меры для облегчения казаков. Так, во время приемки лошадей я сумел провести перед комиссией всех лошадей, числом девять, когда же приехал атаман, он забраковал всех этих лошадей и приказал мне представить новых к двенадцати часам. Сколько я ни старался узнать, почему забракованы представленные лошади, не мог ничего добиться, и тогда я решил представить атаману тех же самых лошадей. В двенадцать часов приводят к нему лошадей, тех же самых, и атаман выбирает из них шесть, а остальных бракует, приказывая мне к трем часам представить недостающих еще лошадей. Я опять решил представить ему тех же самых лошадей... В результате мне удалось провести тех же самых лошадей, и свидетелями моего поступка были 18 станиц Усть-Медведицкого округа... Затем, когда была объявлена японская война, я был мобилизован и отправлен на войну. Там я увидел произвол и бесчинства со стороны командного состава, и, когда начальник Четвертой казачьей дивизии генерал Телешов был посажен в арестное отделение за те бесчинства, вакханалии и преступления, которые им были совершены, я публично сказал командиру полка, что так и нужно было сделать с начальником, ибо невозможно терпеть безобразия, совершаемые в нашей армии... За что я был отправлен в госпиталь нервнобольных. За мою правду меня хотели объ-

явить сумасшедшим. Тогда мне пришлось переживать тяжелые, безрадостные минуты, и помню, как я был обрадован манифестом 17 октября, помню, как все встретили его как светлый праздник... 1906 год был очень тяжелым для меня. Не буду рассказывать о своей истории с генералом Широковым, в результате которой я очутился в Даниловской слободе. Когда возник «Союз русского народа», я объяснял всем значение его, и, когда было перехвачено секретное письмо «Союза русского народа», я прочел его казакам и объяснил истинное значение. Когда я был послан в Первую казачью дивизию под начальством генералов Самсонова и Вершинина, я переживал там страшно тяжелые минуты, никем не понятый, и после одного из столкновений со своим начальством я сказал ему, что он не человек, а зверь. Таким образом, где бы я ни был, всегда и во всяком месте совершал революционные поступки, дабы дискредитировать власть. Все, о чем я здесь говорил с целью показать...»

Вдруг за ужином открылось ужасное: Руська болен, находится в больнице, от него скрывали. Скрывали, скрывали! Уже шесть дней! Знал весь двор, и только он, отец, в неведении. Подлую конспирацию провалила Приходькина дочка, толстуха Зоя, прибежавшая с вытаращенными глазами: «Как дела у Русика? Я слышала, ему лучше?» Павел Евграфович обомлел, голос у него исчез, и, на секунду оцепенев, он ждал, что ответят сидевшие за столом.

Вера, ничуть не смутившись, объяснила: да, лучше, вчера дозвонились в больницу, положение удовлетворительное, но продержат не менее двух недель. Передавал всем привет.

— Кто дозвонился? Куда? — ахнул Павел Евграфович.

— Я,— сказала Валентина.— В Егорьевск.

— Что с Руськой? Почему ничего не знаю?

— Папа, зачем этот вздор? Как тебе не стыдно? — Вера, якобы возмущенная, махнула на Павла Евграфовича рукой.— Перестань, пожалуйста.

— Что с Руськой?! — закричал Павел Евграфович.

— Папа, ты с ума не сходи. Ты эти номера брось.

Вера грозила пальцем, Эрастович смотрел сердито. Все это, конечно, разыграли, не хотели при чужом чело-

веке выглядеть лгунами. И, продолжая игру, не желали ничего говорить! Он, чуть не плача и одновременно задыхаясь от ярости, требовал: немедленно объясните! Он действительно ничего не знает! Смотрели на него, как на глупца. Нет, как на человека конченого. Вера якобы мягко, якобы терпеливо пыталась внушить:

— Папа, ну как же так? Во вторник ты сидел вот здесь, мы вошли, разговаривали... Потом ты ушел к себе...

— Павел Евграфович, вы переутомились. С вашими мемуарами,—сказал Эрастович.— Вам надо передохнуть.

Павел Евграфович закрыл руками лицо.

— Бог ты мой, могу я узнать...

Заговорила свояченица:

— А ночью, вы знаете, услышала стук, испугалась, вхожу, он на кровати одетый, то есть в пижаме, и спит... Свет горит, папка на полу, и все бумажки рассыпаны...

Наконец дознался: Руська получил ожоги, слава богу, не слишком опасные. Работал он там, как бывший танкист, на тракторе. Трактор куда-то провалился. В прогоревший торф. Подробностей не знал никто, поехать туда сейчас же, что следовало сделать, почему-то не поехали. Толстуха Зоя предлагала якобы простосердечно:

— Ребята, давайте туда съезжу, а? В Егорьевск? Я сейчас свободна, у меня отпуск. Абсолютно не трудно, я с удовольствием...

И это при живой жене, при первой жене, и при сестре, и при сыновьях... Какая-то ерунда несусветная. Вера бубнила невнятное:

— Спасибо, Зоечка, сейчас как будто нужды особой вроде бы...

Валентина, сжимая надутые губы, отчего лицо получалось квадратным и злым — это выражение появлялось у нее, когда они с Руськой ссорились, давно уже не ссорились, все затухло,— молча гремела посудой, потом ушла. Его не касалось, что там кипело между женщинами. Но уж будьте любезны, когда случилась беда... Он почувствовал злобу против Валентины... Сводить счеты в такой момент!

— Я поеду... Дайте адрес... Поскорее! — Павел Евграфович, суетясь, поднимался из-за стола.

Все закричали. Набросились на него. Махали лицемерно руками. Он их почти не слышал, думая о Гале: хорошо, что не дожила. Старик поедет в больницу, потому что женщины, которые морочили сыну голову тридцать лет, не могут его поделить. Ах, бог ты мой, сам виноват! Сам, сам виноват, глупец, беспринципный человек. Всю жизнь — по воле собственного хотения. Вот и наказание — некому воды... Околевай, как собака, среди чужих... И одновременно жалость к сыну невероятной силы, до слез, стискивала Павла Евграфовича. И как могут сидеть спокойно под абажуром, пить чай? Валентина приносит варенье. Верочка выбирает без косточек, накладывает в розетку. Значит, в эту минуту не все равно — с косточками или без косточек? Они на него шикали и махали руками, как на курицу, залетевшую со двора на веранду.

Бормотал, задыхаясь, продираясь сквозь их руки, крики, испуг:

— Зачем вы едите... варенье?

— Витя! — кричала Вера.— Капли! У него на столе!

Она его уложила в комнате. Все ушли. Стало тихо. Держала его руку, считая пульс, и смотрела паническими глазами. Объясняла шепотом:

— Папочка, не волнуйся, ему уже лучше. Ты совершенно не беспокойся... Валя с ним говорила...

— Но как вы могли? Столько народу...

— А что можно сделать, если потребовал...— Еще тише: — Чтоб никто не приезжал. Понимаешь? Никто.. Валентина, конечно, обижена, Мюда ехать боится, я тоже не хочу...

Радостная догадка:

— Значит, он не один?

— Я не знаю... Я думаю... Мой брат — человек таинственный...

— Пустой малый! — Сделал движение пальцами, означавшее: всему конец! Но — отпустило.

Поздно вечером тихонько стучали: Графчик. Вошел почему-то на цыпочках, как входят к больному, и заговорил шепотом. Принес последний номер «За рубежом».

— Вас проведать, Павел Евграфович... И Руслану передать кое-что... Положительную эмоцию...

— Что такое?

— Как его состояние, во-первых?

И этот все знал! Павел Евграфович, помрачнев, опять

вспомнив злодейский заговор, ответил сухо: удовлетворительное. К Графчику Павел Евграфович относился доброжелательно, считал его человеком смышленым, начитанным, кроме того, учитель физкультуры проявлял знаки внимания, приносил журналы и книжки (у детей не допросишься), охотно вступал в беседы и слушал с интересом, задавая неглупые вопросы, но теперь Павел Евграфович насупился: закралось подозрение, что Графчик был в сговоре. Почему не принес «За рубежом» раньше?

Графчик, развязно присев на маленькую, детскую скамеечку, отчего было похоже, будто сидит на корточках — Павел Евграфович использовал скамеечку, чтобы зашнуровывать обувь,— рассказывал что-то юмористическое. О каком-то приятеле.

— И знаете, манера такая: «Хочешь положительную эмоцию? За пять рублей?» Или позвонит по телефону: «Могу дать положительную эмоцию. За рубль...» Ха-ха!

— Это что же, шутка?

— Оно и шутка, оно и... От рубля не откажется.

— Хорошие у вас приятели.

— Парень он недурной. Но он игрок, понимаете? Всю жизнь играет во все...

Стал рассказывать про игрока, неинтересное.

Павел Евграфович перебил:

— Что вы хотели сообщить, милый Анатолий Захарович? В качестве положительной эмоции.

— Да вот что: передайте Руслану, что его главный соперник в битве за дом, кажись, отпал. Кандауров.

— Как отпал?

— Отпал,— шепотом повторил Графчик и сделал значительное лицо: округлил глаза и губы вытянул трубочкой.— Так мне думается. Не до того ему. Серьезно болен.

— Да? — спросил Павел Евграфович. Не верилось, что молодые люди могут серьезно болеть. Графчик кивал. Лицо было значительное. И это не вязалось с тем, что он сидит на детской скамеечке, как будто на корточках.— Чем заболел?

— Чем-то плохим. Я ему зла не желаю. Дай бог ему выкарабкаться, но, по-моему, дело худо.

Павел Евграфович сидел на кровати, молчал, думал.

— А вы, Анатолий Захарович, случайно не игрок?

— Я? Ну что вы! — Графчик засмеялся и встал рыв-

ком со скамеечки.— Что вы, что вы! У меня семья, мне некогда. Впрочем, можете считать, что я вам ничего не рассказывал. В самом деле... Как глупо!

И он стремительно вдруг исчез. Павел Евграфович зачем-то поплелся к Полине. Было черно, как ночью, звезды едва мерцали сквозь мглу. Каждый день временами дымная мгла. Зачем к Полине? Что можно сказать, если дело худо? Полинин муж Колька умер много лет назад, она была еще молодая, лет пятидесяти, могла устроить свою жизнь, но не захотела. Галя ей советовала устроить. Причем немедля, терять время было нельзя. Наметила ей одного знакомого, врача по детским болезням. Полина отказалась. Дело вот в чем: люди, подобные Мигулину, однолюбы. Они могут любить что-нибудь одно: одну женщину, одну идею, одну революцию. Когда возникает выбор, когда начинают тянуть в разные стороны и почва колышется, необходима гибкость, такие люди ломаются. Разве Мигулин мог не полюбить ее! Объявили приговор — к расстрелу, всех командиров к расстрелу,— выслушали спокойно, только кто-то один, кажется, командир комендантской сотни, потерял сознание, упал, Мигулин не пошевелился во время суматохи, смотрел презрительно, как упавшего поднимают. Вдруг Ася из зала: «Сережа! Я с тобой!» И такой живой, пронзительный, могучий и воспламеняющий крик, что Мигулин в одно мгновение из окаменевшего серого старика превратился в счастливого человека: улыбался, глаза сверкали, он что-то шептал, кивал... Когда я вернулся на другой день с охоты — это было как глоток воды, я бы умер от нервного истощения! — Ася встретила меня у калитки дома. Сказала, что пробыла всю ночь у тюрьмы. Смотрела с ужасом. «Ты ходил на охоту?!» Я ходил, ходил, я ходил на охоту, ничего изменить нельзя, я ходил на охоту, потому что не мог видеть, не мог разговаривать... Оставалось тридцать два часа до исполнения приговора... Она закричала: «Ты ничего не знаешь! Послана телеграмма в Москву с ходатайством о помиловании!» Я ничего не знал. Знал только, что в последний день суда пришла телеграмма Реввоенсовета Республики с просьбой учесть поведение Мигулина на суде и вынести мягкий приговор. А ведь Мигулин закончил последнее слово так: «Видите, моя жизнь была крест, и, если нужно нести его на Голгофу, я понесу. И хотите, верьте, хотите, нет, я крикну: «Да здравствует социальная революция! Да здравствуют

коммуна и коммунисты!» Но телеграмма Реввоенсовета опоздала — приговор вынесен. Однако Янсон тем же вечером отправил телеграмму во ВЦИК с просьбой амнистировать Мигулина и мигулинцев... Вот этого я не знал... И, конечно, не знал, что поздно ночью пришел ответ из ВЦИКа...

Павел Евграфович для чего-то взял со стола папку со стенограммой. Шел в потемках через кусты к домику Полины и по дороге вдруг заметил: в руке-то папка! А зачем? Для чего ее к Полине тащить? Совсем старый спятил. Не помнит, что творит...

— Я к тебе в гости направился,— сказал Павел Евграфович,— и для какого-то черта папку с собой забрал...— И он в сердцах шлепнул папку на стол.

На верандочке за пустым столом сидели трое: Полина, ее дочь Зина и маленькая Аленушка. О чем-то разговаривали и сразу замолчали, когда Павел Евграфович появился. Зина ушла в дом. Полина сказала:

— Паша, дорогой! Будешь пить с нами чай? — Она придвинула к себе папку, развязала тесемки, полистала странички.— Твоя работа, очень интересно... Хочешь, чтоб я почитала?

— Да ничего я не хочу! Дай сюда. Это я просто забрал с собой ненароком. Из дома случайно унес, понимаешь?

— Понимаю, Паша. Я всегда тебе рада... Хочешь чаю?

Согласился. Было молчание. Он вспоминал: зачем сюда пришел? В такую поздноту? Ведь одиннадцатый час. Пришел за чем-то важным. Никак не вспоминалось. Нет, никак. Никак, никак не вспоминалось. Не мог же просто так, здорово живешь, прийти к людям ночью? Нет, не вспоминалось. Так бывало: возникает каверзная пустота и ничем, ничем, абсолютно ничем ее заполнить нельзя. От напряженных усилий вспомнить он внезапно ослаб, немного испугался, потому что от напряжения мог быть мозговой спазм, и решил перестать думать. Единственное, что помнилось: было что-то связанное с Мигулиным и с Асей. С тем, как Мигулин принял расстрел. Он принял расстрел спокойно, а помилования не выдержал. Янсон вспоминает. В своей книжке двадцать шестого года. Там вот что: надо было торопиться, надвигалось время приведения приговора в исполнение. Оставалось чуть больше суток. Ведь если опоздают с ответом из Москвы

хоть на полчаса по каким угодно причинам — техническим, метеорологическим,— конец! Помню давящее ожидание. Меня не допускали. Совещались впятером: только члены суда и Сыренко. Прежде чем обратиться во ВЦИК с просьбой о помиловании, решили потребовать у приговоренных честное слово... Какая наивность! Но было так, именно так. Все решалось под парами революционного клокотания. Янсон вспоминает: свидание с Мигулиным состоялось в канцелярии Балашовской тюрьмы, с остальными — в камере. За ночь Мигулин сильно постарел. Когда Янсон сказал, что будет ходатайствовать о помиловании, старик не выдержал и зарыдал. Янсон называет Мигулина стариком. Мигулину тогда сорок семь, Янсону двадцать восемь...

— Если б вы знали, дорогие мои,— сказал Павел Евграфович,— какое было облегчение! Я ликовал, все ликовали. А Янсон очень красочно описывает вот тут, я сейчас найду, это отдельно от стенограммы, я отдельно выписал из его книжки. Вот! Нашел. Вы хотите? Вам интересно? Нет, в самом деле интересно, или вы просто из вежливости?

Аленка кивала, Полина шептала как будто вполне искренне:

— Очень, очень. Паша, ей-богу, очень.

И он стал читать:

— «Старому солдату было легче проститься с жизнью, чем вернуться к ней. Когда мы подходили к камере остальных, то там прекратилось пение какой-то революционной песни. Мы вошли, кто-то из заключенных крикнул: «Встать! Смирно!» Люди повскакали с пола. Когда мы сообщили о цели нашего прихода, радостное возбуждение было велико. Возгласы «На Деникина!», «Да здравствует Советская власть!» заполнили камеру. Люди радовались возможности жить и бороться...» — Он прервался на мгновение, потому что вошла Зина, что-то сказала на ухо Алене, та сейчас же ушла, а Зина села на ее место.— Зиночка, тебе должно быть интересно. Ты любишь психологические переживания. Хочешь узнать, что испытывает человек, приговоренный к расстрелу? Я прочту из записей Мигулина. Это в другом месте. Он записывал уже в Москве, по памяти. Прочитать, или, может быть, поздно?

— Прочитайте, Павел Евграфович,— сказала Зина и опустила голову на руки.

Ему показалось, что читать, пожалуй, не стоит. Настроение не совсем подходящее. Да и час поздний. Но уж очень хотелось. Вдруг постучали в дверь с крыльца. Свояченица. Его разыскивают. Полина сейчас же воскликнула:

— Любочка, Любочка! Иди сюда!

Старухи стали шептаться. У него пропало желание читать потому, что свояченица — он знал это — была равнодушна к истории Мигулина. Он обратился к Зине:

— Зина, если хочешь, я прочитаю, а если нет, тогда в другой раз. Можно вообще не читать. Я ведь занес эту папку сюда совершенно случайно.

— Павел Евграфович, вы на меня не обращайте внимания. Я вся разбитая, я вообще не человек. Целый день по жаре — то в больницу, то в институт,— сказала Зина, продолжая сидеть, опустив голову на руки.— Читайте, пожалуйста.

Он поколебался.

— Ну хорошо, если ты просишь, я почитаю немного. Значит, так. Это записи, которые Мигулин сделал в Москве, в гостинице «Альгамбра», куда его привезли из Балашова. «После выслушанного приговора в просьбе собраться нам в одну камеру, чтобы провести последние часы вместе, отказано не было. Вот здесь-то, зная, что через несколько часов тебя расстреляют, через несколько часов тебя не будет, крайне поучительно наблюдать таких же, как ты, смертников, сравнивать их состояние со своим. Здесь человек помимо своей воли сказывается весь. Все попытки скрыть истинное состояние души бесполезны. Смерть, курносая смерть смотрит тебе в глаза, леденит душу и сердце, парализует волю и ум. Она уже обняла тебя своими костлявыми руками, но не душит сразу, а медленно сжимает в своих холодных объятиях... Некоторые и при такой обстановке умеют гордо смотреть ей в глаза, другие пытаются это показать, напрягая остаток духовных сил, но никто не хочет показать себя малодушным. И себя и нас старается, например, обмануть вдруг срывающийся с места наш товарищ, начинающий отделывать чечетку, дробно выстукивая каблуками по цементному полу. А лицо его неподвижно, глаза тусклы, и страшно заглянуть в них живому человеку. Но его ненадолго хватает... На полу лежит смертник. Он весь во власти ужаса. Сил нет у него бороться и сил нет без глубокой, полной отчаяния жалости смотреть на не-

го...» А ведь прекрасно пишет, черт! А? Правда хорошо? Стиль очень красивый, литературный. Мог бы и писателем стать.

— Павел Евграфович...— Зина смотрела странно, пугающе, глаза красные.— А я вам хочу сказать, между прочим: в нашей жизни, где нет войн, революций... тоже бывает...

— Что, что? — спросил Павел Евграфович.

— Мне, например, хочется иногда... чечетку.

Она поднялась со стула, руки раздвинула локтями в стороны, как цыганка, лицо ее затряслось. Полина проворно подошла к ней, обняла за плечи, увела. Свояченица шептала:

— Пойдем, пойдем, Паша. Надо идти. Пойдем...

— Постой! Я пришел...— Вдруг вспомнил: помочь Полине. Люди не доживают до старости, болеют, умирают, и помочь не может никто. Но помогать надо. Внезапно все разрушается. Но все равно надо. Красная луна вставала над соснами. И запах гари душил. Теперь они будут долго страдать, долго бороться, надеяться до последнего, и этот молодой, неприятный, который Полину не уважал и относился к ней, как к домработнице, начнет погружаться в свою погибель, как в топь, все глубже, все безвозвратней, пока макушка не исчезнет в свинцовой зыби.

Павел Евграфович сидел, прижимая папку к груди, и терпеливо ждал, когда женщины вернутся на веранду.

И однажды в конце августа как будто лопнула струна — жара прекратилась. Но не все дотянули благополучно до этого чудесного времени. Одни ужасно похудели, другие подорвали здоровье инфарктом, иные вовсе не дождались прохлады, но те, что остались живы, испытали необычайную бодрость и как бы наслаждение жизнью: они теперь иначе относились к городу, иначе относились к воде, иначе относились к солнцу, к деревьям, к дождю. Впрочем, эта пора наслаждения продолжалась недолго, дня два. А на третий день все забыли о недавних мучениях — чему помог зарядивший с утра мелкий, сеявший осеннюю скуку дождь — и стали заниматься делами. Валентина с Гариком переехали в город, надо было готовиться к школе, искать по магазинам форму, учебники, то да се. Мюда и Виктор тоже исчезли. Виктора послали

на картошку в колхоз. Верочка затеяла переклейку обоев в городской квартире, а Эрастович уехал в Кисловодск. Опустели дачи, затихли детские голоса. Когда Павел Евграфович шел в санаторий с судками, он не встречал на берегу людей, пляжи были пустынны, у причала теснились никому не нужные лодки. Слегка одичавшие собаки бегали по шоссе, хозяева их пропали. Павел Евграфович закончил письмо Гроздову из Майкопа. А Руслан гулял по участку с палочкой. У него был бюллетень до середины сентября. Руслан любил тишину и исчезновение людей — конец августа, начало сентября,— но в жизни этой сладости было так мало! Было раз в юности, потом как-то в середине пятидесятых, когда ушел с завода и еще не устроился никуда, и вот теперь. Он гулял по участку, где все так тихо дичало, и сохло, и ждало осени, и думал: можно начать сначала. Ничего страшного. Вот старик, он начинал много раз. Он только и делал, что начинал все сначала.

Руслан первый увидел черную «Волгу», которая вкатилась во двор, встала на повороте каменистой дорожки, и из машины вылезли три человека. Вылезши, стали закуривать и не спеша оглядываться по сторонам. Один держал красную папку. Руслан подошел, не особенно торопясь, и спросил, кого ищут. Те ответили, что никого не ищут. Разговаривая, они пошли в глубь участка. Тот, что нес красную папку, шел посередине, держал папку двумя руками сзади и слегка постукивал ею по спине. Руслану не понравилось, как он постукивает папкой по спине. Была какая-то нагловатость. Они шли медленно, прогулочным шагом и ничем не интересовались вокруг, разговаривали между собой. Как будто все им было известно.

Руслан подошел к черной «Волге», в которой сидел шофер в замшевой куртке, и спросил, откуда машина.

— А вы не знаете? — спросил шофер.

— Нет.

— Ну да!

— Не знаю.

— Машина из управления. Здесь пансионат будут строить. Для младшего персонала...

— А наши дома? — удивился Руслан. Вопрос был глуп. Он задал его только потому, что после жары, болезни, больницы как-то ослаб душой.

— Дома! — Шофер усмехнулся, покачав головой.

Выглянув из окошка, посмотрел на нищую деревянную дачу из потемневших бревен, где прошла вся Русланова жизнь, и опять усмехнулся, на этот раз несколько насильственно, как плохой шутке.— Дома...

Не понимают того, что времени не осталось. Никакого времени нет. Если бы меня спросили, что такое старость, я бы сказал: это время, когда времени нет. Потому что живем мы, дураки, неправильно, сорим временем, тратим его попусту, туда-сюда, на то на се, не соображая, какая это изумительная драгоценность, данная нам неспроста, а для того, чтобы мы выполнили что-то, достигли чего-то, а не так—пробулькать жизнь лягушками на болоте. Например, выполнить то, о чем сам мечтал, достигнуть того, чего сам хотел. А ведь одной малости не хватает — времени! Потому что порастрачено, пораскидано за годы, бог ты мой... Они говорят: куда ты, старый, поедешь? Погода скверная, дожди, холод, простудишься, схватишь воспаление легких. В твоем возрасте воспаление легких — конец. Подожди до весны, никуда твоя Ася не убежит, никуда Мигулин не денется. Подумаешь, спех! Государственная важность! А о таком не догадываются: сам-то я до весны никуда не денусь? Нету времени ждать, нету, нету, ни одного денечка не остается.

Стали меня с дачи сдергивать, чтобы под надзором держать: Верочка умоляла, Руслан на такси прилетел, свояченица притаскивалась. «Не понимаю, Павлуша, как может тут жить живой человек?» Сидит в пальто, зубами стучит от холода. А я прохладную температуру нарочно соблюдаю, не больше тринадцати градусов, потому что жить в холоде полезно, как и спать на жестком. «Павлуша, ты меня извини, конечно, но у тебя тут запах тяжелый. И это тоже, ты считаешь, полезно?» Закричал: «А старика жизни учить — полезно? Когда этой жизни — на донышке?» Кричать не надо. Они не виноваты. Не понимают. Свояченица расплакалась. Оставили в покое, и вот: на даче один, вокруг ни души, снег выпал, река стоит черная, незастылая, по берегам бело. Скамейки мокрые. Когда идем с Арапкой в санаторий за обедом — а идем теперь медленно, минут сорок в один конец,— отдыхаем стоя, сидеть на мокром неохота, и дышать трудно, воздух сырой. Идем по берегу и все поглядываем на шоссе, не едет ли Дуся-почтальонша на велосипеде. Жду

от Аси весточки. Когда? Написала, что в октябре ляжет в больницу на месяц ноги лечить, а как выйдет из больницы, даст знать, я к ней тотчас отправлюсь. Другого времени нет. Пускай в ненастье, в холод, теперь выбирать не приходится. Ах, упущено, упущено! Столько лет... А ведь только для того, может быть, и продлены дни, для того и спасен, чтобы из черепков собрать, как вазу, и вином наполнить, сладчайшим. Называется: истина. Все истина, разумеется, все годы, что волоклись, летели, давили, испытывали, все мои потери, труды, все турбины, траншеи, деревья в саду, ямы вырытые, люди вокруг, все истина, но есть облака, что кропят твой сад, и есть бури, гремящие над страной, обнимающие полмира. Вот завертело когда-то вихрем, кинуло в небеса, и никогда уж больше я в тех высотах не плавал. Высшая истина *там*! Мало нас, кто *там* побывал. А потом что ж? Все недосуг, недогляд, недобег... Молодость, жадность, непонимание, наслаждение минутой, то работа утягивала, семья, беды, то к чертям на кулички забрасывало, хотя и ненадолго, всего на два года, ни за что, ни про что, считалось, что повезло, то война, фронты, госпитали, то опять из последних сил, обыкновенно, как все... Вернулся живой и теперь живой... *Бог ты мой, но времени не было никогда!* Снег выпал рано, перед ноябрьскими, в тот год, когда Мигулина отправили из Балашова в Москву; осужден, помилован, разжалован, но оставлен жить. Все затевай сначала. Котел перевернулся, вари заново. Как я когда-то. В сороковом приехал в Москву из Свободного драный, больной. Как жить? Бог ты мой, жить, жить! Писарем на заводишке, где клепали какую-то ерунду. Через год в августе с ополченцами на войну. А он в ноябре девятнадцатого стал гражданским человеком: заведующий земельным отделом Донисполкома. Ростов еще не был взят, сидели в Саратове. Но через два месяца снова дали полк...

С Русланом приехали двое, мужчина и женщина. Хотят жилье снять на зиму. Он после инфаркта, воздух нужен, покой, а она будет за ним ухаживать. Оба довольно молодые, лет сорока. Роман Владимирович и Майя. Чаю? Компот санаторский? Нет, нет, спасибо, мы накоротке, только выясним подробности. На веранде холодно, сели в комнате.

Сразу догадался, что за птицы, сейчас начнут врать. Решил про себя: если начнут врать, сдавать им ничего

не нужно. Руслан в людях не разбирается, они его одурачат. Спрашиваю строго — и в точку:

— Вы муж и жена?

Переглянулись. Женщина улыбается.

— Скорее, нет, Павел Евграфович... Мы друзья. Коллеги по работе.

Улыбка у нее открытая, обольстительная и дающая понять. Красивая улыбка. Губы красивые. И женщина пикантная, пухленькая, лицо румяное, хотя не первой молодости. Романа Владимировича можно поздравить. Но дачу им сдавать не желаю. Женщина спрашивает разрешения закурить, я киваю хотя и согласительно, но сухо, она поняла — тонкая женщина, с чутьем! — и сразу:

— Ах, у вас, видимо, не курят? Извините, я потерплю.

Возражать не стал. Пускай терпит. Чем-то они мне не понравились.

— А ваша работа какая, если позволите?

— Мы научные сотрудники,— отвечает Роман Владимирович.— Занимаемся биологией. Я кандидат наук.

Потом сами на меня накидываются: как печи топить?! Не замерзаю ли? Газ в баллонах? Воды горячей нет? А как происходят водные процедуры? Туалет действует? Бреюсь каждый день? Не угнетает ли одиночество? Не мучит ли то, что называется «великой деревенской скукой»? Соседи есть? Собаки, вороны? Старуха по прозвищу Маркиза? Она живет в этом доме или в соседнем? В гости к ней захаживаете? И она к вам никогда? Что ж так? Не о чем говорить? А что вечерами? Телевизора у вас нет? Глаза не устают? Спите со снотворным? И вдруг все у меня переворачивается, и я догадываюсь: это совсем не то, что я думал! Совсем другое. Абсолютно не то. Догадываюсь. Глупые дети, становится их жаль, как всегда. Руслан сидит как в воду опущенный, на себя непохож. Как будто от этих людей зависит. Как будто не он их сюда, а они его привезли. А вдруг правда зависит?

Роман Владимирович буравит пристально-улыбчиво сквозь толстые очки и все время указательным пальцем свое лицо, смуглое, арабское, теребит: то в ухе сверлит и что-то, пальцами скатав, на пол сбрасывает, то в ноздрю залезет, то губу трет.

— Вы бы рассказали, Павел Евграфович, коли уж нас случай свел...— Сунул палец в рот и ногтем в зубе колупается.— Хоть немного о Мигулине... Вы о нем материал

собираете, как я слышал... Интереснейшая фигура! Если есть минутка свободная...

— Зачем вам?

— Слыхал о нем, читал кое-что. Было б прекрасно хоть немного...

Врет. Не слыхал, не читал, а с Руськиных слов.

— О Мигулине могу рассказывать долго. Но сын мой к такой беседе не располагает. Что с вами, Руслан Павлович? Вы белены объелись? Или человека убили?

— Рассказывай! — кивает мрачно.— Просят тебя...

Нет, язык не поворачивается, неохота, ни к чему это им. Они для другого приехали. Бубню что-то через силу, из вежливости, они слушают вроде бы внимательно, Роман Владимирович головой покачивает, приговаривает «так, так», а женщина подошла к стене и разглядывает портрет Гали. Летом после войны на речке. Долго глядит на портрет, не спрашивая ничего. Тогда, прервав рассказ, говорю:

— Хотите спросить о моей покойной жене? Спрашивайте, пожалуйста. Ведь вам нужно спросить.

Нарочно нажимаю на «нужно». Но те делают вид, что не заметили. Роман Владимирович вдруг:

— Ваша покойная жена тоже как-то связана была с Мигулиным?

Тут я его насквозь узрел. Никаких сомнений не осталось.

— Нет,— говорю,— ошибаетесь, дорогой мой.

— А вы сами, Павел Евграфович, не чувствуете ли,— указательным пальцем подпер очки на переносице, так что глаза будто выпрыгнули вперед,— какую-то, что ли, неосознанную, ничтожную, может быть, вину перед памятью Мигулина?

— Вину? — переспрашиваю. И чую, он меня опрокинул. В самое сердце холод вонзил. Зачем же спрашивает, негодяй? Вся сила из меня вышла, и я молчу.

Он извиняется, вскочил, руки к груди прижимает, побежал в другую комнату, чайник принес зачем-то старый, распаявшийся.

— Нет, милый доктор. Перед ним вины своей не чувствую. А перед всеми остальными — и перед вами — да, виноват...

— Чем виноваты, Павел Евграфович?

Объяснил как мог: тем, что истиной не делился. Хоронил для себя. А истина, как мне кажется, дорогой кан-

дидат медицинских наук, ведь только тогда драгоценность, когда для всех. Если же только у тебя одного, под подушкой, как золото у Шейлока, тогда — тьфу, не стоит плевка. Вот почему мучаюсь на старости лет, ибо времени не остается. Не знаю, понял ли что-нибудь. Скорей всего, нет, хотя поддакивал «так, так», но во взоре, пристально-улыбчивом, сквозь очки, тот же холод. Скорей всего, сделал вывод, что опасения подтверждаются: старик несет околесную. Маниакально-депрессивный психоз на почве неясного чувства вины. Осложнено тоскою вдовца. Бедные ребята! Я им сочувствую, могу оценить тревогу, перепуг, то, что они кинулись к этим умникам, притворившимся дачниками, но все равно понять не могут.

— Ты не можешь понять,— шепчу, отозвав Руслана в соседнюю комнату и затворив дверь,— потому, что мы разные существа. Сорок лет назад, когда тебе было одиннадцать, а мне тридцать три, мы были ближе друг к другу, чем теперь. Потому что оставалось много времени. А теперь у тебя есть, у меня же нет ничего...

— Отец! — Он схватил мои руки, сжал их с силой.— Мы волнуемся, мы не хотим, чтоб ты жил один, чтобы ты уезжал... Ведь ты у нас замечательный... Таких людей, как ты...

Он прижимает меня к себе, как будто я мальчик в его руках, большой ладонью поглаживает мою голову, мою тощую шею, мою бессильную спину. Как я люблю его!

— Я вам прощаю,— говорю я.— Весь этот бред с докторами...

— Прости, отец! Мы хотели... Это друзья...

— Бог с вами. Все равно не можете понять.

— Не можем, отец! Не можем, не можем... Ты прав...

— Конечно, ведь н е т ж е в р е м е н и.

— Поэтому как хочешь... живи...

И я вижу на его глазах слезы. Через несколько дней он провожает меня на вокзал и сажает в вагон электрички, к окну. Я давно не ездил по железной дороге. Интересно смотреть на долго тянущиеся многоэтажные пригородные дома, они восхищают и пугают одновременно (где взять людей для такого множества домов?), на мокрые асфальтовые дороги, на хвосты автомобилей перед шлагбаумами, металлическое сверкание, свет фар среди бела дня, цветные зонты, на детей, бегущих под дождем с портфелями на голове, на дачные веранды, заборы, черноту деревьев, туманные луга, белую собачку, сидя-

щую на вершине песчаной горы; и снова дома, дома, дома, бело-серо-блочно-громадное, не имеющее названия, небывалое, грозное, уходящее за горизонт. По вагону идет продавщица мороженого, и я покупаю снарядик в скользкой вафельной оболочке. Не так уж хочется есть мороженое, но все вокруг покупают снарядики и грызут, как мы когда-то грызли морковь на даче в Сиверской, воровали с чухонского огорода. Мама однажды сильно побила. Я возвращаюсь в Сиверскую. Темные сырые заборы, сумеречное небо — ноябрьский день или белая июньская ночь? Я возвращаюсь пригородным поездом. В Питере все смутно, тревожно, каждую ночь стрельба, мама запрещает мне ехать вечерним поездом одному, недавно ограбили целый вагон. «Если задержался в городе, лучше переночуй дома и приезжай утром». Но нет терпения ждать! Я мечтаю хотя бы ночью, летними потемками пробежать мимо дачи, где на втором этаже окно Асиной комнаты всегда полуоткрыто, колеблется, как живое. Белое небо горит в стекле. Ася спит и не знает, что я бегу по песчаной дороге мимо. Но завтра я с нею увижусь утром. Вот почему не могу оставаться в Питере. Вафельный снарядик несъедобен. По вкусу он напоминает ледышки, которые я любил когда-то, в незапамятные времена, до Сиверской. В полдень автобус привозит меня в неизвестный город.

Какие-то люди ведут меня по тротуару, уложенному бетонными плитами. В зазорах между плитами чернеет хвоя. Ведут под руку, будто я беспомощный старец, могу на ровном месте упасть. Плиты мокрые, кое-где нерастаявший снег, ледяная корка, можно поскользнуться, но я иду осторожно. Не надо меня держать. Есть старики куда хуже, я еще ничего. «Вон там!» — говорит женщина, показывая на высокий дом среди сосен. Башня в двенадцать этажей. Женщина исчезает в дверях магазина. Оттуда выходят люди, неся стеклянные пивные кружки. Некоторые несут по три, по четыре. Один сделал из кружек гирлянду и повесил на шею. Удивительно вот что — я не испытываю никакого волнения! Мне просто хочется ее скорей увидеть, как можно скорее, для того чтобы *что-то узнать*. Человек живет вожделением, когда-то желал любви, удач, громадного дела, благополучия близких, теперь ничего, кроме единственного — *узнать*. Последняя страсть. Бог ты мой, что же у Аси *узнать*? О чем спросить?

В лифте пахнет, как в москательной лавке. На площадке двенадцатого этажа стою и смотрю вниз. Сосны, крыши домов, пегими пятнами снег, слюдяным изгибом блестит река, за которой хвойная даль, синева. Есть такие картины, написанные древними красками, их находят в подземных гробницах, в склепах, стоит к ним прикоснуться, и они рассыпаются. Но сердце колотится не от волнения, не от страха, что притронусь и рассыплются, а от предчувствия того, что предстоит узнать.

Меня по ошибке принимают за доктора. Минутная чепуха: пройдите сюда, вот полотенце, вырывают из рук портфель, мою драгоценность, и куда-то хотят отнести, но я не даю. Я говорю: «Дайте воды. Мне надо принять лекарство». И в разгар суматохи маленькая, в седых космочках старушка шасть из дверей, вся клонящаяся вперед, как бы гнутая навстречу, сухонькая, как кикимора, я вижу зеленоватое темя, мятую кожу, и в глазах — голубых, знакомых, Асиных — сияет ужас. Вокруг счастливое щебетание, плеск голосов, легкие руки, как ветви, обнимают меня. И сразу обо всем, о всех временах, о пятидесяти пяти годах. И о главном, о чем нужно до зарезу узнать. Вот что: зачем он выступил тогда на фронт? В августе девятнадцатого. Она должна знать. Никто в целом мире не знает, никого не осталось, кроме нее. Мумиевидная старушка глядит на меня сияющими глазами и странно моргает, подмигивает. «Тебе это важно?» — «О, да! Очень, очень!» — «Я понимаю, да, да...» Она кивает сочувственно, соболезнующе. И продолжает делать знаки глазами, ее губы складываются в таинственную полуулыбку. «Павел, я тебя так хорошо помню, дорогой мой...»

«Мне нужно знать истину!»

«Понимаю, да, да,— кивает старушка.— Понимаю, Павел. Ты не устал? Не хочешь прилечь? Я написала все, что могла. Больше я ничего не знаю». Входит молодая женщина и ставит на стол три стеклянные пивные кружки. Потом одну кружку водружает на буфет, наливает в нее воду и ставит в воду еловую ветку. Любуясь, оглядывает свою работу. Все время, пока женщина занимается кружкой и веткой, старушка делает мне знаки глазами. Постепенно старушка превращается в Асю. Я не замечаю седых космочек, морщинистых щек, вижу только издавна знакомые, скрытно и лукаво мигающие голубые глаза. Как тогда что-то сообщала втайне от взрослых, на Пят-

надцатой линии. Женщина, шлепая тапками, уходит, и Ася шепчет в необыкновенном волнении: «Она не должна знать! Я потом объясню. Она догадывается, но мы не дадим ей козыри в руки».

В комнате Аси — угловой, маленькой, светлой, она мне нравится, я рад за Асю — на столе пишущая машинка и повсюду, даже на кровати, разбросаны бумага, копирка. Ася всю жизнь работает машинисткой. С тех пор, с девятнадцатого, когда научилась стучать на «ундервуде» в штабе Мигулина... Разумеется, на пенсии, уже четырнадцать лет. Но без работы не сидит. Стучит дома. А как можно без работы? Разве это жизнь? Во-первых, не хочет быть тунеядкой, во-вторых — иждивенкой. Ого, зависеть от дорогих внуков, от невестки? Боже избави! Нет уж, у нее всегда будет своя копейка, чтобы быть независимой и чтобы им подкидывать. Они безалаберные, постоянно без денег... Нет, невестка — это особь статья, она сама по себе, с Людмилой даже столоваться не хочет и, кажется, наметила свою жизнь устраивать. Это пускай! Осуждать нельзя, она еще не стара...

«Так, подвяла чуть-чуть, с одного бока,— Ася хихикнула по-молодому, по лицу разбегаются морщинки,— как яблочко лежалое. Да желающие найдутся, подберут. Она женщина с положением. В администрации института. И, говорят, еще дальше шагнет. Вот Борька ничего не умел...— Шепчет: — Она оттого такая опасливая, понимаешь? Оттого знать не знает и слышать не хочет про Сергея Кирилловича... Боится, что повредит... Женщина ух какая расчетливая...»

Молчок, молчок! Ася прижимает палец к губам и опять играет глазами, как в детстве. Теперь вижу недостаток комнаты — почему-то нет двери. Вместо двери портьера. Все слышно. В соседней комнате ходит, шлепая, невестка, слышен ее разговор с сыном. Когда шлепанье раздается вблизи портьеры, Ася понижает голос, едва шепчет — недоступно для моего слуха, я переспрашиваю, как всегда, раздражаясь — или же вдруг начинает говорить преувеличенно громко:

«Удар у меня был страшный! Я пятый экземпляр пробивала. А теперь третий еле виден, сил-то нет. А раньше колотила невероятно. Мне покойный муж говорил: «Тебе на кузне работать, а не машинисткой...»

Неужели эту смешную кикимору я держу на руках, едва не падая от отчаяния, ее молодое, тяжелое — белый

живот, белые ноги, запах пота и крови, острый, как скипидар, запах девятнадцатого года, и он вырывает у меня из рук, как будто свою добычу; потом в комнате, не зажигая света, в Балашове, когда душила тоска и чужая любовь и то же самое недоумение: «Зачем он двинулся на фронт? Что за всем этим крылось?» И еще потом бритая, тифозная голова, тончайшая шея, страдание в глазах, злоба ее матери, тогда казалось — после убийства Шигонцева,— что теперь конец, убит не Шигонцев, а Мигулин, зарублен в балке ночью, видели, как Шигонцев на лошади светлой масти и с ним неизвестный на темной выехали со двора штаба и поскакали в сторону хутора, Шигонцев вез боевой приказ, кроме того, печати и шифр, ординарец был ранен, дали кого-то в штабе. Мигулин этого черта больного, яростного, Шигонцева терпеть не мог из-за старых дел, из-за Стального отряда, присылать его комиссаром глупость, но кто-то делал нарочно — недоверие тлело, норовили захомутать, обуздать, хотя полностью был оправдан, работал в земельном отделе Донисполкома, потом полк, бригада, смелые действия на юге, опять набирал силу, слегка затерло на Маныче, припозднился, затыркался в Новочеркасске, начался ледоход, переправы губительные, и вот нарочно шлют Шигонцева, железного дурака, непременно желавшего подчинить Мигулина революционной воле, которую, он мнил, олицетворял собственной персоной, слепым, горячечным взором, доигрался, дорвался, зарубили ночью, прострелили странную голову, похожую на плохо испеченный хлеб, лошадь прибрела утром без седока, никогда не узнать имен, это пропало, опустилось на дно — нет, не думайте, что все непременно всплывает на свет божий, кое-что исчезает, до убийц не дотянулись, не доныряли, но убить Мигулина не удается, комиссия от Ревтрибунала фронта не находит улик, опять он на коне, в войсках Фрунзе вместе с Блюхером и Буденным громит Врангеля. Перекоп, станция Воинка, Джанкой, почетное оружие и орден Красного Знамени, и вдруг зимою в холодной комнате при свете керосинки читаю в газете три строчки о том, что арестован бывший комкор за участие в контрреволюционном заговоре, февраль двадцать первого, голодный Ростов, я лечусь, ковыляю, мучаюсь, всех растерял, хожу на службу в Реквизиционную комиссию, бог ты мой, хорошо помню эту зиму, бумажки, жалобы, стрельба, турецкий подданный Кифаров, мануфактурщики, плачущие ста-

рухи, мы, мелкие торговцы со столиков на бульваре, смеем заявить, что мы не спекулянты и не скрыватели товаров, а что купили, то у нас на столе, между тем пришел агент и переписал у нас для реквизиции суровую нитку, и ввиду того, что я прибыл с фронта и сейчас служу комиссаром службы связи, прошу выдать ордер на одну кровать с правом реквизиции таковой, так как кровать принадлежала артисту, который убежал с белой бандой, бросаю просителей, заявителей, инвалидов, жалких людей, несчастных сирот, честных тружеников, благожелателей советской власти, мчусь в станицу Михайлинскую, где арестован комкор, на второй день там, забрать Асю, теперь или никогда, черныш в дубленом тулупе, с маузером в желтой коробке встречает на крыльце, щупает белыми глазами, тянет руку за документом, потом говорит: «Взята вместе с ним, по групповому делу. А ты кто ей будешь?» — не помню, что отвечаю, может быть, «друг», может быть, «брат», а может, «никто», и на этом конец, и все, и навсегда, на жизнь, обледенелое крыльцо, красноармеец в тулупе, я сажусь в снег, остальное неинтересно, разве эта сухенькая, гнутая старушонка — она?

Провел два дня в родной станице. Всего два дня! По дороге в Москву. Колебался: заезжать или нет? И друзья отговаривали, и она не хотела ужасно. Нет, не потому, что там родные первой жены, она не боялась, а вот предчувствие. Такое муторное, такая вдруг тоска, что всю ночь прорыдала неостановимо. Он испугался: «Да что с тобой?» Она, конечно, объяснить не могла. Сама себя корила: ну что, дура, изводишься? Что с ним может случиться, с героем войны? Только что награжден орденом. А случилось то, что с ним случалось всегда: не вытерпел, чтобы не влезть в драку, не встать на чью-то защиту. Непременно ему кого-то оборонять, а кого-то бить по морде. В ту пору — в феврале двадцать первого — казаки волновались из-за продразверстки. Опять закипали восстания. В округе буянил какой-то Вакулин, какие-то вакулинцы нагоняли страху, и этот Вакулин, бывший казак мигулинской дивизии, пустил слух, будто Мигулин вернулся на Дон, чтобы пристать к восставшим. А Мигулин спокойно и мирно, хотя с тяжелым сердцем, направлялся в Москву получать почетную должность: главного инспектора кавалерии Красной Армии. Нужна ему эта

должность! Опять то же — с Дона подальше. Возможно, и не Вакулин распустил слухи, а кто-то иной. Первый день — разговоры в крик с казаками, жалобы, слезы баб, рассказы о продотрядчиках. Мигулин чуял за собой силу и, никого не боясь, клял местных деятелей и грозил: «Приеду в Москву и в первую очередь пойду к Ленину, расскажу о ваших злодействах». Деятели перетрусили, подсунули к нему провокатора, некоего Скобиненко. А он, как видно, давно ходил по следам Сергея Кирилловича. Рожа этого негодяя как сейчас перед взором: губастая сволочь, пухлощекий такой, курчавый. Что Мигулин не кричал в гневе — а кричать мог бог знает что, не знал удержу! — все Скобиненко запоминал, записывал. Да что особенного? То, что вскоре было всеми признано и к чему пришли: заменить продразверстку продналогом. Ну и на рассвете третьего дня решились — окружили хату, стучат прикладами в дверь.

«Ася, одно мне неясно, и об одном спрошу: куда он двигался в августе девятнадцатого? И чего хотел?» Молчит старушка, кивает задумчиво, припоминая. Дрожат старушкины веки, как мотыльковые, сохлые крылышки, и прикрывают выцветшие, голубые... После молчания, все вспомнив, говорит: «Отвечу тебе — никого я так не любила в своей долгой, утомительной жизни...»

А через год после смерти старика появился Игорь Вячеславович, аспирант университета. Он писал диссертацию о Мигулине. Когда Павел Евграфович был жив, аспирант с ним переписывался, даже звонил из Ростова, а теперь мечтал получить воспоминания и все документы, собранные стариком. Руслан ему отдал. Игорь Вячеславович понравился Руслану. Они сидели до четырех утра, пили водку, разговаривали о революции, о России, о большевиках, о добровольцах, о чекистах, о генерале Корнилове, о маркизе де Кюстине, о казаках, о Петре Великом, о царе Иване, о том, что есть истина, о любви к народу, о том, что Мигулин своей судьбы не избег, заговора не было, погиб понапрасну, говорили также о нефти и льне, о видах на урожай, а когда на другой день вышли на улицу — Игорь Вячеславович торопился на вокзал,— обрушился внезапный ливень с холодом, с градом, побе-

жали со стоянки такси прочь, спрятались под аркой дома, и Руслан, мрачный с похмелья, думал: истина в том, что Валентина ушла к матери, другой женщины нет, третья женщина не подает вестей, пиджак под дождем превратился в тряпку...

Игорь Вячеславович, костлявый юноша в тесном провинциальном пиджачке, в очках, залепленных дождем, думал вот что: «Истина в том, что добрейший Павел Евграфович в двадцать первом на вопрос следователя, допускает ли он возможность участия Мигулина в контрреволюционном восстании, ответил искренне: «Допускаю», но, конечно, забыл об этом, ничего удивительного, тогда так думали все или почти все, бывают времена, когда истина и вера сплавляются нерасторжимо, слитком, трудно разобраться, где что, но мы разберемся». Вслух он сказал:

— Кажется, я опоздал на поезд...

Дождь лил стеной. Пахло озоном. Две девочки, накрывшись прозрачной клеенкой, бежали по асфальту босиком.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Повесть

Посвящаю Алле

И опять среди ночи проснулась, как просыпалась теперь каждую ночь, будто кто-то привычно и злобно будил ее толчком: думай, думай, старайся понять! Она не могла. Ни на что, кроме самомучительства, не было способно ее существо. Н о т о, ч т о б у д и л о, требовало упорно: старайся понять, должен быть смысл, должны быть виновники, всегда виноваты близкие, жить дальше невозможно, умереть самой. Вот только узнать: в чем она виновата? И еще другое, тайное и стыдное: неужели на этом все кончилось? «Какая дура, как я могу думать о смерти, когда у меня дочь».

Однако она легко думала о смерти, как о чем-то неприятном, но неизбежном, что следует пережить, как о том, например, что надо лечь в клинику на операцию. Мысли о смерти были гораздо легче памяти. Та доставляла боль, а эти ничего, кроме мимолетной задумчивости. Вот оно, начинается: он приходил подвыпив после получки в музее — когда-то давно — обыкновенно из «Севана», рядом с музеем, или же Федоров затаскивал его к себе, засиживались там, и всегда сразу ложился, не мешкая ни минуты, и засыпал мгновенно. Но обязательно просыпался ночью, часа в три, в четыре, как она теперь. Мешал ей спать, шаркал на кухню за водой или за каким-нибудь питьем из холодильника, она сердилась, ругала его сквозь сон. В те минуты, когда будил, она его ненавидела: «Какой же ты эгоист!»

А он, бывало, скрывал подпитие, держался находчиво и хитро, был очень ловкий актер, и она не замечала ни запаха, ни покрасневших глаз, верила его словам: «Устал как собака», жалела его, стелила поскорей постель, он бухался под одеяло и начинал храпеть, но ночью непременно выдавал себя, просыпаясь задолго до утра. Теперь с нею похожее. Ее алкоголем были память и боль, она скрывала днем, никто не должен был замечать — ни на работе, ни дома, ни Иринка, ни свекровь, уж тем более ни свекровь, потому что, если бы замечала, боль бы уси-

лилась, и все свои силы днем она употребляла на скрывание, но на ночные часы ее не хватало.

А иногда он проснется ночью без всякого подпития — просто так, неизвестно отчего. Это уж было вовсе блажью. Ведь не старик он. Бессонница бывает у стариков. И она раздражалась, потому что спала чутко и просыпалась, как только он начинал вздыхать, ворочаться и в особенности смотреть на часы — он брал часы с крышки ящика для постельного белья, чтобы поднести их к глазам, и всегда звякал металлической пряжкой о ящик. Из-за этого звяканья было много разговоров. Она очень сердилась. Это было так глупо. Он старался, бедный, манипулировать с часами бесшумно, но почему-то ничего не получалось: обязательно хоть чем-то, хотя бы концом маленького металлического хоботка, задевал за ящик — и раздавался звякающий звук, очень ясный в ночной тишине, она вздрагивала, потому что просыпалась раньше (как только он принимался вздыхать), и, замерев, со сжавшимся сердцем ждала звяканья.

Свекровь продолжала жить с нею в одной квартире. Куда ей было деться?

Эта женщина твердо считала, что в смерти сына, умершего в ноябре прошлого года в возрасте сорока двух лет от сердечного приступа, виновата жена. Жить вместе было трудно, хотели бы разъехаться и расстаться навсегда, но удерживало вот что: старуха была одинока и, расставшись с внучкой, шестнадцатилетней Иринкой, обрекала себя на умирание среди чужих людей (ее сестра и племянница не очень-то звали ее к себе, да и Александра Прокофьевна жить бы с ними не согласилась), а кроме того, Ольга Васильевна должна была считаться с дочерью, которая бабку любила и без бабки оказалась бы совсем без призора. Все это затянулось таким каменным, неразъемным узлом, что выхода, казалось, тут не было: просыпайся среди ночи и ломай в отчаянии голову, а днем уходи из дому, убегай, исчезай. В командировки она теперь рвалась как могла чаще. Понимала, что неправильно, что слабость, что Иринка нуждается в ней сейчас гораздо больше, чем раньше,— и она нуждалась в Иринке и в поездках истерзывалась тоской по дочери, торопилась вернуться, каждый вечер по телефону наговаривала на пять рублей, а вернувшись, обнаруживала, что дочка прекрасно жила без нее, увлеченная своими делишками, и это несколько успокаивало, хотя и прибавля-

ло боли, и опять тянулась уехать, спастись, наперед зная, что спасенья не будет. Ах, как бы она жалела, как бы ценила старуху, если бы та жила где-нибудь далеко! Но в этих комнатках, в этом коридорчике, где прожитые годы стояли тесно, один к одному впритык, открыто и без стеснения, как стоит стоптанная домашняя обувь в деревянном ящике под вешалкой, сколоченном Сережей, здесь, в этой тесноте и гуще, не было места для жалости. Свекровь могла сказать: «Помнится, вы такие крендельки раньше не покупали. Где это вы брали, на Кировской?» Одна фраза вмиг уничтожала всю жалость, копившуюся по крупицам. Значило: его крендельками не баловали, а нынче, для себя, стали покупать. И такая мура, такая ничтожнейшая, смеха достойная глупость ранила, как удар железом. Потому что на самом деле — злобность, пытка.

Подобное кренделькам — пыточное — вышло и с телевизором. Давно, еще, при Сереже, хотели купить новый, большой вместо старенького, с допотопной линзой, и деньги откладывали. Ольга Васильевна часто раздражалась,— может, и не следовало, но, боже мой, что ж теперь делать,— раздражалась напрасно, несправедливо, никак не могла перебороть себя, потому что, по совести говоря, были причины, теперь эти воспоминания тоже пытка,— оттого, что мог часами, забыв обо всем, смотреть любую спортивную дребедень. Заваливался в зеленое кресло, ногу на ногу, сигарету в зубы, круглую пепельницу с рыбкой ставил рядом на пол — и как приклеенный, не допросишься, не докричишься. Но почему все подряд? Неужели все так уж одинаково интересно? Я отдыхаю! Имею я право на отдых, в конце концов? Гнев был слегка наигран: все обязаны знать, что он чудовищно устает на работе.

Он действительно уставал, кроме того, были неприятности. Но ведь они у всех. У него не хватало выдержки. И еще: он скрывал, скрывал, многое обнаружилось позже. Она о своих неприятностях рассказывала и этим облегчала себя, а он скрывал, стыдился своих неудач. И тогда, перед телевизором, жаловался полуискренне-полудурачась:

— Господа, мои нервные клетки нуждаются в отдыхе. Собаки едят траву, интеллигенция слушает музыку, а я смотрю спорт — это мое лечение, мой бром, мои «ессентуки», черт бы побрал вашу непонятливость, господа...

Обыкновенное шутовство, но Александра Прокофьевна честно вставала на защиту сына. Иногда, чтобы поддержать его, садилась рядом в кресло и смотрела хоккей или волейбол, все равно что, ей-то уж было еще более все равно, и перебрасывалась с сыном замечаниями, от которых Ольга Васильевна едва не прыскала со смеху. Бывало, он скрытно и тонко,— но так, что Ольга Васильевна понимала,— подшучивал в этих беседах у телевизора над Александрой Прокофьевной, но старуха с упорством делала вид, будто спорт ее крайне интересует. Ах, да, лет сорок или тридцать назад она была завзятой туристкой! Еще недавно наряжалась в древнейшие штаны цвета хаки, немыслимую куртку эпохи военного коммунизма, закидывала за спину рюкзачок, пригодный для сбора утиля, и отправлялась куда-то на электричке совершенно одна. Сережа относился к этому спокойно. Другим он не разрешал шутить над бабкой и даже улыбаться молча за ее спиной. Кажется, она посещала места, по которым ходила когда-то давно с мужем, Сережиным отцом, профессором математики, страстным ходоком, туристом и фотографом. Вид у свекрови в туристском одеянии времен наркома Крыленко был трагикомический. Даже Ольгу Васильевну коробило, а Иринка просто страдала: над бабушкой потешались местные дуры, охранительницы подъезда. Сережин отец в сорок первом пошел добровольцем в ополчение и осенью погиб под Москвой. Старуху с ее печальными чудачествами можно было понять, но почему же ее-то, Ольгу Васильевну, не понимали? Почему ее горя не видели? Никакой силой нельзя было заставить свекровь, женщину неглупую, с юридическим образованием, признать право Ольги Васильевны на страдание.

— А конечно, покупайте телевизор, покупайте, не задумывайтесь! — говорила она, когда Ольга Васильевна сглупу решила с нею советоваться.

Очень уж просила большой телевизор Иринка. Ольге Васильевне было все равно, но тут в ближайший универмаг, в соседний дом, куда Иринка любила бегать за всякой ерундой, привезли телевизоры очень хорошей марки, которые бывали редко, и нужно было решать.

— Я вам говорю: покупайте! Зачем вы будете отказывать себе в удовольствии?

Ольга Васильевна сказала, что ей не до удовольствий.

— Я понимаю, но, с другой стороны, вы же не собираетесь заточить себя в монастырь.

— Нет, в монастырь не хочу, это правда.

Теперь Ольга Васильевна нажала нарочно, чтобы старухе стало больно,— ведь и та хотела доставить ей боль, говоря об удовольствии.

— Так что не мучайтесь, снимайте денежки, Сережа на это и откладывал, то была его воля...— На плоском скуластеньком, как у старой татарки, лице Александры Прокофьевны стыла любезная улыбочка, а глаза свекрови — маленькие, прозрачно-голубые щелочки, Сережины,— смотрели холодно, без пощады.

Ожесточившись от этих укусов, Ольга Васильевна решила телевизора не покупать старухе назло. Накричала на Иринку, та ревела. Но потом, ожесточившись еще сильней, Ольга Васильевна решила наоборот — и купила. Свекровь за четыре месяца не смотрела телевизор ни разу. Говорила, что бережет глаза и боится излучений, но, кроме того, тут была и демонстрация. Кто-то из знакомых успокаивал: обживетесь, обтерпитесь, одно у вас горе, одна девочка, которую любите. Ольга Васильевна тоже думала, что как-то приладятся, но до одного случая, когда поняла, что нет, никогда.

Было в январе, двух месяцев не прошло, и боль давила непереносная. Вот уж когда жить не хотелось. Ночью, промаявшись без сна, Ольга Васильевна встала, пошла на кухню и там давилась слезами, пила то валокордин, то заварку из чайника холодную. Вдруг услышала: Александра Прокофьевна шлепает на кухню. Тоже не спалось. И это шлепанье Ольгу Васильевну пронзило, потому что — знакомое, Сережа так же шлепал в этих же тапочках без задников, старуха зачем-то их себе взяла и в них ходила. Она и одеяло его верблюжье зеленое себе забрала. И показалось Ольге Васильевне, будто Сережа идет. Придет на кухню, когда все трое там, остановится в дверях в газетном колпаке, руку поднимет и скажет: «Приветствую тебя, мой бедный народ!» Иринка, конечно, покатится со смеху. Он все пытался объединять, сближать хотя бы на минуту, хотя бы шутками, дурачеством. И вот нахлынуло внезапно от этого шлепанья, и не смогла удержаться, зарыдала громко, это было непростительно и ужасно, потому что слез не должен видеть никто. Александра Прокофьевна вошла — в рубашке, седые волосы распущены космами, лицо желтое, недоволь-

нос,— поглядела на Ольгу Васильевну, подошла к буфету, взяла чашку и налила в нее воду из чайника. Нет, не дала воду Ольге Васильевне, вода была нужна ей самой. Она как будто не видела и не слышала рыданий Ольги Васильевны и обычным своим ворчливым голосом спросила:

— Где у нас сода?

Ольга Васильевна, не ответив, вышла из кухни.

Этого вопроса насчет соды, невидящих глаз — не забыть. Потому что вдруг глянуло явственно то, что днем скрыто. Ночью обнажается истинное. Ольга Васильевна плакала, а старуха смотрела с ненавистью. Самые горькие разговоры бывали ночью. Он сказал однажды ночью, что, если бы не Иринка, он бы с нею, с Ольгой Васильевной, расстался, и это показалось ей такой смертоубийственной правдой, что едва дожила до рассвета, а днем он острил, городил чепуху, ничего не помнил, и ночной разговор схлынул бесследно, как кошмар. Но спустя несколько месяцев опять случился разговор ночью — он вздумал поехать один в дом отдыха, под Новый год, это напугало ее, не хотела его отпускать, требовала, чтоб он взял ее, в то время было несложно получить десять дней за свой счет, но возникала трудность с Иринкой, свекровь чем-то болела, ничего серьезного, будь это нужно Сереже, она бы отпустила их непременно, а тут, поняв, что нужно невестке, отказалась наотрез. Все было шито белыми нитками, нарочно пригласили Веру Прокофьевну с дочкой, Сережиной кузиной Тамарой, невропатологом из закрытой поликлиники. Ольга Васильевна ее не любила, не верила ни одному ее слову, и эта Тамара за ужином долго и вычурно объясняла заболевание Александры Прокофьевны, явно что-то преувеличивая, нагоняя туману. Ольга Васильевна, не желая обострять разговор, промолчала, смирилась, хотя тут был возмутительный сговор, но ночью все же не удержалась, разбудила его вопросом — и опять испытала то кошмарное состояние, когда все кругом закачалось, земля пошла из-под ног.

— Признайся, у тебя кто-то есть, с кем ты хочешь побыть вдвоем?

— Да, есть, есть,— заговорил он шепотом, мгновенно проснувшись.— Этот кто-то — я сам. Я хочу побыть вдвоем с собой. Хочу отдохнуть от вас, от тебя, от матери, от всех, всех...

В первую секунду верила, как привыкла верить всегда, но затем недоумение: разве он нуждается в одиночестве? Ей казалось, не было никаких причин, по которым следовало бежать одному за сто верст от Москвы. Поэтому хоть и поверила и слегка успокоилась, но не до конца. В глубине души терзалась загадкой, вызывавшей одну тошнотную мысль: «У него кто-то есть!»

Ему нравились маленькие блондинки. Однажды она случайно это выяснила. Тянуло к миниатюрным женщинам, которых можно баюкать, держать на руках. Как-то сказал Ольге Васильевне с нежностью:

— Как жаль, что ты грузна, матушка. Мне бы хотелось поносить тебя на руках.

Все его женщины были крупные. Просто совпадение, так получилось, он сам рассказывал. У него было пять женщин. Четыре до нее и пятая она. Может, были еще, даже наверняка, не могло не быть, но про тех четырех она знала точно, а про других могла лишь догадываться и подозревать. Зато про тех четырех выведала все подробности, называла их по именам — Валька, Светланка — и не упускала случая как-то кольнуть их и его заодно, сказать о них что-нибудь злое, глумливое. Она их ненавидела, этих мерзавок, этих шлюх, две из которых были старше его, учили его всяким безобразиям, одна была его ровесница, мнившая себя высокой интеллектуалкой, а на самом деле распутная тварь, мечтавшая женить его на себе любым способом, но он, слава богу, не поддался на ее уловки и поступил с нею решительно, хотя, может быть, не совсем благородно, но так ей и надо, твари, и была еще какая-то бело-розовая, пастозная, с которой он работал в музее, манерная дура, но очень красивая, она все время куда-то убегала от него, а он догонял. Однажды ему надоело — она побежала от него из дому, где они встречались, а он не стал догонять, и все кончилось. Эта четвертая, пастозная, несмотря на свой истеризм, была могучего сложения, и он называл ее Брунгильдой. Говорил, что груди у нее тяжелые и круглые, как супные тарелки. Ольга Васильевна ненавидела ее особенно. Она ненавидела их и теперь, всех четверых, потому что Сережа все еще мучил ее, продолжал ее мучить. И вот, думала она, у него никогда не было маленьких блондинок, и поэтому, может быть, его тянуло к таким. Он уехал в какое-то Пересветово по Горьковской дороге на двенадцать дней. Ей казалось: простить нельзя. Даже не потому, что

непременно изменяет ей в Пересветове, а потому, что уехал, перешагнул через ее мольбы, отчаянье. Но спустя три дня пришла телеграмма: «Привози Иринку здесь прекрасно». Она взяла на работе отгульный день, поехала с Иринкой в Пересветово, и, конечно, он был прощен, катались на финских санях с гор, а утром, провожая ее на электричку, он бормотал: «Какая же ты глупая, глупая женщина!» — и тыкался ей в рот небритым лицом. Ведь недавно, когда брали курортную карту, врач написал: «Практически здоров». Все было ничего: анализы, сердце, давление. Что же случилось за это время? Никто не может понять. Непонятно: как жить без него? И как удалось — вот уже пять месяцев и двадцать пять дней! Она и сама не понимала: как-то все длилось бессмысленно, тянулось, жилось...

Будильник позвонит в семь. Еще полтора часа она будет лежать, погруженная в забытье — не в забытье сна. а в забытье исчезнувшей жизни,— потом медленно встанет, наденет стеганый нейлоновый халат, Сережин подарок ко дню рождения, а то и без халата, в одной рубашке, нечесаная, теперь она не следит за собой, побредет на кухню и поставит на плиту чайник, кастрюльку с водой для каши и другую для яиц, вынет из холодильника творог, кефир, чтобы, пока они с Иринкой моются и одеваются, творог и кефир немного согрелись в теплом воздухе кухни. Включит репродуктор, который стоит на верху буфета. И все время, что бы ни делала, о чем бы ни думала, она будет чувствовать пустоту и холод за спиной.

Был такой Влад, очень добрый, хороший, скучный, безнадежный, талантливый, с широким рябым лицом и глазами слегка навыкате, выражавшими серьезность и преданность. Он носил очки в черепаховой оправе. Когда он смеялся — что случалось редко и всегда неожиданно,— он прикрывал рот рукой, ибо верхняя губа задиралась немного больше, чем нужно. Это не была настоящая заячья губа, но какой-то намек на заячью губу. Один из давнишних приятелей, остряк, назвал Влада зло «полузаяц», обшучивая фамилию Полысаев. Влад был студентом мединститута, и еще тогда ему прочили большую судьбу в медицине. Мать Ольги Васильевны, для которой всякая в н е ш н о с т ь — будь то человека, пальто, шкафа,

портьеры и даже букета цветов — не имела ровно никакого значения, а важно было лишь то достаточно спорное, что она определяла внутренним оком и называла сутью, очень хотела, чтобы дочь вышла замуж за Влада. Но Ольга Васильевна никак не могла на это решиться, хотя и не хуже матери понимала, какой хороший человек Влад. Однако — всю жизнь видеть перед собой мощное рябое лицо со скифскими скулами...

И все это продолжалось, полувялое ухаживание, полудетская дружба, без надежды для Влада, без радости для Ольги Васильевны, в течение лет двух или трех (одновременно с Владом нагонял скуку еще один ухажер, некий Гендлин, инженер, совсем никудышник, хотя мать к нему тоже благоволила), пока не наступила роковая пора, завершенье учебы, начало самостоятельной жизни, школа на Палихе, двадцать четыре года, отступать некуда, все подруги, проклятые, замужем, и вдруг Влад приходит с молодым человеком, недавним знакомцем, сошлись зимою в Звенигороде, в студенческом лагере, и мгновенно сдружились. Влад вообще был восторженный гуманист. Он увлекался людьми, хотя, надо сказать, разбирался в них не блестяще. Мать Сергея, например, он считал благороднейшей женщиной, трепетал перед ней, даже заискивал, и все лишь потому, что Александра Прокофьевна что-то там делала на фронте во время гражданской войны, в политотделе армии стучала на машинке. Но это уж было после. А до Сергея он приводил какого-то летчика, то чемпиона по борьбе, похожего на обезьяну, то книжного барышника, торговавшего детективами столетней давности, знатока всего на свете, говоруна и морфиниста. Новый знакомый Влада был историк, недавно окончивший, работал в каком-то невидном учрежденьице не по своей специальности. Кроме того, как представил его Влад, был абсолютным чемпионом Звенигородского района по «балде» и чтению слов наоборот.

И правда, в первый же вечер он поразил Ольгу Васильевну потрясающим искусством. Влад кричал восторженно: «Столовая!» И гость отвечал: «Яаволотс». «Портфель!» — восклицал Влад. И немедленно следовало: «Лефтроп». «Землетрясение!» — коварно предлагал Влад, втайне ликуя от неминуемого победоносного ответа своего друга. И верно, тот, лишь на мгновенье запнувшись, отвечал: «Еинес...яртелмез». «Как, как, как? — кричал

Влад.— Повтори, пожалуйста! Надо проверить!» Проверяли, все было точно. Произвело огромное впечатление. Влад подбавлял жару: «Да что там — гений! Самый обыкновенный гений...» Он был тогда худ, строен, пышноволос, пружинисто двигался, весело и странно говорил, был не похож ни на кого из знакомых. Она почувствовала: что-то произошло. И тоже, поборов волнение, спросила: «Взгляд?» «О! — закричал Влад.— Это очень трудно!» Гость посмотрел на нее одну секунду, будто соглашался — да, это трудно,— и негромко, но твердо сказал: «Дялгзв».

Загадочное слово пронзило ее, как игла. Тут был, может быть, произнесен пароль, определивший жизнь. Никогда нигде не слышанное, не читанное, дикое слово — «дялгзв». Но оно было зеркальным отражением другого слова, истинного, в которое она бесконечно верила,— «взгляд». Эта игра, это смешное, бессмысленное знакомство и дикословие под водку и шпроты остались в памяти намертво, потому что было внутреннее ошеломление и предчувствие перемены судьбы. И было еще: начало весны, той тревожной, неясной, которую еще предстояло разгадать, как слово «дялгзв», когда все кругом затаив дыхание чего-то ждали, предполагали, шептались и спорили. Но матери этот гость, изобретавший слова, не понравился тем, что в первый же вечер побежал за водкой. Узнав его лучше, Ольга Васильевна догадалась, что тут была вульгарная стеснительность и особая, чрезмерная нервность, толкавшая на нелепейшие поступки, но вовсе не страсть к спиртному. Мать не могла забыть Сережиного faux pas много лет. «А ты помнишь,— говорила она, когда зять в чем-нибудь провинялся,— как он в первый же вечер побежал за водкой?» Мать, которая так стремилась к пониманию сути, не в силах была уразуметь, что этот смешной поступок совершенно не выражал сути. Она твердо считала, что более других дочери подходит Влад: в этом и состояла суть. Бедная мать, при всей ее любви к дочери она не могла преодолеть свойственного ей наивного эгоизма — наивного потому, что ей даже в голову не приходило усмотреть в своем поведении какие-либо следы эгоизма, ей казалось как раз обратное, будто она окутана облаком альтруизма, живет для других, ради других, это походило на правду, хотя, если приглядеться внимательно, «другими» оказывался один человек, Георгий Максимович,— и она полагала, что заботит-

ся о дочери, настаивая на том, что Влад для нее лучше, а на самом деле заботилась о себе, ибо Влад был лучше для нее. И ей не нравились игры в слова и рассказ Сережи о том, как он с Владом ходил в психиатрическую клинику. А Сережа рассказывал гениально! Георгий Максимович, который зашел из мастерской попить чайку, тоже смотрел сурово.

У матери с Георгием Максимовичем всегда была замечательная синхронность. Мать высказывала суждения, а Георгий Максимович кивал подтверждающе, сопровождая кивки фразами вроде «пожалуй, что так» или «боюсь, что ты права». Родной отец умер давно, когда Ольге Васильевне было шесть лет. Мать в эвакуации познакомилась с Георгием Максимовичем, они работали на одном заводе: мать в плановом отделе, а Георгий Максимович в клубе, художником. Он был старый художник, учился до революции у какого-то знаменитого грека, ездил за границу, участвовал в выставках, за что-то его громили, перевоспитывали, оттесняли, постепенно он счах и сник, и к тому времени, когда попал в эвакуацию в маленький уральский городишко, из художника он превратился в полуголодного мазилу и зарабатывал на хлеб рисованием лозунгов и плакатов. Однако потом, когда он вернулся в Москву с новой семьей, с матерью и Ольгой Васильевной, ему дали мастерскую и комнату в доме художников, стали его привечать, упоминать в печати, давать ему договора и заказы, потому что в эвакуации, как выяснилось, он времени зря не терял, работал, как вол, ибо искусство делают волы, по утверждению Ренара, любимого писателя Георгия Максимовича, создал галерею тружеников тыла под названием «Уральская сталь», эти рисунки выставлялись не раз, были репродукции, даже почтовые открытки,— и в жизни Георгия Максимовича наступил своего рода ренессанс, вторая молодость, или, как он выражался, «мой розовый период», и все бы шло хорошо и ладно, если бы как раз в те годы, в конце сороковых, Георгий Максимович не стал болеть. Что-то с головой, потом с глазами, запрещали работать, он уезжал в санаторий, потом начались сердечные неприятности, и незадолго до появления Сергея случился инфаркт. Сколько ему было тогда? Да уж очень порядочно. Мать моложе на семнадцать лет. А ей было в то время, когда появился Сергей, сорок три, значит, Георгию Максимовичу было шестьдесят.

Он еще ходил прямо, руку пожимал крепко и, знакомясь с людьми, имел обыкновение упорно и зорко вглядываться человеку в лицо, обшаривать его с бесцеремонностью. Новых людей это коробило. Сережа признался потом, что первая встреча с Георгием Максимовичем его слегка озадачила.

— Он смотрел на меня так, будто я что-то украл.

Правда, у Георгия Максимовича была еще и другая привычка: изучив нового человека досконально, он сообщал, что у того «интересное лицо» и что его «очень интересно написать». В этом звучала покровительственная нота человека искусства, стоящего над остальными людьми, и в то же время была невинная лесть, приятная всем. Но Сереже Георгий Максимович этого не сказал. Настороженность была с первой минуты. Впрочем, Георгий Максимович был тут несамостоятелен, он лишь улавливал, подобно чуткой мембране, настроение матери. Да, они очень подходили друг другу. Ну и прекрасно, слава богу. Ольга Васильевна не ревновала, отца едва помнила, Георгий Максимович относился к матери хорошо, по-видимому, любил ее, а уж она, бедная, его обожала, и с годами у них образовались одни вкусы, одни взгляды на людей, на живопись, на книги, на деньги, на все. Мать постоянно была погружена в его дела и болезни. Ее просто не хватало на чью-то другую жизнь. Когда родилась Иринка, мать поначалу разрывалась между внучкой и мужем, ей хотелось быть нужной, вездесущей, но сил не стало, и она сдалась, уступила место другой бабке. Ольга Васильевна ее простила. Некоторое время жили с матерью и Георгием Максимовичем на Сущевской, где была мастерская, в квартире с соседями, потом у свекрови случилось горе — умерла дочь, незамужняя, какая-то невезучая, больная, свекровь ее очень любила,— и решили переехать к ней в двухкомнатную квартиру на Шаболовку. Тут прошло Сережино детство. Все ему было тут мило, близко, и хотя Ольга Васильевна сразу почувствовала, что жить со свекровью будет несладко, но Сережа очень хотел, и старухе,— впрочем, какой старухе, она была тогда шумливой, суетной пожилой женщиной,— надо было пойти навстречу. Дать ей хотя бы внучку. Грустно было уезжать от матери. Но ничего поделать было нельзя. Все это двигалось своим ходом и началось в тот вечер, когда он пришел, лохматый, в ковбойке, в пиджаке с накладными плечами, и говорил слова наоборот.

А после того вечера: весна, дворы, подворотни, подъезды, кафе, забегаловки, начало лета, ничего не понимавший Влад, поиски денег, вагон на юг, жара, прохлада, освобождение. Вчетвером: Ольга Васильевна с Ритой, подругой тех лет, сгинувшей потом бесследно, и Влад с Сережей. У Влада был знакомый, вернее — знакомый его отца, генерала медслужбы, владелец дома в Гаграх. Он обещал снять комнаты. Нужны были две: для Риты и Ольги Васильевны и для Сережи с Владом. Почему-то в доме доброго знакомого жить было нельзя. Лето пылало, в Гаграх стояла одуряющая духота. Отчего-то вышло так, что знакомый Влада — некий, кажется, Порфирий Николаевич, то ли, может быть, Парфентий Михайлович, невнятный человек, работавший когда-то в Москве в ответственном учреждении, а теперь, пенсионером, живший в Гаграх в собственном особнячке,— снял только одну комнату, довольно паршивую, далеко от моря, на горе, и еще предложил летнюю хибарку в своем саду. Комнату отдали ребятам, а девушки поселились в хибарке — у самого пляжа. Это было легкое сооружение вроде шалашика или того, что теперь называется «бунгало» и вошло в моду по всему Черноморскому побережью. Вначале все было восхитительно, но затем обнаружились неудобства. За водой и в туалет ходили через весь сад в дом. Кроме того, постояльцы особнячка, родные, близкие и дальние знакомые Порфирия Михайловича, которых было множество и приезжали на машинах все новые, жили какой-то шумной, утомительной жизнью. Ежедневно там пили, гуляли, горланили песни, заводили громко радиолу и танцевали на веранде, жарили шашлыки в саду, а вечерами толпою ходили на море купаться: спускались тропкой через калитку в заборе на каменистый пляж. Дом стоял на берегу.

Весельчаки из дома Парфентия Николаевича зазывали в свою компанию Влада с Сережей и девушек, ребята не отказывались, денег у всех в обрез, в Гаграх дороговизна, да и ничего не достать, а там угощали щедро, хванчкары и чачи сколько душе угодно, и Рита, невзрачненькая хитруша, прибитая московским одиночеством, тоже рвалась к этому водовороту, казавшемуся хоть и опасным, но обольстительным.

Но Ольга Васильевна твердо: «Нет!» Среди людей, бродивших вечерами по саду, попадались хамы, и раза два кто-то ломился поздним часом в хибарку, дверь тре-

щала, глупая Рита хихикала, но Ольга Васильевна догадывалась, что Рита им не нужна. «Эй, гордая! — кричали снаружи.— Пойдем с нами купаться!» Ольга Васильевна суровым голосом грозила милицией.

Наутро жаловалась Владу, тот бежал в дом, оттуда приходила жена Порфирия Парфентьевича, статная дама, всегда в белом, черные волосы с проседью, на пальцах золото, в ушах золото, и когда улыбалась синим большим ртом, обнаруживалось много золота во рту: «Девочки, простите моих хулиганов. Они дети юга. У них солнце в крови... Солнце делает людей безумными...»

Сережа здорово плавал, нырял, прыгал с вышки. Он и Рита заплывали далеко за буйки, а Ольга Васильевна с Владом полоскались у берега. Вообще Сережа, такой неумелый и робкий в житейских делах, в отношениях с людьми и самим собой, обладал большой физической смелостью. Поговорить с Порфирием о том, сколько нужно заплатить за хибарку, и одновременно насчет водопровода, который жители особнячка часто перекрывали, ставя Риту и Ольгу Васильевну в затруднительное положение, он никак не решался — боялся обидеть, малодушно тянул, но и не отказывался от хванчкары и сидения на веранде с гостями, и она с досадой угадывала что-то шаткое, немужское в этом характере,— и он же мог с легкостью ввязаться в любую драку на пляже, мог прыгнуть шутя с десятиметровой вышки. И с каждым днем она все отчетливей сознавала, что пропадает.

Никогда раньше она не испытывала такого безысходного, отчаянного пропадания. Прекратилась всякая другая жизнь. Пропали все другие мысли. Ведь прошло лишь несколько дней — что же могло измениться? — а казалось, что изменилось все вокруг: цвет неба, запах моря, вкус шашлыков. И в ней самой сдвинулась какая-то стрелка. Все внутри завертелось гораздо быстрее, чем раньше. Возникло что-то тревожащее и новое в ней самой, какая-то посторонняя тяжесть, доставлявшая неудобства и мучения. Например: она не могла теперь вынести, когда он заходил в дом Порфирия и задерживался там надолго. Какая, подумать, ерунда. А она терзалась: зачем он там? с кем? чей смех доносился с веранды? Мужской смех задевал так же, как женский, одинаково чувствительно. Значит, там ему слаще, милей, чем здесь, с нею. Это были странные мучения, изолированные от рассудка, подчинявшиеся наитию: ведь он не был мужем,

они еще не были близки, только еще намечалось, мечталось втайне, и, однако, ее ощущения и муки были такие, будто все уже произошло. Как-то она не утерпела, поднялась на веранду, чтобы позвать его. Он унес шахматы, а тут собрались на пляж — она начала учиться играть в шахматы, ей хотелось делать все то же, что делал он, и однажды, поборов страх, даже прыгнула с трехметрового трамплина солдатиком,— и, открыв стеклянную дверь, увидела, как несколько человек, мужчины и женщины, сидели вокруг стола с закусками и глядели на Сережу, который стоял чуть в стороне, чтобы быть на виду, и изображал нечто мимическое. Он умел эти мимические штуки делать отлично. Особенно «старого аптекаря» и «динамовского болельщика». Вообще в нем было много талантов, он ведь и рисовал, и пел хорошо, и самоучкою выучился на гитаре.

Тогда, на веранде, она почувствовала вдруг бурное отвращение, как приступ тошноты,— и к нему, и к людям за столом, глазевшим на него с веселым, пьяным дружелюбием, как в ресторане. Как же она разозлилась! Те аплодировали, кричали: «Браво!», «Аллаверды к тебе, Серго!», тянули к нему рюмки, и она сказала зло:

— Ну, а теперь прочитай какое-нибудь слово наоборот, например,— «шутовство»,— и скажи «до свиданья». Нас на пляже ждут.

Он с изумлением уставил на нее узкие синие глаза и даже рот раскрыл, чтобы что-то сказать — то ли возразить, то ли прочитать слово «шутовство» наоборот,— но она взяла его за руку, он молча подчинился, и они вышли.

По дороге на пляж она ему внушала, испытывая при этом острое наслаждение оттого, что он молчал, а она его пилила с материнской строгостью:

— Пойми, это стыдно, это мерзко, ты себя унижаешь, ты был шутом перед пьяными рожами. Ты, интеллигентный человек, потешал этих господ, этих прощелыг...

Потом он стал защищаться довольно добродушно:

— Ты уж слишком максималистка... Имей в виду, максимализм до добра не доводит, говорю тебе как историк...

Но ему как будто все это нравилось: и то, что она вела его за руку, и то, что была оскорблена за него. Именно тогда, может быть, возникла в ее сознании мо-

дель, что в течение долгих лет представлялась единственной благодатью, к которой следовало стремиться всеми силами, а он, хитрец, делал вид, что подчиняется, но на деле был далек и безучастен: вести его за руку и поучать с болью, с сокрушением сердца. А на пляже разгорелась дискуссия. Влад, услышав ее нападки, ринулся товарища защищать: «Ты не знаешь местных обычаев. Здесь нельзя отказываться, когда тебя угощают».

И Рита, давно уже скрытно раздраженная,— она соображала своим умишком, что ни Влад, ни Сережа ею не интересуются, и начала понемногу Ольгу Васильевну ненавидеть,— сказала, что Ольга, по своему обыкновению, делает из мухи слона. Что касается Парфентия и его гостей, то, по мнению Риты, они люди добрые, простые, не надо их презирать... «Не надо высокомерничать» — ее фраза. Но чем они занимаются, бог ты мой? Откуда средства для такой сказочной щедрости? Неприлично считать чужие деньги, это дурной тон. Ведь не жулики они. Потому что иначе сидели бы в тюрьме, а они прекрасно живут. Такова была логика этой глупышки, с которой Ольга Васильевна загадочным образом сошлась на короткое время. Рита была худощавая рыжеватая блондинка с белой конопатой кожей, голубыми глазами и острым носиком. У нее не иссякала твердая вера в то, что она красавица, и годы проходили в негаснущем недоумении: почему никто этого не замечает?

Была какая-то странная жизнь вчетвером. Повсюду ходили вместе: на базар, в кино, в дымную чебуречную, где толстяк с маленькой головкой, Датико, угощал молодым вином и прыскающими жиром чебуреками, по набережной, по главной улице, где слонялась вялая белая толпа, и вечерами на теннисный корт, где играли классные игроки, а Сережа и Влад глядели на них с ненасытной жадностью, потом им самим разрешали немного попрыгать, они оба еще только учились, тренер Отто Янович давал указания, Влад был бездарен, но у Сережи получалось хорошо, с каждым вечером все лучше, он мог при желании стать настоящим теннисистом — с его талантом мог стать настоящим кем угодно, настоящим пловцом, музыкантом, рисовальщиком, ядерным физиком! — и Отто Янович говорил, что «прыгучесть прекрасная», но не было ни мячей, ни ракеток, все стоило дорого, экономили деньги на обратную дорогу, а Ольга и Рита сидели на длинных скамейках в тени тополей и смотрели

на игроков. И когда она смотрела на Сережу в тельняшке, в белой шапочке с козырьком, на его загорелое худое лицо, на его немного полные, тяжеловатые ноги в вязаных носках, которые он вез из Москвы, специально чтоб надевать под кеды,— правда, он не знал, что займется теннисом, думал, что будет играть в волейбол, был заядлым волейболистом,— у нее как-то ломко, счастливо падало сердце. Она наслаждалась, глядя на него и видя все его страсти, напряжение, досады, радости, все было обнажено, а он не видел ее. Однажды Отто Янович, бородатый гномик, сунул незаметно записку. Она развернула осторожно, чтоб Рита не увидела, и прочла: «Приходите завтра к девяти утра. Я буду вас учить совершенно бесплатно и сколько угодно». Гномик брал порядочные деньги за час и, говорят, был богатым человеком. Она улыбнулась ему и покачала головой. Отто Янович скорчил гримасу, означавшую глубокое горе. Ах, много их было в то лето, стремившихся учить ее совершенно бесплатно и сколько угодно!

Верно, она была тогда хороша. Еще не располнела. Все у нее было в меру, все ладно, гибко, плотно, и хоть не умела плавать, но бегала легко, играла в волейбол, делала без труда мостик. Сейчас — попробуй! А тогда хоть бы что. Десять раз подряд без натуги. Мужчины на пляже на нее пялились. В те годы она очень ровно и быстро загорала — потом это свойство почему-то ее покинуло. Но ведь лежала на солнцепеке часами, не жалея сердца, такая дура. Волосы носила по тогдашней моде растрепанными до плеч. Сережа говорил: «Голова Медузы». А ей очень шло. Такая пышная, густая, темно-русая чаща, а лоб весь открыт, круглый, чистый, еще без единой морщины. Наверно, то был лучший год всей ее жизни, год расцвета. Она замечала это по взглядам мужчин, по тому, как кавказцы, глядя на нее — когда она выходила из моря,— нахально цокали языками и причмокивали. Ну, и приставали, конечно, бессовестно. Навязывались в друзья, в собеседники, в партнеры по кингу, по волейболу. Сережа и Влад жили в постоянном ожидании драки.

Были какие-то ленинградцы, какой-то капитан, какой-то гость Порфирия по фамилии Цнакис, какие-то обгорелые дочерна эстрадники, с одним из которых Сережа затеял скандал и даже ударил его резиновым надувным дельфином, нанеся легкое повреждение типа царапины, отчего был шум, крики, явилась милиция, и Сережу спас

от беды Порфирий. А тот, что пристал в лесу, когда ездили на озеро Рица? Был еще смешной человечек, пожилой, с оливковым лицом, тоже из гостей Порфирия, который ухаживал одновременно за Ритой и Ольгой, где выгорит, был деликатен, услужлив, ходил поутру на базар и приносил зелень, кислое молоко и ягоды, к Владу и Сереже относился с отеческой благожелательностью и, кажется, не считал их серьезными соперниками для себя, увязывался на пляж и донимал нудными разговорами, не знали, как от него отделаться, уж очень был хорошо воспитан. Но однажды он под секретом, потребовав сохранения тайны, показал Рите медицинскую справку, где говорилось: такой-то, обладая нормальной половой потенцией, лишен способности к деторождению, что подтверждает главный врач поликлиники имярек. Рита, конечно, поделилась новостью, веселья было много. Оливковый человечек куда-то исчез, пропал навсегда.

Сережа учил ее плавать. Им так нравилось это учение! Было бы скучно, если бы она умела плавать так же хорошо, как он. Он держал ее на руках, она барахталась, висла у него на шее, хохотала, тонула, слепла от брызг и все время чувствовала его руки, которые были очень смелые в воде. Влад поглядывал на них, напрягая зрение — в море он был без очков,— стараясь разглядеть, что же там происходит, в этом хохоте, в брызгах, иногда предлагал:

— Если хочешь, могу тебя поучить. Если Сереже надоело...

Бедный, он сам держался в воде ненамного лучше. Но он был рыцарь. Его вводили в заблуждение грубоватые, будто бы раздраженные окрики Сергея: «Как ты непонятлива, матушка! Ногами делай вот так, как лягушка!» Тогда он любил это «матушка», «мать», словно прожили вместе целую жизнь. Потом явились другие ласковые слова,— например, «слоненок», «слониха». Знакомым казалось странным, что она терпит такое неэстетичное обращение, а ей нравилось: она знала, в какие минуты это возникло. Влад подплывал, пытался учить, они хохотали. До чего все казалось смешным! И Влад, который надувал щеки от добросовестного желанья помочь, мозолил глаза, ничего не понимал, и Рита, которая все понимала, тихо злилась — она решила, что Сережа был приглашен на юг для нее, и теперь все происходящее расценивала как измену,— и они сами каза-

лись друг другу радостными источниками веселья, любое слово, всякая глупейшая детская шутка вызывали хохот.

Рита ночью затеяла ссору: требовала закрыть окно. Ольга протестовала. Было очень душно.

— А мне холодно! — упорствовала Рита.

— Дышать же нечем.

— Я не желаю по твоей милости получать воспаление легких!

— Мы спать не сможем при закрытом окне.

— Ты будешь спать прекрасно. Я за тебя не волнуюсь...

Так препирались долго, и Рита, разумеется, взяла верх — окно было закрыто. Ольга чувствовала себя сильной и счастливой. Озлобление Риты не иссякало, она стала упрекать Ольгу в эгоизме:

— Какая я дура, что согласилась с тобой поехать! Ты думаешь только о себе. Жить с тобой и десять дней невыносимо, ты законченная эгоистка.

Ольга слушала оскорбления, но не испытывала ни вражды, ни желания отвечать: в глубине души даже жалела Риту. Но чем могла ей помочь? Если бы Влад хоть слегка стал приударять за ней, было бы прекрасно, но Влад относился к Рите с непрошибаемой товарищеской добротой, что было совсем не то.

— Не знаю, почему я эгоистка,— говорила Ольга, зевая и улыбаясь сквозь дрему.— Давай спать, мне спать охота.

— Конечно, тебе охота, ты напрыгаешься, наорешься,— ворчала Рита.— Ты потому эгоистка, что все себе, себе. О других не думаешь... Ужасней отдыха не было в моей жизни... Какой-то кошмар, какая-то мука...

И в довершенье всего разревелась. Ольга бегала в дом за каплями, за водой, будила людей. Рита лежала бездыханная, с мокрым полотенцем на голове, жалким голосом просила достать ей билет в Москву, проклинала свою судьбу, Ольга говорила какой-то успокоительный вздор, а сама думала: завтра, в море... И ничьи слезы, никакие беды не могли омрачить радости.

Потом Рита встретила какую-то приятельницу в Ахали-Таграх и переехала к ней. Однажды ее видели с этой приятельницей, толстой соломенной блондинкой среднего возраста, они шли под руку, рядом шагали двое мужчин в пижамах — тогда была такая мода на юге, в полосатых

пижамах мужчины гуляли по городу вроде как бы в летних костюмах,— все четверо шумно разговаривали, Рита поглядела мельком и прошла мимо, едва кивнув. А первую ночь спать в хибарке одной было неуютно. Ольга и не спала почти до рассвета, слушала гул моря, томилась то тревогой, то радостью, то не поймешь чем: неизвестностью. Какие-то люди ходили по саду. Скрипели цикады. Гудел автомобиль. Кто-то выезжал за ворота. Ольга думала: куда это они среди ночи? К духанщику за вином, что ли? Утром жаловалась ребятам, что совсем не спала от страха. Говорила неправду: неуютность была от непосильного ожидания, от смутных мыслей.

А верно: с первой же ночи, как осталась в хибарке одна, ждала, что он придет. Ребята сказали, что будут ее охранять. И ночью пойдут купаться.

Ночь была темнейшая, в двух шагах ничего не видать. Южная ночь, без звезд. Облака нависли, дышать было трудно. На пляже слышались разговоры, гремели шаги по камням, много людей купалось ночью, тоже не дураки. Разговаривали вполголоса, иные шептались, в воздухе была разлита какая-то таинственность, и Ольга с волненьем это почувствовала, но подумала, что это ей мнится, что тайна в ней самой. Потом обнаружилось, что люди действительно шептались и тайна была истинная, не имевшая к ней отношения. А тогда кружилась голова и ноги подкашивались от душности, от тьмы и предчувствия тайны. Мрак был такой, что можно было купаться голыми. Ольга подходила к морю, не видя воды. Никогда в жизни, ни до, ни после той ночи, она не купалась в такой теплой воде. В ней было, наверно, градусов двадцать шесть. И никакой волны, совершенное спокойствие и беззвучность, моря не существовало, просто теплая вода, как в бассейне, и в потемках тихий плеск и неясный говор людей.

Она поняла, что будет необыкновенная ночь. Влад куда-то ушел. Может, он был поблизости, но молчал, не выдавал себя. Сережа тянул ее за руку на глубину, и она его не видела. Остановились, когда вода стала ей до плеч. Он сказал, что похоже на священное купание то ли в водах Ганга, то ли в Иордане, где-то в тропических реках, где вода как парное молоко. Русский князь Владимир крестил в Днепре, там все-таки попрохладней. Она посмеялась над ним:

— И все-то ты знаешь!

А он спросил:

— Хочешь, буду учить тебя плавать?

Она удивилась: днем только этим и занимались. Подошла к нему, обняла его за шею, и стояли так долго, целовались, это было впервые и вышло совсем просто, как будто много раз целовались до этого, но странно было одно: кругом люди, и никто не видит. Влад издалека звал их. Ей сделалось неловко, стала вырываться, они боролись, выбежали из воды и повалились на камни.

Камни были теплые. Но ей стало зябко, она дрожала.

— Где вы тут, чертушки? — кричал Влад.

Сережа зажал ей ладонью рот. Не выдержав, оба прыснули смехом и упали с большого камня, на котором сидели.

— А вот... замаскировались...— Влад грузно сел рядом.— А я, братцы, договорился насчет билета.

Ее бил озноб, она боялась спросить, какого билета, чтобы голосом не выдать, как она дрожит. Нелепо дрожать в душную ночь. Все-таки ей не хотелось, чтобы Влад догадывался, что с ней происходит. Он сказал, что условился с клиникой Первого мединститута, что будет там работать в августе. Ведь он был тогда еще студентом, пятикурсником, хотя старше ее и Сергея года на три. Позже начал учиться.

По его голосу она поняла, что он догадался. Было его очень жаль. Язык его не слушался, он бормотал невнятицу, какие-то жалчайшие поручения перед отъездом. Часов до двух ночи тягостно разговаривали на берегу, потом она призналась, что хочет спать. Ей не так уж хотелось спать, мозг был воспален, но что-то побудило ее так сказать: просто сидеть дольше втроем было невозможно. Влад спросил: нужна ли охрана? Оставался рыцарем, несмотря ни на что. А каким бы он был исключительным мужем, если бы... Мать Ольги Васильевны считала, что в нем есть «какая-то долька» от Пьера Безухова. Пьер — ее любимый герой, потому «какая-то долька» значило в ее устах много. Георгий Максимович говорил, что у Влада лицо как у мордовского бога Keреметь и что его интересно писать,— писал и мучил Влада многократно,— и очень хотел, чтобы у Ольги с ним все сладилось: «Не будь вороной, лучшего друга тебе не найти». Сейчас он доцент, заведует отделением, у него трое детей, жена — добродушная бесформенная толстуха с широкой жирной спиной, врач-рентгенолог. А тогда

был раздавлен, несчастен, спрашивал убитым голосом: нужна ли охрана?

Оба ушли, она осталась одна, мокрый купальник лежал на дощатом подоконнике в ожидании солнца. Спать не хотелось, не было страха, не было шагов, голосов, ничего. Она лежала с открытыми глазами, сердце колотилось, она знала, что ночи осталось мало и он скоро придет. Спустя минут двадцать он пришел. Снова ее тревожил Влад: вдруг заметил, как он уходил и догадался куда; и она спросила, почему он не подождал до завтра, пусть бы Влад уехал. Он спросил:

— А что тебе Влад?

В самом деле, Влад был для нее ничто.

— Я не мог ждать до завтра.

Не было разговоров, обещаний, клятв, она ему просто поверила навсегда.

Потом было много, бессчетно, других ночей в городе и на даче, летом, в дождь, холодной осенью, когда еще не работало отопление и комнату согревал рефлектор, почти каждую ночь они становились женой и мужем. Это был редкостный дар, подруги иногда делились интимностями, она — никогда, если бы когда-нибудь рассказала, они бы не поверили и сочли бы такой же ложью, какую сочиняли сами, но суть заключалась в простом: то, чего не хватало одному, находилось у другого, а то, что было у них обоих, соединялось в целое слитно и полно, но это сделалось понятно не сразу, не в первую ночь и не в первый год. Потом она поняла, что ни с кем у нее не могло быть того, что было с ним. А тогда, в хибарке,— что ж? Душная, забытая ночь...

И еще один день болтался с ними ненужный Влад. В море Сережа не подошел к ней ни разу, все время был с Владом, даже как будто сторонился ее. Она пугалась, успокаивала себя: делает так нарочно, хитрец, ведь и он знал и она знала, что ночью он придет снова. Потом какой-то человек отозвал Влада в море, они отплыли от берега, и человек передал новость. Тогда было много разных слухов и новостей. Эта была из самых сокрушительных. Помнила только: Влад и Сережа необычайно возбудились, побежали к Порфирию, но домработница сказала, что хозяин уехал в Москву, хозяйка больна и никого видеть не может, а гости разъехались. В саду не было ни одной машины.

Пошли в город, на базар, по магазинчикам. Когда Влад отходил куда-то или отворачивался, Сережа брал ее руку, сжимал пальцы, норовил как-то прижаться к ней, прикоснуться. Влад и Сергей много спорили в тот день, шумели, рассуждали в крайнем волнении, а она все время думала о том, как будет ночью. На базаре продавали ранний виноград. Она понимала, конечно, что новость, может быть, очень важна, но ее переполняло другое событие, и она слегка недоумевала: как мог Сережа в т а к о й д е н ь увлекаться чем-то иным и даже мог, например, не слышать ее, когда она о чем-то спрашивала?

Усатая гречанка-домработница шаркала по саду с граблями, да овчарка Титан тосковала на крыльце, положив морду на лапы. Все разбежались, исчезли, и статная дама с синими губами, похожая на гоголевскую покойницу, тоже куда-то сгинула. А хорошо было тогда в доме, в саду! Прожили дней пять на втором этаже, на веранде, гречанка страшилась одна ночевать и позвала. Все там было исполинских размеров, диван — как будто приспособленный для свального греха, и в комнатах стоял не выветриваясь кислый винный запах с оттенком псины, а на веранду втекал изнуряющий и заново придающий силы воздух моря. Ночи и дни шел разговор, ненасытно узнавали друг друга. И уже тогда было так, будто все давно решено. А в октябре Влад поразился, когда его пригласили на свадьбу. Все-таки он не думал, что дело зайдет так далеко и, главное, так быстро.

Ведь только что познакомились — и вот уже веранда над морем, никаких тайн, нет человека ближе, август, его мать с тяжелыми разговорами, но это уже ничего не меняло. Перхушково, осень, вечерние электрички, встречи у пригородных касс, и тут же возникла Светланка, этот кошмар, который рассеялся не скоро и едва не задушил ее.

Когда она впервые услышала это имя? От его матери?

Нет, его мать произнесла это имя так, что Ольга Васильевна содрогнулась: оно было знакомо. Оно уже сидело в сознании ничтожной занозой, воспаляя ткань, набухая медленной болью. Он был честен, легкомыслен, болтлив, пробалтывал многое, и она слышала про ту очкастую, которая не гнушалась ничем, чтобы удержать его, но сначала Ольга Васильевна не относилась к ней чересчур всерьез, ибо не могло же не быть прошлого, и у нее тоже было прошлое: например, Гендлин. Совершен-

но вытеснилось, погребено тысячелетиями, вроде фараона Тутанхамона. Кажется, познакомились в консерватории. Кажется, он был инженер, высокого роста, ходил как-то странно, чуть приседая на каждом шагу. Укоризненный голос мамы: «Опять звонил Гендлин». И след виноватого чувства — не к Гендлину, а к маме. Расправиться с Гендлиным не составляло труда, он сам отпал тихо, как отпадает лист от осеннего ветерка, но она, однако же, говорила гордо и в поучение: «Вот я: сказала прямо, чтоб не звонил больше, потому что не нужно, и он понял — и все. Надо рвать, как больной зуб, сразу». Сережа соглашался: да, да, разумеется. Как больной зуб. Тогда еще она не знала этот характер, исполненный зыбкости и причуд, и в покорном кивании, в незамедлительном и легком согласии находила покой, длившийся, впрочем, не так уж долго: до первого разговора с будущей свекровью.

Комната на Шаболовке удивила: какая-то шестигранная, обрубок зала с потолком необычайной высоты, лепные амурчики беспощадно разрезаны по филейным частям. Одна ножка и крылышко осеняли шестигранную комнату, а другая ножка и ручонка, держащая лук, висели над коридором. Голов у амурчиков не было. Они приходились на перегородку. На стенах, оклеенных темно-вишневыми обоями в белых корзиночках, развешано множество фотографий. На одну Сережа тут же обратил ее внимание: пирамида усатых мужчин во френчах, папахах, шинелях и сбоку едва заметная, с неразличимым лицом фигурка в белом платке.

— Это мать в политотделе армии. Двадцатый год.

Было обозначено сразу: не чета другим матерям, не просто начинающая старуха, а делательница истории. Но Ольга Васильевна и так смотрела на остроглазую скуластую женщину, очень морщинистую, тонкогубую, с громадной симпатией и честным желанием полюбить ее — не потому что делательница: ко всяким реликвиям, развалинам, свидетелям старины она относилась равнодушно, но потому что — его мать. Пили чай из дешевейших чашек, чуть ли не детских. Пришла его сестра, закутанная в старушечью шаль, толстая, нескладная девушка, совсем на него не похожая, с какой-то блуждающей, многозначительной улыбкой. Разговаривая, улыбалась криво и смотрела в сторону. Она была старше его года на три.

Все в этом доме — стены, потолок, посуда, мебель и

люди, тут обитавшие,— отличалось какой-то тайной несуразностью. И, однако, как она это все полюбила! Он побежал в магазин за красным грузинским вином. В Гаграх пристрастились к красному. И вот когда сестра ушла в другую комнату и Ольга Васильевна осталась с будущей свекровью наедине, та вдруг спросила:

— Вы что-нибудь знаете о Светлане?

Ольга Васильевна призналась, что знает. Но смутно.

— Так вот вам не смутно.— И глаза, синие щелочки со стальным зрачком, впились в глаза.— Эта Светлана, о которой я слыхом не слыхивала до позавчерашнего дня, ждет ребенка от Сергея.

Оказывается, та особа приходила сюда, рассказала, взвинтила (потом все прояснилось как обыкновенный шантаж, расчет на дураков), и вот теперь допытывали — плохонькая гостиная вдруг превратилась в комнату призрачного трибунала, не хватало кожанки и маузера в деревянной коробке.

— Вы уверены, что можете быть счастливы ценою несчастья другого человека?

Ольга Васильевна лепетала:

— Я не знаю... А вы уверены, что это правда?

Женщина со стальными зрачками кивала холодно.

— Но ведь любовь... если любят... если бросают, уходят...— жалким голосом пыталась сопротивляться Ольга Васильевна.

— Вы говорите о подлецах. Мой сын не подлец. Он просто безответственный тип.

Внезапно возникла сестра, все слышавшая, и, кривя рот улыбкой, нервно, с напором, произнесла:

— Не обращайте внимания на ее разговоры, она, как обычно, все низводит до схемы! — И, повернувшись к матери, очень зло и отчетливо: — Ты опять говоришь вздор! Уши вянут тебя слушать.

Старая женщина сникла. Прибежал Сережа с вином. Ольга Васильевна крепилась изо всех сил, чтобы не расплакаться, Сережа все понял, стал допрашивать мать, снова появилась сестра и теперь взяла мать под защиту; как они относились к этой змее, к Светланке, было непонятно, ее как бы не существовало, был важен принцип, из-за которого все трое жестоко ссорились, каждый отстаивал какую-то свою правоту, и Ольга Васильевна ничего не понимала. Но одно, казалось ей, она понимала: они ее не хотят. Несуразность сидела в натуре

этих людей, делать выводы по их речам и поступкам было опрометчиво. Сережа говорил, что Светланка лжет. Она ему верила. Но почему-то было очень трудно порвать с ней, она грозила самоубийством, он мучился, ездил к ее родственникам, встречался с ее братом-боксером, ходил к врачам, в лабораторию, анализы были отрицательные, та действовала, как настоящая аферистка, а на свекровь всегда влияли фальшивые люди, хотя — Ольга Васильевна догадывалась — Светланку свекровь не хотела еще сильней, чем ее.

Весь кошмар длился недели три в сентябре, и в какой-то миг показалось, что та своего добилась: оторвала Сережу, хоть и не к себе, но — от Ольги Васильевны. Решила с ним расстаться — таков был удар этой суки, убийственно рассчитанный,— но что-то спасло ее, она устояла.

Звонок в двенадцатом часу ночи. Плюгавая, взъерошенная, на тонких кривых ножонках девица в очках. Вы Ольга? Да, я. Сразу все поняла, и кровь хлынула в голову. Ненависть к мозглячке была страшная: схватить бы и сбросить с лестницы, чтоб руки-ноги переломала! Но, конечно, вежливо пригласила зайти, разговаривали в коридоре. Та убеждала, что Ольгу Васильевну он не любит и любить не может, пусть она не обманывается, он «таких, как вы», вообще не выносит, нашло затмение, пройдет, «вы будете несчастны» и еще что-то бредовое. Ольга Васильевна чувствовала, как внутри у нее все сдавилось. Онемев, глядела в худое, треугольное личико с острым подбородком, который дергался, а в глазах под стеклами очков дрожали громадные зрачки, как у больной. И чтоб доказать, что говорит правду, та сказала — ради этого и пришла,— что он у нее две ночи провел недавно, в августе, после возвращения с юга. Ольга Васильевна ответила твердо:

— Ты лжешь!

Не поверила ни на секунду. Но та с наслаждением поведала такую подробность, о которой знать не могла, если б лгала.

И все же не верила, такая дура, такая тетеха наивная! И на другой день, когда бежала под дождем в книжный магазин у «Метрополя», где договорились о встрече,— чтоб прогнать его, проклясть,— на дне души было нелепое спокойствие. Втайне верила, что сейчас он возмутится, что-то объяснит, оправдается, рассеет этот на-

павший внезапно ужас. Никогда в жизни ни с чем подобным она не сталкивалась. Матери не рассказывала, отчиму тоже. Она сражалась в одиночку. Надо было решать в течение нескольких секунд. А он, потемнев лицом, набычившись,— тут-то она стала узнавать странный характер,— сказал: «Она дрянь, но говорит правду. Только не два раза я у нее был, а один раз».

Боже мой, да зачем же, зачем? Зачем он у нее был? Зачем говорить об этом? Даже если правда. «Я ее пожалел. Знал, что расстаюсь, и было жалко». Ее пожалел, а женщину, которую полюбил, обрекает на страдания, выложил ей все как на духу. Тогда, под дождем, возле «Метрополя», они бродили, как лунатики, наталкивались на людей и говорили, говорили, старались понять — что-то там строилось, красилось, дом был в лесах, в трубах, и они то и дело, когда дождь припускал сильнее, забирались под дощатый настил и стояли там,— как жить дальше, надо ли быть вместе или, может, расстаться навеки. Она думала тогда то так, то эдак. Расстаться и проклясть его — с каждой минутой силы для этого убывали. Вдруг она подумала: ниспослано испытание, если перебороть его,— значит, быть счастливой. И кончилось тем, что пошли в ресторан «Метрополь» и хорошо пообедали; в тот день он получил зарплату в музее, половину ее потратили на обед.

Свадьба была через месяц. Конец октября, холодный и солнечный, заклеивали окна газетной бумагой, чтоб гостям не простыть, и принесли от соседей радиолу с пластинками. Какая свадьба — обыкновенная вечерушка, водка, закуски, котлеты по-киевски из близлежащего ресторана. Сережа сочинил и напечатал на машинке уморительные пригласительные билеты, что-то вроде: «Дорогой друг! Если хочешь отдохнуть душой, забыться от тягот семейной, холостой, производственной, учебной (ненужное зачеркнуть) жизни, приходи к нам на домашнюю свадьбу-концерт...» В программе было наворочено много всякой смешной чепухи, он был мастер на такие штуки, какие-то мимические номера в исполнении жениха, чтение слов наоборот, застольные песни, лекция доктора Полысаева о пользе голодания, черта в ступе, все забылось, исчезло,— нет, осталось в памяти вот что: «Гастрономические оргазмы. Ответственная — мать невесты, именуемая в дальнейшем теща». Потому что из-за этой фразы среди ночи, во время мытья посу-

ды — мама, Ольга и еще одна женщина, пришедшая помогать, мыли тарелки, Георгий Максимович вытирал, а Сережа, мертвецки пьяный, храпел где-то в комнатах,— возникла легкая словесная распря.

Георгий Максимович высказал недоумение: что за гастрономические оргазмы? Если это юмор, то какой-то антисанитарный. Если не юмор, то позволительно спросить, что имелось в виду. Намеки на какую-то болезнь, что ли? И затем: для чего многократно обыгрывать слово «теща»? Все остроты вокруг тещи исчерпаны еще в девятисотом году. Мама иронически улыбалась, говоря, что нисколько этим юмором не задета, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Но она никогда бы не призналась, если б была задета. Вообще, как обнаружилось позже, мать не хотела ощущать себя тещей, не любила это слово и уж меньше всего претендовала на то, чтобы отличаться в области гастрономии.

Всякий брак — не соединение двух людей, как думают, а соединение или сшибка двух кланов, двух миров. Всякий брак — двоемирие. Встретились две системы в космосе и сшибаются намертво, навсегда. Кто кого? Кто для чего? Кто чем? Пришли его родственники, его мир, и открыли в безумном любопытстве глаза, и увидели ее родственников, ее мир, и хотя, кажется, никогда больше за семнадцать лет не было такой обширной встречи, такого открытого, глаза в глаза, противостояния, но — сшибка тогда началась и длилась все годы неотступно, иногда незримо, неведомо ни для кого. И вот — Сережи нет, а старая война длится.

Войны-то никакой не было. Все устроилось покойно и мирно, если не считать слабых подземных толчков. А Ольга Васильевна нервничала: она угадывала в будущей свекрови углы и колючки, да и сестра, девица с причудами, могла что-нибудь отколоть. Еще боялась за маминого брата, дядю Петю: и он сам, и его семейство люди резкие, крикливые.

Перед тем как сесть за стол, Георгий Максимович всех пригласил в мастерскую. Надо пройти длинным коридором: справа двери в мастерские, слева общая ванная, общая кухня, общая уборная для всех жителей третьего этажа. Был такой нелепый дом постройки двадцатых годов. Гости шествовали, топоча, по коридору, а в дверях общей кухни и общей ванной стояли любознательные жильцы — жены, матери и дети художников,

да и сами художники приоткрывали двери мастерских и выглядывали на шум. Жены и матери художников были не очень-то добры к Ольге Васильевне и ее матери, хотя те жили в этом доме уже восемь лет и можно было бы к ним привыкнуть. Но жены и матери художников почему-то хорошо помнили первую жену Георгия Максимовича и его сына Славу, с которыми Георгий Максимович расстался за несколько лет до войны.

Процессия гостей двигалась в полном молчании, были тягостные секунды, из общей ванной тянуло мыльным паром, там шла стирка, в общем туалете клокотала вода, и вдруг Сережа, сжав пальцы Ольги Васильевны, громким, нахальным голосом запел: «Трам-па-пам...» — «Свадебный марш» Мендельсона. Кто-то подхватил, засмеялись, зашумели, и тягостное исчезло. И тут появилась рыжая Зика, жена художника Васина, с букетом роз. Она немо совала букет Ольге Васильевне и, нагнувшись — длинная, нескладная,— норовила поцеловать Ольгу Васильевну в щеку. Эту Зику Ольга Васильевна почти не знала. Зато потом узнала хорошо.

В мастерской Георгия Максимовича был необыкновенный порядок, чего, конечно, никто не заметил. Все столпились в середине большой комнаты, под сильной, двухсотсвечовой лампой, а Георгий Максимович метал на кресло, служившее пьедесталом, одну за другой свои работы. Ольге Васильевне эти работы не очень нравились. Но, наверно, она чего-то не понимала, потому что жильцы дома говорили о Георгии Максимовиче с уважением и показывали ему свои картины, спрашивая совета. А Ольге Васильевне казалось, что все эти писанные маслом прудики, рощицы, речки, овраги, все эти на больших листах сангиной старики, дети, собаки, руки и головы похожи на множество других картин и рисунков, сделанных давным-давно другими художниками, и было непонятно, зачем нужно повторять то, что уже существует в мире.

Но, по-видимому, зачем-то было нужно. Потому что картины Георгия Максимовича принимались на совете, покупались заказчиками и Георгий Максимович не бедствовал. Он был добрый, образованный, учился в Париже, был знаком с Модильяни и Шагалом, любил вставлять в разговор французские словечки, хотя читал и говорил по-французски очень скверно, когда-то его называли «русский Ван-Гог», но казалось странным: неужели можно, так хорошо все понимая у других, ничего не пони-

мать у себя? Рассказывали, что в юности он писал по-другому. Но те вещи почему-то не сохранились. Георгий Максимович очень любил зазывать людей в мастерскую и забивать их, заморочивать своими картинами. Очевидно, этими прудиками и рощицами он гордился всерьез. Все это было простительно для старика, не избалованного ни славой, ни благоденствием, и, кроме того, мать так сильно его любила, но в день свадьбы тащить людей в мастерскую — это было уж чересчур. И Ольга Васильевна немного на отчима сердилась. Он не постеснялся поставить на кресло серию рисунков — обнаженная женщина на диване, широкие бедра, талия, распущенные волосы, лица не видно. Никто не знал, что это мама. Ольге Васильевне было неприятно, и она старалась не смотреть на рисунки. Все было бы прекрасно, гости одобрительно кивали и, тихо вздыхая, говорили: «Да-а...» — но мать Сергея вдруг задала бестактный вопрос, не относящийся к творчеству Георгия Максимовича.

«Э-э, скажите, будьте любезны,— сказала она,— что это за картина?» — «Это знаменитая «Герника»,— быстро ответил Георгий Максимович, не желавший надолго отвлекаться от своих произведений.— Не картина, а репродукция».— «Чем же она знаменитая? Я что-то слышу о ней впервые».

Потом эта фраза Александры Прокофьевны: «Я что-то слышу о ней впервые» — стала чем-то вроде девиза или пароля, обозначавшего с и с т е м у Александры Прокофьевны. Ольга Васильевна и мать иногда переглядывались и говорили друг другу шепотом: «Я что-то слышу о том-то впервые». И принимались хохотать. Но в тот вечер до хохота было еще далеко, и Георгий Максимович, с неохотой оторвавшись от собственных картин, стал добросовестно излагать, в чем слава и величие «Герники». Гости были озадачены. Георгий Максимович объяснял пылко и усердно. Все понемногу склонились перед его авторитетом и как будто поняли, что хотел изобразить Пабло, но Александра Прокофьевна упорно гнула свое:

«Нет, ваши доводы я нахожу несостоятельными. Ничего, кроме битых черепков и рваных газет, я тут не вижу».— «Мама, это твое личное дело»,— сказала Сережина сестра. «Я с ней поработаю, она подтянется, разберется»,— сказал Сережа. Александра Прокофьевна ответила сыну довольно строго. И тут неожиданно ее поддержал дядя Петя, уже под хмельком раньше всех.

«Вы, милая, совершенно правы в этом вопросе! — заговорил он, наставительно поднимая палец.— А тебя, Егорша, лупцевали за формализм, да видно, мало. Зачем ты эту дребедень сюда вывесил?»

Александра Прокофьевна добавила: «Вы сами, Георгий Максимович, работаете как реалист. У вас женщина — это женщина, голова — голова, нога — нога, это — это...— При этом Александра Прокофьевна смело показывала пальцем на рисунок, изображавший обнаженную мать Ольги Васильевны.— Все у вас на месте. Как же так: проповедуете одно, а творите другое?»

У Георгия Максимовича было трудное положение. Он побледнел, вынул большой фиолетовый платок, стал сморкаться. Что он мог объяснить гостям за пять минут до закусок, до водок, до криков «горько»? Мог ли рассказать жизнь? Ольге Васильевне стало его жаль. Но не успела она открыть рот, чтобы выручить отчима, как мать уже бросилась ему на помощь. «Петя, дорогой мой,— сказала она,— ты, кажется, всю жизнь занимаешься станкостроением. Что бы ты сказал, если бы Егор вздумал учить тебя, как строить станки?» — «Что бы сказал? Да я бы его в порошок стер! — Дядя Петя гоготал, свирепо мотая лохматой седой башкой.— Я бы из него котлет наделал! Я бы его в капусту порубал, нахала этакого!» Все засмеялись, лукаво поглядывая на Александру Прокофьевну. Тогда сестра Сережи сказала: «Знаете ли, будет тоска, если все станут высказываться только по специальности».

На этом, кажется, дискуссия кончилась. И все-таки это были два мира, два клана, уходящие корнями в им самим неизвестную глубь, и, столкнувшись, они стремились — невольно — пообмять и потеснить друг друга. Сестра свекрови Вера Прокофьевна тоже что-то бормотала по поводу живописи. А у Ольги Васильевны осталось отчетливое ощущение счастья и страха: кто-то кому-то не то скажет, обидит... Наконец был торжественный миг,— ради которого все и приглашались в мастерскую,— и Георгий Максимович достал с антресолей большую картину в громоздком золоченом багете, свадебный подарок жениху и невесте. Подлинник французского художника Дювернуа, изображавший старый Петербург. Потом, в тяжелые минуты, на этого Дювернуа не раз покушались, однажды даже вызвали оценщика из комиссионного магазина, но, пораженные малой суммой,— не малой, но

значительно меньше, чем та, которую долгие годы лелеяли в мыслях,— решили оставить. Висит до сих пор. Когда гости выходили, почтительно подталкивая друг друга, из дверей мастерской в коридор, Александра Прокофьевна сказала вполголоса Георгию Максимовичу (в тоне ее прозвучало торжество, Ольга Васильевна услыхала, и сердце ее ёкнуло): «А все-таки, дорогой сват, я с вами не могу согласиться...»

Ночью в общей кухне, где, стараясь не шуметь, мыли посуду, Георгий Максимович шептал: «Родственница у тебя — ой-ой! С характером... Это хорошо, что вы первое время у нас...— И помолчав, добавил великодушно: — У нее интересное лицо. Было бы интересно ее написать». Они были совсем разные люди. Из разных недр земных.

Единственный раз, когда Георгий Максимович напомнил всем, что он ответственный съемщик, и проявил неуступчивость, случился в мае: решалась судьба Иринки. Была первая весна их жизни. Ничего еще не устоялось, все было непрочно, зыбко. Она еще работала педагогом, но искала место, чтобы уйти. Работа в школе была тяжела, ездить далеко. Подруги по университету обещали найти что-нибудь получше, но пока не находилось, и она тянула эту лямку: каждое утро в полседьмого на другой конец города. Сережа испортил отношения с директором музея и тоже намеревался менять службу. С деньгами было худо. И тут обнаружилось, что будет ребенок. Матерям не говорили. Решили срочно что-то предпринимать, потому что —невозможно, нельзя никак. Знакомых докторов по этой части не было, вообще никаких медиков, кроме Влада. Да и с тем полгода не виделись. Он уже окончил, работал ординатором в клинике.

Не хотелось Сереже к нему идти. Она тоже колебалась, но так как Влад всегда был для нее ничего, очень верное, древнее, с детских лет испытанное ничего, она все-таки решила плюнуть на Сережу, которому было неприятно — ей-то самой было вполне ничего, и даже почему-то казалось, что Влад обрадуется,— и позвонила старому другу. Влад, к ее удивлению, не обрадовался, даже как-то растерялся и обомлел, но затем с горячностью и быстротой стал действовать. Приехали к нему, он сделал укол. Сережа стоял рядом с диваном, держал ее за руку и смотрел в сторону.

Признавался потом, что в какую-то минуту почувствовал к Владу ненависть: тот должен был отказаться! Но

Влад с его ослиной добросовестностью... Укол не помог. Влад рекомендовал знакомого доктора, старичка, тогда это запрещалось... Нужно было делать дома, втайне, при закрытых дверях и занавешенных окнах.

Пришлось сказать матери, та сказала Георгию Максимовичу — скрыть было нельзя, да и мать перепугалась, не знала, как быть. Сама она никогда этого не делала. Ей казалось, что это какая-то невероятно постыдная, преступная и к тому же смертельная операция. Она смотрела на Ольгу Васильевну глазами, полными паники, в слезах, и шептала: «Девочка моя, что же нам делать?» Во многом она осталась наивной до конца своих дней, когда превратилась в старуху. Ольга Васильевна делала это потом несколько раз дома и в больнице и поняла, что это не самая страшная боль на свете. Хотя бы потому, что у этой боли есть конец.

Но тогда, в мае, было еще все неизвестно. Георгий Максимович вдруг ошеломил всех: «Я, как ответственный съемщик, запрещаю!» Так и осталось неведомо: то ли действительно боялся нарушить закон, то ли поддался паническому настроению матери...

Иринка появилась на свет благодаря фразе Георгия Максимовича: «Я, как ответственный съемщик...» Когда-то Ольга Васильевна мучила себя нестерпимыми воспоминаниями. Дочка не знала, что ее не хотели. Все успели забыть — Сережа, мать, Георгий Максимович и, наверное, Влад. Но она-то знала, помнила. И когда осенью слякотным днем бежала по Гоголевскому бульвару в сторону Арбата, спешила в магазин и вдруг что-то сжало низ живота с такой силой, что она качнулась, едва не упала, какой-то человек подхватил под руку и повел на бульвар, чтобы посадить на скамью, она тут же подумала: «Это мне за то...» Иринка родилась семимесячная. Только приехали из роддома, она развернула пеленки, Сережа подошел посмотреть, и она крикнула, заслоняя собой: «Не смотри, не смотри! Потом! Уйди!» Не могла, чтоб увидел такое жалконькое, тщедушное. Дня через три показала ему это тельце, уже напоминавшее ребенка. Теперь Иринка, кажется, самая высокая в классе. А Сережи нет на земле.

Так быстро все это пронеслось.

Ведь была долгая жизнь, не обозримая памятью,— отчего же так быстро? Все перепуталось. Оно и быстро, и кратко. То, что было долгим, теперь похоже на миг, а

нынешний миг тянется без конца, без смысла. Как-то в декабре, вскоре после того дня, разрубившего жизнь, она сказала дочери — минута отчаянья, ведь ближе нет никого, хоть от кого-то получить каплю утешения, но было слабостью ждать этой капли от девочки,— сказала, впрочем, больше для себя и для кого-то, кто не мог слышать: «Какая у нас с отцом была хорошая жизнь!» В этом вздохе была, конечно, не вся правда. В этом вздохе была ложь. Просто жизнь, хорошая ли, не очень хорошая, плохая, скверная, не имело значения, жизнь — этим все сказано. Жизнь есть, и жизни нет, промежуточного не существует. Все в мире относится туда или сюда, и, может, в этом в единственном скрыто не только вечное ее, Ольги Васильевны, страдание, но и надежда. Тогда она этого не понимала, теперь лишь догадывается, и то смутно.

Девочка почувствовала ложь фразы, сказанной «для кого-то, кто не мог слышать», и, посмотрев косо, произнесла: «Хорошенького понемножку».

Ольгу Васильевну это сразило. Не нашлась, что ответить. Фаина, умнейшая женщина, старинная подруга, еще с детства, с довоенных лет, сказала: «Она у тебя, конечно, эгоистка каких мало, тут уж вы с Сережкой постарались, а особенно бабка. Но дело не в этом. Она сейчас за тебя боится, вот и предупреждает: «Хорошенького понемножку»... Фаина считала, что нужно срочно искать мужа: «Не будь дурой. Сергея не вернешь, а себя погубишь. Имей в виду, у тебя времени в обрез: год, два, потом пиши пропало». Еще и двух месяцев не прошло, она звала в какую-то компанию, но Ольга Васильевна отказалась — какие там компании, когда от чужих людей тоска еще жутче, потом звала в Новгород на рождество, тоже отказалась, поехали с Иринкой в пансионат «Березки», но и там тоска, сбежала оттуда, Иринку оставила с молодежью, а Фаина не отвязывалась, упорная девка — сорокатрехлетняя девка, мужем брошенная, сын в армии, мать в богадельне,— звала на старый Новый год к знакомым архитекторам, милым, интеллигентным: не бойся, дура, никто на тебя не посягнет, просто отдохнешь, музыку послушаешь. Не могла ни к милым, ни к грубым, ни к интеллигентным, ни к каким.

Не почему-либо, не в силу каких-то принципов, а просто — нет охоты.

Тогда, после безжалостных слов дочери, Фаина, поколебавшись, тоже высказала некую правду, не слишком

усладительную,— наверное, полагала, что дает лекарство, горчайшее, но нужное: «А ты на самом деле считаешь, что жизнь у вас была хорошая?» Ольга Васильевна ответила: да. Что было отвечать? Не знаю? Вам видней? Долгие годы бок о бок с лучшей подругой, лучшей советчицей, лучшей завистницей, лучшим шпионом всех кратковременных счастий и бед, научили главному правилу в отношениях с этим существом: ставить себя на место Фаины и пытаться поглядеть оттуда. Фаина, разумеется, была глубоко несчастна. Рядом с нею Ольга Васильевна всегда ощущала себя бесстыдной, возмутительной богачкой. Происходил постоянный перелив избыточного добра, благоденствия, наглого женского довольства — так временами казалось Ольге Васильевне, она даже себя одергивала — из одного сосуда в другой. Впрочем, точнее говоря: ей казалось, что так кажется со стороны, и в первую очередь так кажется бедной Фаинке.

Вдруг обнаружилось, что Фаина представляла себе все иначе. И теперь с помощью этих неожиданных и так упорно скрывавшихся представлений даже осмелилась ее, Ольгу Васильевну, ободрять. Да полно! Неужто их жизнь нельзя назвать хорошей? Их жизнь — это было цельное, живое, некий пульсирующий организм, который теперь исчез из мира. В нем было сердце, как в живом организме, были легкие, гениталии, органы чувств; он развивался, расцветал, болел, изнашивался, но умер не от старости и не от болезней, а оттого, что исчезла материя, дававшая ток его крови. Странное создание была их жизнь! Никто не мог понять, что это такое. Все только догадывались, улавливали какие-то формы в воздухе, фантазировали, неясно предполагали, что их жизнь выглядит так-то, состоит из того-то и этого. А они сами... И они сами не могли бы ничего определить словами. То Ольга Васильевна думала совершенно искренне, что их жизнь хороша, то тяготилась ею, а временами — были такие часы, дни — ей казалось, что она ужасна.

Теперь не верилось, что такие мысли приходили в голову, что она иногда ненавидела их жизнь.

Но было, было! Хотя бы той зимой на Сущевской, когда он мучил ее рыжей Зикой, женой Васина. Кончилось унижением, почти забылось, память выдавила эти страдания и этот стыд из себя, но ведь было — давно, четырнадцать лет назад — и тоже принадлежит к их жизни. Ей казалось, что он неравнодушен к Зике. То, что та с

ним кокетничала и, наверное, не шутя стремилась его обольстить, было естественно: женщинам он нравился. Она это знала и страдала. Но знала она и то, что он ленив, тяжел на подъем, что к кокетливым, глупым женщинам равнодушен и женскому обществу предпочитает разговор с мужиками под водку и огурцы. Однажды, когда она выпытывала у него, мог бы он ей изменить, он со вздохом сказал: «Помнишь Хемингуэя: «Если б не надо было с ними разговаривать»...»

Зика была молодая, здоровенная, с длинными руками и ногами, могучими чреслами. Скульпторы с первого этажа просили ее позировать для тематических работ, всяких там дискоболок или колхозниц с корзинами на плечах, олицетворяющих изобилие. Зикина телесная мощь пугала Ольгу Васильевну: ей казалось, что для него этот тип притягателен и напоминает забытую Брунгильду. Лицо у Зики было ничего, круглое, свеженькое, всегда слегка улыбающееся, в белокурых кудряшках. Простоватое личико. Она что-то делала в детском издательстве как книжный график, марала акварелькой вполне бездарно. А Васин был тщедушен, некрасив, стар — Ольге Васильевне казалось тогда, что стар,— лет сорока с лишком. Вдвое старше Зики. Все началось с дружбы, взаимных приглашений, чаепитий, выпивок под магнитофон: тогда это увлечение вошло в моду, Васин купил громоздкий и тяжелый, как сундук с железом, магнитофон «Днепр», всех записывал, всем велел петь, болтать, читать стихи, и тут же наговоренную ерунду с восторгом слушали.

Васин много зарабатывал официальными портретами, которые делал с напарником Аркашей. Они размечали холст клетками и лепили фабричным способом, быстро и ловко. Иногда Зика помогала. Кроме того, Васин работал для себя, или, как он выражался, «на модистку»,— писал этюды, очень недурные. Георгий Максимович считал его талантливым и беспутным, говорил, что «такими талантами Дорогомиловка вымощена». Васин был пьяница.

Он повторял стихи Саши Черного насчет модистки для тела и дантистки для души. «Теперь всю неделю,— говорил,— буду работать для модистки». Или же: «Сегодня полдня провел с дантисткой. Такая сладость, так хорошо!» Это значило — мчался куда-то с этюдником на электричке, где-то мерз, мок, писал, наслаждался. В общем, Валера Васин — жаль, умер еще не старым; до

шестидесяти, пьянство его своротило, а Зика бросила — был художник истинный, жил как во сне, работал как во сне и просыпался только за мольбертом, когда делал настоящее и любимое. К гостям он был равнодушен, мог жить один, пить один, но Зика изнывала от скуки и тянула его в суету. Он Зику сильно любил и делал все, что она хотела.

А та была хитра, подлаживалась к Ольге Васильевне, льстила ей, лезла в подруги. «Хочешь, с девкой погуляю? Молока не надо? Иду в магазин...» И все попросту, по-товарищески. Однажды деньги в долг дала. Ольга Васильевна сперва поддавалась, а потом сообразила, что дело нечисто. Стала от Зикиных приглашений отлынивать и Сережу не пускать.

Сережа — в амбицию. Почему притесняют? Она не могла объяснить, а он не догадывался. Тут была мизерная ревность. Настолько мизерная, и по-видимому, на пустом месте, что говорить о чем-то было стыдно. Но она не могла побороть себя. «В чем дело? Почему ты не хочешь, чтоб я ходил к Валерию?» — «Не хочу — и все».— «Это диктат!» Он вспыхивал и бежал к Васину. Всю жизнь боялся, что из него хотят сделать подкаблучника. В то время он ушел из музея, еще нигде не устроился, был нервен, нетерпелив. Она пропадала днями в школе, а он оставался дома, помогал матери Ольги Васильевны ухаживать за Иринкой, ходил на Минаевский рынок, приносил еду, притаскивал ведрами воду — воду набирали в кухне, в большом коридоре, ходить нужно было раза три в день.

От домашней колготни, от безделья, безденежья и, главное, от неизвестности, куда и как дальше,— из музея ушел наспех, не успев подготовить места,— он вечерами падал духом. Маялся, не знал, куда себя деть. Тут дылда и подстерегала его. Только непонятно: зачем он был ей нужен?

Теперь его нет, он никому не нужен.

Однажды Ольга Васильевна пришла в мастерскую к Васину и увидела, что Сережа сидит за столом, повязанный, как салфеткой в ресторане, грязноватым вафельным полотенцем, а Зика стрижет его. «Что сие значит?» — поинтересовалась Ольга Васильевна. В ответ ей был хохот. И Васин, и кто-то из его приятелей так хохотали, что не могли вымолвить ни слова. Оказалось, он проиграл волосы в покер. Зика очень естественным, веселым

тоном успокаивала: «Не волнуйся, Олечка, я сниму чуть-чуть, самую малость. Чисто символически. Ему будет даже лучше».

Ее поразило, что он сидел покорный, как овца.

Неизвестно, что там было между ними. Может, что-то и было. Может, и ничего. Ольга Васильевна перестала с Зикой здороваться. Та сделалась врагом. Вся эта перемена — от близкой дружбы до лютой вражды — произошла с необыкновенной быстротой, за два или три месяца. Совершенно исчезло из памяти, как эта ссора развивалась, были ли какие-то разговоры с Зикой до той встречи в пустом коридоре. Весною Ольга Васильевна уже стала ее бояться. Зика смотрела исподлобья в упор, а когда случайно сталкивалась на кухне или в коридоре, никогда не уступала дороги, всегда шла прямиком и еще норовила задеть. Кажется, Ольга Васильевна что-то сказала про нее очень метко, женщины передали, и началась ненависть. Все подробности испарились, но вот что осталось: ее война с Сережей из-за этой несчастной испарившейся Зики, из-за пустого, химеры какой-то, но Ольге Васильевне тогда казалось, что от исхода этой войны зависит жизнь. Любит ли он ее настолько, что готов отказаться — если она умоляет — от мелкого удовольствия потрепаться за рюмкой в васинской мастерской? Как она страдала и как верила в свою правоту! Что может быть яснее, думала она: если любит, значит, откажется. Если не любит, значит, будет ходить. Безошибочная проверка. Но он почему-то ясности тут не видел. Ему нужны были доказательства. Он требовал ордера на арест.

«В тысячу первый раз: почему? Может, ты дошла до такого безумия, что ревнуешь меня к Зике?» — «Я просто прошу! — едва не плача, говорила она.— Прошу, прошу, больше ничего! Я тебя умоляю на коленях!» И однажды вправду бухнулась на колени, он испугался и обещал сделать все, что она просит. Хорошо, больше туда не пойдет. Она очень любила его в те минуты, потому что вдруг открылось то, что она жаждала увидеть. Но прошло часа полтора — дело происходило на рассвете, не спали всю ночь,— и он опять за свое: «Нет, чистой воды сумасшествие, невозможно... Ты требуешь слепой веры, как отцы церкви... Верую, хотя это абсурдно...» И к ней после прилива радости приходили печальные мысли: слезами, бессонными ночами она выманила у него уступку в ничтожном деле. Подумаешь, перестанет ходить к Васину! А как

дальше? Каждый раз рыдать, на колени? Могут быть просьбы куда серьезней. А он будет стоять, как скала.

И еще мучило сознание, что ссорятся так отчаянно, до слез, из-за пустой девицы, которая не стоит и того, чтобы тратить на нее презрительный взгляд. Вот бы та ликовала, если б узнала, какие из-за нее страсти! Конечно, это было безумие. И Ольга Васильевна была глупа, не понимала важного, мучилась из-за чепухи...

Он продолжал ходить к Васину. Теперь делал это из упрямства и из принципа.

Они занимались еще вот чем: пытались друг друга воспитывать для будущей жизни. Были тяжелые дни. Ольга Васильевна рвалась уйти к матери, хотела с ним развестись, вот тогда она ненавидела и х ж и з н ь, которая лишь начиналась. И совсем не осталось в памяти, что́ же предшествовало встрече в коридоре, которой вся эта история завершилась. Может быть, она и наговорила что-то лишнее общим знакомым. Из тех сплетен, что ходили про Зику. Некоторые перестали у Васиных бывать. Все в доме уже знали, что между Зикой и Ольгой Васильевной вражда. Васин тоже перестал здороваться с Ольгой Васильевной, а заодно и с матерью Ольги Васильевны и с Георгием Максимовичем. А Георгий Максимович, как член закупочной комиссии, зарезал две картины Васина. И тот напился пьяный, подходил к двери и кричал всякие дерзости. Ольга Васильевна увидела на улице Зику с заплаканным лицом. Кажется, теперь уж было невероятно, чтобы он бегал к Васиным.

Шла большим коридором, а впереди из-за угла вывернулась Зика. Они были одни. Зика шла не сворачивая, прямо на Ольгу Васильевну, и уставились друг в друга, зрачки в зрачки. Успела подумать: «Глаза сумасшедшей...» Та подошла вплотную, белыми губами задвигала: «Я все поняла, мелкая душонка, ты своего мужа погубишь, ну это черт с ним. А если меня и Валерия не оставишь в покое, я тебя уничтожу! Поняла?» И рукой громадною замахнулась.

Ольга Васильевна побежала по пустому коридору. Страх был как жар — охватил всю. Вспоминать немыслимо.

А с Фаиной любили покупать горячие бублики в ларьке на углу улицы Чехова и Садовой. Там и до войны продавались горячие бублики. По шесть копеек. И осталось в крови, в зубах неизжитое детское наслаждение:

уличная благодать, квадратное маленькое окошко, туда монетку, оттуда, из пахучей глубины, высунется добрая рука с мягким, живым, только что из утробы, воздушным, прожаренным бубликом. Потом гулять, жевать, жуировать жизнью: по Садовой вниз, к Самотеке, оттуда на Цветной бульвар, там суета, многолюдство, цирк, рынок, такси, цыганки, комиссионка, кинотеатр — что душе угодно. И ресторан «Нарва» рядом. Когда надо было утешиться, поговорить на свободе,— а Фаина в те годы обреталась на Красногвардейской, в коммунальном муравейнике, в одной комнатке с матерью, сыном, мужем и еще с какой-то пыльной, лежалой родственницей, не разговоришься,— шли туда, на Цветной. В кино с горя, а то на рынок, наглядятся, натолкаются, ягод купят, грушу бера сладчайшую, или арбуз, или просто семечек жареных по стакану, походят, побродят по бульвару, пожалуются друг дружке — и легче жить.

Фаина сказала: сейчас же к районному прокурору. И одновременно к ней на работу, где она своими акварельками промышляет. У Фаины был друг, газетный работник, прямо с бульвара, из автомата, позвонили ему насчет статьи или скорей всего фельетона. Ольга Васильевна кипела страстным желанием отомстить. Хотелось упечь Зику не меньше чем года на два за хулиганство.

Но когда поздним часом подходила к дому, не испытывала ничего, кроме головной боли и какой-то тяжкой разбитости во всем теле, будто после болезни. И решила никому не рассказывать. Стало жаль Сережу нестерпимо: что бы он испытал, если б рассказала! Так это и погибло в пустом коридоре. И мать не узнала.

Не вспоминать, не вспоминать! Но видеть Васиных, сталкиваться с этой женщиной в коридоре или в общей кухне Ольга Васильевна не могла. Впрочем, и та стала Ольгу Васильевну избегать — в глаза не смотрела и сторонилась. Вскоре переехали на Шаболовку. Свекровь осталась одна после смерти дочери, Сережа просил Ольгу Васильевну переехать, она согласилась с облегчением: там не было длинного нелепого коридора, в котором попахивало масляными красками и скипидаром, не было шумных сборищ по вечерам, не было споров о колорите, французах, супрематизме, не было возбужденной толкотни по всем этажам в дни работы закупочных комиссий, не было общей ванной с цементным полом и объявлением на стене: «Мыть кисти над ванной категорически запре-

щено!», не было кухни с четырьмя плитами и четырьмя столами, не было мамы, не было Георгия Максимовича, все еще мечтавшего кого-то удивить, если не мир, то просто соседей по этажу, и не было Васина и его жены Зики. Зато там была свекровь. Фаина говорит: если бы жили не со свекровью...

Это неправда, ведь для него житье с матерью вовсе не было таким искусом, как для нее. Если бы причина была в старухе, скорее остановилось бы сердце у нее, а не у него. Но, конечно, ее присутствие и всегдашнее поучительство были добавком к чему-то главному. После сорока лет с мужчинами происходят странные вещи: они понимают про себя что-то такое, что было им недоступно прежде. Одни успокаиваются навсегда, других охватывает душевная смута. Вот и он подпал под чары такой смуты. Это возникло незаметно после того, как Праскухин перетащил его в институт. В музее было тихо, безденежно и безнадежно, но зато невероятное спокойствие, а в институте началось: обещанья, надежды, проекты, страсти, группировки, опасности на каждом шагу, Праскухин против Демченко, Демченко против Кисловского, потом Гена Климук, потом затеялась вся эта история с переменой темы диссертации. Он метался, сначала то, потом другое, потом третье. То история московских улиц, а то охранка, а то и вовсе посторонняя наука. Его сгубили метания. Сначала увлекался, потом неизбежно остывал и рвался к чему-то новому. Вечно рвущийся куда-то неудачник. Боже мой, ну и что? Она никогда не попрекала его, не требовала чего-то неисполнимого. Нет средств на Ялту — будем жить в Василькове, у тети Паши. Нет денег на телевизор — будем слушать радио. Никогда в жизни не говорила ему: вот тот уже там-то, а ты еще здесь. Не заставляла его надрываться, выбиваться из сил, чужие успехи ее не задевали.

Наоборот, говорила ему: не нужна нам твоя диссертация! Нам нужно твое здоровье. Оставайся младшим научным, только, ради бога, не мучайся, не гоношись, не тарань лбом стену, твой лоб для этого не пригоден.

Скорее уж свекровь страдала оттого, что сын не процветает, как другие. Александра Прокофьевна очень не любила некоторых его товарищей школьных лет, которые кое-чего добились, и когда они приходили в гости, она была с ними холодна. Ей казалось, что ее сын замечательный и достоин лучшей участи. А Ольге Васильевне

были чужды муки тщеславия. Ее мучило другое. Конечно, семь лет угроблено на музей, никакой отдачи, никаких накоплений, сам виноват: постоянно разжигали его пустые грезы. Но и они виноваты, все, все, кто был вокруг! Виноваты злодейски, жестоко: не могли остановить эти колеса, вертевшиеся впустую...

Семь лет! Те годы, когда ровесники делали лихорадочные усилия, совершали рывки и проталкивались дальше и дальше. А он жил так, будто впереди у него девяносто лет. Были какие-то планы, делались изыскания в архивах, велись переговоры с издательством на тему «Москва в восемнадцатом году», и был некий Илья Владимирович, который что-то обещал и продвигал, но все кончилось ничем. После множества встреч, телефонных звонков, застолий и чаепитий Илья Владимирович обнаружил полнейшую никчемность. Александра Прокофьевна возмущалась: «Почему к тебе липнет всякая дрянь?» Он по обыкновению оправдывался и защищал прощелыг, которые его подводили: «Но ведь Илья Владимирович не хозяин издательства, он такой же клиент, как я!» Работа нескольких лет — за эти годы выросла и поступила в школу Иринка, произошла перемена квартиры, капитальный ремонт с настилкой паркета, и она, Ольга Васильевна, стала старшим научным сотрудником, а затем и заведующей лабораторией ВНИИС,— вся его долгая возня с «Москвой в восемнадцатом году» кончилась неудачей, книга не вышла. Правда, некоторые материалы оттуда он использовал для первого варианта диссертации, но ведь этот вариант отпал. Появилась новая тема: Февраль, царская охранка и прочее. И тут образовался тупик, какая-то непрошибаемая стена, и последовали прочие неприятности: ссора с Климуком, увлечение этим домом на набережной и все, что с ним было связано, предательство Климука...

Она знала все выражения его лица, знала его походку и то, как у него менялся голос, когда обрушивалась очередная неудача или же наплывала новая изумительная греза.

Конечно, когда познакомились, он был другим.

Неудачи из года в год добивали его, вышибали из него силу, он гнулся, слабел, но какой-то стержень внутри него оставался нетронутым — наподобие тоненького стального прута,— пружинил, но не ломался. И это было бедой. Он не хотел меняться в своей сердцевине, и это

значило, что, хотя он мучился и много терпел от неудач, терял веру в себя, увлекался нелепейшими безумствами, заставлявшими думать, что у него помутился разум, приходил в отчаянье и терзал всем этим свое бедное сердце, он все же не хотел ломать то, что было внутри него, такое стальное, не видимое никому. А она все равно любила его, прощала ему и ничего от него не требовала.

Спустя две недели после похорон возник Безъязычный. Ольга Васильевна не была с ним знакома, но слышала фамилию от Сережи. Забыла, в какой связи. Кажется, он участвовал в разбирательстве Сережиного «дела», но Ольга Васильевна совершенно не помнила, какова была его позиция. Люди там разделились, по словам Сережи, на три категории: было несколько подлецов, были умеренные и были люди, которые вели себя безукоризненно. Ольга Васильевна нервничала оттого, что не знала, с кем был Безъязычный и как ей с ним разговаривать. Он пришел с пожилой женщиной по фамилии Сорокина.

— Вы меня извините, я вот зашла к вам в гастроном,— говорила Сорокина, улыбаясь виновато и искательно, и показывала зачем-то сумку с продуктами.

Секунды две она шарила глазами, определяя, куда сумку поставить, и не нашла ничего лучше, как поставить ее на ящик для обуви. Ольга Васильевна молча взяла сумку и перенесла ее на столик под телефоном.

— Какой ваш гастроном-то чудный! И «докторская» колбаса, и сырки глазированные, а у нас редко когда бывают. Хотя наш вот тоже считается диетический...

Произнося эту муру, женщина смотрела на Ольгу Васильевну с таким чувством и придала голосу такое выражение проникновенной сострадательности, будто ее похвала гастроному, рядом с которым посчастливилось жить, могла хоть на ничтожнейшую крупицу облегчить горе Ольги Васильевны. Заметив, что Ольга Васильевна не поддерживает разговора о гастрономе, Сорокина, вздыхая, сняла плащ, шляпку и затем некоторое время никак не высказывалась, а только вздыхала.

Прихода людей с Сережиной службы Ольга Васильевна ждала с тоской. Они не могли принести ничего, кроме боли. Все люди, хоть как-то, хоть немного знавшие Сережу, приносили боль. Но было ясно: надо выдержать, и чем скорее они придут и уйдут, тем лучше. Оба эти

человека были из профкома и, как поняла Ольга Васильевна, выполняли какое-то общественное поручение. Похороны миновали, захоронение урны произошло, так что похоронная комиссия была распущена, а эти люди принадлежали к «бытовой комиссии» или к какой-нибудь еще в этом роде. Они пришли ненадолго. Творог мог подкиснуть, если разговор затянется, но Ольга Васильевна не предложила сунуть его в холодильник. Она не могла делать над собой никаких усилий. Безъязычный топтался на коврике перед дверью, оглядывался, мычал невнятно, Ольга Васильевна не понимала, чего он хочет, потом вдруг решительно стал снимать ботинки и остался в носках. Ага, он не хочет грязнить пол, на улице мокро. Как будто Ольгу Васильевну могли сейчас заботить полы.

Почему эти люди так ничего не понимают? Пришлось дать ему Сережины летние босоножки, стоявшие на виду, возле дверей. Это было неприятно, и с его стороны бестактность: брать Сережины босоножки.

Свекровь что-то делала на кухне, куда Ольга Васильевна зашла, чтобы поставить на огонь чайник. Надо же было как-то их принимать. Александра Прокофьевна сказала, что не выйдет к ним.

— Видеть их никого не желаю,— сказала старуха.— Сначала травят, потом приходят выражать сочувствие. Не знаю, о чем можно с ними разговаривать.

Выходило, будто Ольга Васильевна может с ними разговаривать, потому что как бы занималась с ними одним делом: травила Сережу. Хотела пропустить мимо ушей, но не сдержалась:

— Эти люди не травили Сережу, не надо говорить лишнего. Они ни в чем не виноваты и пришли проявить обыкновенное, казенное внимание. Вообще Сережу никто не травил.

— Травили,— сказала Александра Прокофьевна и вышла из кухни.

Ольга Васильевна села на табуретку и минуту-другую сидела не двигаясь: сильно билось сердце. Сережу не травили. Ему причиняли зло не намеренно, а просто потому, что какие-то люди преследовали свои цели. Это другое. Она слышала, как Александра Прокофьевна прошла в свою комнату и щелкнула замком. Было неловко перед чужими людьми. Впрочем, пускай! Не имело значения. Она поднялась, пошла в большую комнату, неся что-то в вазочке. Двое из профкома сидели у стола в окаменев-

ших позах, означавших глубокое уныние. Женщина при этом чуть заметно качала головой, глядя в одну точку, в пол. Вероятно, ей представлялось, что такой позой и таким чуть заметным покачиванием головы должно выражаться истинное сочувствие. «Какая дура!» — подумала Ольга Васильевна. Безъязычный тотчас вскочил, стал говорить, что они пришли буквально на минуту, не нужно никаких хлопот, никакого чаю. Он был коротконожка, румяный, с крепким, моложавым лицом, волосы подстрижены бобриком, совсем седые. Непонятно, какого возраста, наверное, лет пятидесяти. На нем был черный костюм, пиджак, очень широкий и мятый, с несоразмерно большими плечами, подбитыми ватой. «Надел специально, чтоб прийти к вдове,— подумала равнодушно.— Черный. Из сундука».

— Вот несколько предметов, принадлежавших Сергею Афанасьевичу...— Он вынул из портфеля железную коробку из-под чешских сигарет, в которой что-то бренчало, линейку, складной туристический нож, применявшийся, по-видимому, для открывания консервов и вытаскиванья пробок в часы «сабантуйчиков», которые в отделе устраивались нередко, три затрепанные книжки, гребень с длинной ручкой, футбольный календарь за 1969 год, номер «Иностранной литературы» и какую-то старую записную книжку, телефонную, с загнувшимися завитком страничками. Каждую вещь он доставал и выкладывал на стол с осторожностью, как будто это было стекло.

Ольга Васильевна остановившимся взором смотрела на всю эту мелкую, случайную чепуху, которую зачем-то принесли сюда, и думала: «Должно быть, больно глядеть на вещи мужа, который умер. Для чего же тогда это делают?» Ей хотелось взять все это и выбросить. Она собрала вещи и перенесла их на подоконник, чтобы не видеть.

Безъязычный протянул конверт, говоря что-то. Она поблагодарила и стала разливать чай. Какие-то деньги от профкома. Безъязычный, отпивая неслышными глотками чай, говорил о том, что все в отделе горюют и как недостает Сережи, потому что его многие любили. Эта фраза задела Ольгу Васильевну, и она как бы очнулась. Почему он сказал *многие любили*? По правилам этой игры он должен был сказать «его все любили», или же «его у нас любили», или, на худой конец, просто «его

любили». Но он сказал многие любили, что означало, что находилось — и находятся теперь, когда его уж нет,— какие-то немногие, которые его не любили и все еще не любят. Разумеется, такие есть. Ольга Васильевна нисколько не сомневалась в существовании немногих, но намекать на них вдове в первые же минуты визита было как-то странно.

Она посмотрела внимательно на Безъязычного, стараясь еще раз припомнить, что говорил о нем Сережа. Ничего не вспоминалось.

— Вы говорите так, будто Сергей Афанасьевич до последнего дня работал в институте, находясь со всеми в мире и согласии. Будто не подавал заявления об уходе,— сказала Ольга Васильевна.— Практически он считал себя уволенным.

— Но это неверно! Вы глубоко заблуждаетесь! — Безъязычный прикладывал руку к груди.— Я знаю про заявление. Но, во-первых, вопрос оставался открытым до того, так сказать, до трагического дня... Директор был в отпуске. А Геннадий Витальевич этот вопрос решать категорически не хотел.

— Геннадий Витальевич не хотел? Про Геннадия Витальевича можете мне не рассказывать. Он-то как раз хотел больше всех, но только — чтоб чужими руками.

— Я уверяю вас: вы заблуждаетесь!

— Нет, не заблуждаюсь.

Этот человек неспроста сказал: многие любили. Он проговорился. Теперь ясно, что это был враг Сережи или, может быть, сочувствовал его врагам. Неужели дошли до такой низости, что посылали сюда с деликатным поручением Сережиного врага?

— Сергей Афанасьевич работал вот как раз в нашем секторе,— дрожащим голосом заговорила женщина и, сняв очки, уткнув мясистый подбородок в грудь, стала протирать очки платком. Лицо ее приняло совсем плачущее выражение, голос звучал едва слышно.— Революции вот и гражданской войны... Мы с ним работали шесть лет вместе... Он был прекрасный человек, очень вот добрый, отзывчивый... хороший человек...

Мясистый подбородок дрожал. Ольга Васильевна смотрела на женщину холодно.

— Интересно, как вы оба голосовали при разборе этого пресловутого Сережиного «дела»? — спросила она.

Женщина вздрогнула, глаза ее расширились и проде-

лали мгновенное вращательное движение. Разумеется, Ольга Васильевна спросила грубо и, наверное, поставила гостей в неловкое положение, но ведь они тоже: сидят тут, пьют чай, разговаривают о Сереже...

— Я не голосовал вовсе по причине моего отсутствия в столице. Я был в Польше, в командировке,— сказал Безъязычный и махнул презрительно рукой.— Да ну, знаете ли...

Жест и тон означали: стоит ли вспоминать об этой чепухе? Сорокина сказала:

— А я, кстати, голосовала за то, чтобы вот на вид...— Она покраснела.— Это было единственное, что было вот самое в тех условиях...

Тут вошла, вернее — бесцеремонно влетела по своей привычке Иринка и попросила полтора рубля поскорее, пока не закрылся универмаг. Выпалив это, она заметила гостей и сказала:

— Здрасьте!

Ольга Васильевна представила дочь, та очень приветливо, обаятельно улыбнулась, как она умела улыбаться, когда нужно было выклянчить деньги.

Ольга Васильевна рылась в сумочке, собирая серебро и медь.

— Ой, что я вижу? — обрадованно крикнула Иринка, бросившись к подоконнику.— А я его искала, искала! Откуда он здесь?

Она схватила гребень с длинной ручкой.

— Это принесли с папиной работы. Вот тебе полтора рубля..

— А...— Поколебавшись, Иринка положила гребень назад на подоконник, потом спросила:— Мам, можно я его возьму? Ведь ты мне купила, помнишь?

— Возьми,— сказала Ольга Васильевна.

Иринка убежала. Видимо, кто-то ждал в прихожей, зашептались, хлопнула дверь. Гости сидели. Говорить было не о чем. Казалось, сейчас встанут и пойдут, но Безъязычный завел разговор о незаконченной Сережиной диссертации. Будто бы есть мнение ученого совета — решения пока нет, но раздаются голоса,— чтобы работу завершить силами института и издать в виде монографии. Выделить специальных людей. Работа плановая, весь отдел заинтересован. Придется подобрать неиспользованные материалы, найти то, что осталось у Сергея Афанасьевича в папках, на рабочем столе. Все рассчитывают на

помощь Ольги Васильевны. Она почувствовала, как в ней закипает раздражение.

— Я займусь этим, когда будут силы и время,— сказала она.— Сейчас ничего искать не стану.

— Конечно, конечно! Разумеется, Всеволод Борисович...— залопотала Сорокина.— Когда Ольга Васильевна сможет...

— Это абсолютно в интересах Ольги Васильевны,— сказал Безъязычный.

В коридоре Безъязычный неожиданно сказал своей спутнице, подав ей пальто:

— Полина Романовна, извините, я не смогу вас проводить. Мне надо Ольге Васильевне два слова...

Вернулись в комнату. Ольга Васильевна не хотела вести разговор в коридоре, под дверью комнаты свекрови. Почувствовала, что предстоит неприятное. Безъязычный сказал, что ему неловко говорить, но выхода нет, потому что дело общественное. Он председатель правления кассы взаимопомощи. Сергей Афанасьевич взял сто шестьдесят рублей с обязательством вернуть в течение полугода, но прошло почти два года, деньги не возвращены, и теперь возникла сложность: касса пуста, есть заявления с просьбой о небольших ссудах, удовлетворить невозможно. Есть правление, есть решение, есть суждения всех без исключения, есть мнение, есть изумление... Так вот: каково положение?

Ольга Васильевна слушала ошеломленно. Слова долетали сквозь плотный воздух.

— Таких денег у меня нет,— сказала она.

— Собственно говоря, тут дело обстоит таким образом... Понимаете, мы не имеем права... Если только общее собрание всех пайщиков, но захотите ли вы...— Безъязычный бормотал, дергаясь румяным тугим лицом, как бы неслышно и нарочно чихая, что означало, по-видимому, сильную степень смущения.— Поверьте, мне неприятно... Но я выполняю...

Ольга Васильевна сказала, что на Сережиной книжке лежит сто рублей. Но эти деньги она сможет получить не скоро, когда вступит в права наследства. Что касается ста шестидесяти рублей, взятых в кассе взаимопомощи, то она слышит о них впервые.

— Когда он брал эти деньги?

Безъязычный достал из кармана блокнот, полистал его, нашел: деньги были выданы пятого марта семьдесят

первого года. Откуда все это свалилось? Зачем ему понадобились такие деньги? Женщина. Это сразу пришло в голову, бросило в жар, она очень спокойно сказала:

— Я действительно впервые слышу. Обычно он делился со мною всеми тратами, долгами...— Это была неполная правда, но все же в общих чертах правда.

— Тогда мне еще более неприятно. Извините меня.

После паузы сказал:

— Я постараюсь сделать все, чтобы убедить членов правления, учитывая обстоятельства... Вам придется, может быть, сочинить бумагу... Что смогу, я сделаю! — Он прикладывал руки к груди и наклонял голову.— Большинство товарищей хорошо относились, так что я надеюсь... Я поговорю кое с кем предварительно...

В таком духе он продолжал бормотать, прижимая руку к груди и кланяясь, пока двигался из комнаты в коридор. Кажется, было сказано все. На сей раз конец. Зачем же дали деньги в конверте, если сами требуют от нее? Все было смутно. Ольга Васильевна смотрела на коротенького, седого, в черном и мятом старомодном, пятидесятых годов, костюмчике и что-то говорила, не слыша себя. На прощанье он сказал:

— Так вам позвонят насчет монографии. Вы уж там поищите, соберитесь. Ту папку, про которую я говорил, с розовыми шнурочками.

Раньше, когда возникали внезапные неприятности и она не знала, как поступить, всегда советовалась с Сережей. Обыкновенно вечером, перед сном, когда Иринка уже спала, а свекровь забивалась к себе в комнату. В своих делах он ничего не мог добиться, но ей советовал толково. Легко умел успокаивать, когда ее обижали. А теперь — к кому? Свекровь знать не должна, потому что ничего, кроме злорадства, не испытает. Усмотрит в этом подтверждение своей веры в то, что они не были близки и он жил отдельной жизнью. Ольга Васильевна ощущала томящее чувство, которое не было ревностью, а было чем-то совсем другим, иного качества: как бы перегоревшей ревностью. Ей как бы вручили урну с этим странным прахом. Ревности уже не было на земле, но ее останки она держала в руках, прижимая к груди.

Почему-то была убеждена в том, что тут замешана женщина. Прах, прах, ничего, кроме праха. Но руки ее дрожали. На ее собственной сберкнижке лежало двести восемьдесят рублей, накопленные Сережей и ею для це-

левой траты — покупки телевизора. Снимать оттуда деньги для покрытия сомнительного долга глупо. Сережа говорил:

— Старуха, не суетись.

Это была его фразочка, которую кстати и некстати он повторял десять раз на дню. Хороши эти господа: месяца не прошло — бегут к вдове с векселем! Но одно она знала твердо: они были близки по-настоящему. Ближе человека у него не было. Пусть свекровь замолчит. Последние годы он с матерью не делился, скрывал от нее разные свои неприятности. Говорил:

— Есть вещи, которые не могу ей объяснить.

Мать многого не понимала, и это непонимание его злило. А между ними такого непонимания не было. Она понимала все досконально, до малейшего вздоха. И даже если кто-то был у него, это не имело значения.

Так она убеждала себя, стараясь оставаться невозмутимой и спокойной, но спокойствия не было. И помочь ей не мог никто. Фаине рассказать нельзя, потому что лучшая подруга поймет по-своему. И тоже, наверное, скрытно обрадуется, ибо тут соответствие ее цели, в которой сама признавалась: вывести Ольгу Васильевну из оцепенения. Для этого требовалось слегка наклепать на Сережу. Но она не верила, не хотела верить! Тут была какая-то тайна. От всего этого разболелась голова, Ольга Васильевна оделась, взяла сумку и вышла на улицу.

Сеялся слабый дождь. В гастроном забегали последние посетители: было минут двадцать до закрытия. Ольга Васильевна зашла купить масло, кефир, что-нибудь к чаю для Иринки. Уборщица шаркала шваброй, отгоняя посетителей от прилавка и ворча злобно. Ольга Васильевна постояла в небольшой очереди в кассу, потом подошла к молочному прилавку, думая о том, что людей вокруг много, знакомых много, есть подруги, но нет близкого человека и это значит — нет никого. Худшее, что предстоит в жизни, подумала она, это одиночество. Смерть и несчастья — только прелюдия к худшему. Как жить, если не с кем посоветоваться, некому сказать? У людей, стоявших с чеками, был какой-то суетный и случайный вид. Будто забежали сюда по ошибке. Вечерние посетители, озабоченные далекими отсюда мыслями. На самом деле: опаздывали домой, в этот час обыкновенно они сидели у телевизора в домашних туфлях, или занимались мелкою стиркой в ванной, или гладили школьную форму на

кухне, постелив на стол старое, в желтых пятнах от утюга байковое одеяльце, все это им еще предстояло, но они не торопились. Продавщицы двигались медленно. На их лицах, как тяжелый грим, лежала дневная усталость.

Ольга Васильевна услышала знакомый голос за спиной, оглянулась: Иринка! Дочь стояла возле высокого столика, где пьют кофе и едят пирожки, но теперь было поздно для кофе, буфет закрыт, она стояла с двумя подружками, и все трое болтали и жевали что-то. Длинные худые ноги Иринки в темных чулках, ее куцеватое пальтишко, из которого она выросла, надо менять,— каждый раз при взгляде на это пальтишко Ольга Васильевна испытывала какое-то душевное ущемление, мгновенный укол, но не заводила речи о покупке, Иринка тоже молчала: осень уж как-нибудь доходит, а на зиму есть неплохая шубка,— вся сутулая, долговязая, фигура дочери с распущенными по нынешней моде волосами вызвали у Ольги Васильевны судорожный прилив нежности. Было так сильно, что она чуть не побежала к ней. «Моя сирота,— подумала она чуть не со слезами.— Она еще не понимает, что это. Но я знаю!»

Ольга Васильевна сделала несколько шагов к девочкам, думая о том, что самая высокая среди них, самая бедно одетая, самая красивая и добрая — это и есть близкий человек. С нею говорить обо всем. Теперь ближе этой девочки нет. Она подошла к столику, одна из девочек — любимая Иринкина подруга Даша, восточная красоточка, всегда чересчур бледная, с подкрашенными длинными глазами,— заметив Ольгу Васильевну, перестала щебетать и улыбаться и глядела испуганно.

— Вот они где прожигают жизнь! — сказала Ольга Васильевна.— Интересно, что вы тут обсуждаете?

— А мы, Ольга Васильевна, обсуждаем завтрашний урок по обществоведению, где будет очень интересный разговор на тему личность и общество. Вот думаем, как получше подготовиться.— Выражение испуга на хорошеньком личике Даши сменилось выражением победоносной иронии.

Другая девочка прыснула. Иринка смотрела на Дашу исподлобья, но с тайным восторгом: исподлобный взгляд относился к появлению матери, а восторг адресовался, разумеется, Даше. Бедная Иринка была в эту стервочку влюблена. Ольге Васильевне Даша не нравилась, она считала ее неискренней, манерной и, что хуже всего,

преждевременно взрослой. По некоторым Иринкиным обмолвкам она поняла, что у Даши какая-то сложная личная жизнь, есть человек гораздо старше ее, которого она называет другом. Неизвестно, как далеко эта дружба зашла. Ольга Васильевна пыталась осторожно выведать, но Иринка не поддавалась. Не хотелось верить во что-то серьезное, ведь девочкам нет еще семнадцати, и она сама, Ольга Васильевна, в их годы не думала ни о чем, кроме учебы. Десятый класс, такая ответственность!

— А деньги, между прочим, были даны на универмаг,— сказала Ольга Васильевна. Наглость Даши задела. Эта дурочка с нее глаз не сводит.— А ты, я вижу, транжиришь на пирожные и сигареты. Девчонки, ну зачем вы курите?

Они что-то залопотали хором, совершенно невнятное, шутливое и понарошку. Кажется, тоже в ироническом стиле. Ольга Васильевна почувствовала, что ее присутствие тяготит. Иринка, глупо смущенная, даже не смотрела на нее, зато ловила каждое слово подружек и неестественно громко хохотала. Вторая девочка, Лена Кукшина, была вялая, анемичная толстуха из очень обеспеченной семьи, на ней было пальто из замши, на пухлом пальчике кольцо с камнем — безобразие, раньше ни одна девчонка в школе не посмела бы надеть кольцо! — рядом с нею на столике лежал складной японский зонтик, очень изящный, Ольга Васильевна видела такой у приятельницы, и вообще от Кукшиной пахло, как иногда пахнет от человека дешевыми парикмахерскими духами, благополучием и богатством. Ольга Васильевна этот запах выносила с трудом. Но Иринка говорила, что Кукшина добрая. Правда, Иринке не нравилось, что Кукшина подхалимничает перед Дашей. А уж эта Даша у них — прямо царица некоронованная, великий авторитет, этакая пигалица. Ольга Васильевна сказала строго:

— Ира, пойдем домой, будем ужинать.— И взяла ее руку выше локтя. Не потому, что собиралась потянуть ее от столика, а просто хотелось до нее дотронуться.— Пора, девочка, пойдем.

— Мама, я пойду домой, когда захочу,— отчеканила Иринка с внезапной враждебностью.

— Что значит: когда захочешь?

— То и значит: когда захочу, тогда пойду.

— Нет, ты пойдешь сейчас со мной.

— Нет, не пойду.

Ольга Васильевна почувствовала, как хлынула изнутри какая-то слабая ярость.

— Да как ты можешь.., со мной... сейчас...— заговорила, задыхаясь.

— А как ты можешь? У меня тоже неприятности. Мне надо поговорить с друзьями.

— У тебя тоже! — крикнула Ольга Васильевна.— Эх ты...

Она повернулась и пошла из магазина. Кто-то догонял, схватил сзади за руку.

— Ольга Васильевна! Постойте!

Даша. Опять выражение испуга в карих прелестных глазах.

— У Ирки правда неудача с одним мальчиком,— да вы знаете, с Борей,— и нужно поговорить совсем немножко, минут десять. Сейчас все равно выгонят, мы по бульварчику погуляем.

— Она просто дрянь,— сказала Ольга Васильевна.

Когда поднималась лифтом на восьмой этаж, подумала: вот истина. Одна в закрытой коробке. Можно читать надписи, нацарапанные гвоздями. Но некому сказать, какая боль в сердце. Никто не услышит. В одиночестве человек ползет в шахте все выше и выше или все ниже и ниже, это безразлично, смотря что считать верхом, что низом. «Никто не услышит!» — произнесла она вслух. «Алло! Говорите громче!» — рявкнул над ухом гулкий и страшный голос. Она вздрогнула: диспетчер из третьего корпуса. Обычно не докличешься, а тут услышали. Значит, надо говорить, надо кричать, даже если голые стены. Кто-нибудь услышит.

Иринка пришла не через десять минут, а спустя час. Ольга Васильевна уже простила ее и когда, отворив дверь, увидела ее с поникшей головой, шмыгающую носом,— конечно, прозябла в тонком пальтишке, целый час на бульваре,— увидела детское виноватое выражение ее лица, опять охватило волною тепла и жалости. «Бессовестная я! Зачем рычала на нее? — пронеслось в сознании, помутившемся от жалости.— Ведь она сирота, нет отца, нет защитника. Если не я, то кто же...»

Ничего не сказала, провела рукою по волосам дочери. Та вдруг рванулась, обняла мать, ткнулась холодноносой, щенячьей мордочкой в щеку, в ухо, шепча что-то жалобное, и Ольга Васильевна тоже шептала, они друг друга не слышали, все произошло в течение двух секунд. И обе

вдруг ослабели, обнявшись, и, едва сдерживая слезы, пошли на кухню, чтобы побыть одним, совсем одним, без бабки, потому что ближе их людей не было. Двое самых близких на свете. Там долго сидели, пили чай, Иринка рассказывала о Боре. Она была скрытной, делилась переживаньями редко, молча вела свою маленькую житейскую битву. Но это значило, что теперь силы ее оставили, она нуждалась в помощи. Боря перестал звонить, а в школе совсем не подходит. Она предполагала, что влияет одна девчонка, с которой он отдыхал на юге. Даша обещала выведать. Боря был мальчик из параллельного класса, некрасивый, Иринке он никогда особенно не нравился, но было похоже на настоящее горе.

Ольга Васильевна шептала какой-то ласковый вздор. Иринка успокоилась и ушла в ванную мыть голову. Ольга Васильевна стала убирать со стола, грязные тарелки сложила в мойку, горячая вода в этот поздний час шла плохо и была недостаточно горячей, а нагревать воду в чайнике не хотелось. Решила: все завтра, завтра, встать часов в семь. И тут позвонила та женщина, что приходила с Безъязычным.

— Извините, что так поздно. Пока доехала до своей деревни, до Кузьминок, пока вот дела, то, другое... А звоню вот зачем, Ольга Васильевна. Всеволод Борисович вас, наверное, кассой взаимопомощи пугал, долгом Сергея Афанасьевича, а вы не пугайтесь — долг будет списан. Это, можно сказать, уже решено. Понимаете? И вы, пожалуйста, ни одной папочки, ни одного листочка не отдавайте. То, что я вам сейчас звоню, это, конечно, к моей невыгоде, но просто я уж очень Сергея Афанасьевича уважала. Извините, милая Ольга Васильевна, что побеспокоила вас на ночь глядя. Будьте!

Этот странный разговор, это «будьте!» озадачили Ольгу Васильевну, но не настолько, чтобы придать ее мыслям другое течение. Ночью она могла думать только о прошлом, но не о будущем.

Давно надо было взяться. Но не хватало духу. Все его папки, блокноты, тетради толстые и тонкие, вырезки из газет, аляповато расклеенные по альбомам, выдранные из журналов страницы, кипы исписанной бумаги, рассованные по разным местам — часть находилась в ящиках стола, часть на нижних полках в шкафах, какие-то папки

пылились на самом верху шкафов, под потолком, куда месяцами не достигала тряпка, и Ольга Васильевна сердилась и во время каждой уборки требовала, чтобы он куда-нибудь пристроил «свой хлам», лучше всего в мусорный бак, именно «хлам», потому что, будь это ценное, он не держал бы на верхотуре, в пыли, а какие-то бумаги в дни ремонта попали на антресоли,— все это еще было его плотью, несло в себе его запах, эманацию его существа, поэтому притрагиваться было страшно. Она знала, что рано или поздно это пройдет, но пока она не могла. И так же не могла видеть и трогать его вещи в гардеробе. Фаина сказала, что надо продать. Говорила, что так делают все вдовы, чтобы не травить душу. Обещала найти покупателя. Жена Феди Праскухина Луиза, овдовевшая восемь лет назад, сказала, что продала Федины вещи тотчас, единым духом, но Ольга Васильевна никак не могла решиться.

Да и времени не было на такие дела. Луиза не работала — это сейчас, кажется, пошла работать страховым агентом,— а то сидела дома с детьми. У нее и нянька была и бабушка, ее мать. Сидеть дома — с ума сойти.

И еще непереносимое: фотографии. На стене висела одна очень хорошая, юных лет, он улыбался мягко и задумчиво, с травинкой во рту, Ольга Васильевна любила эту фотографию, повесила ее давно, при Сережиной жизни, и привыкла к ней. Но даже на нее Ольга Васильевна, когда входила в комнату, старалась не смотреть или — как-то бегло, секундно. Про альбом говорить нечего. Спрятала его подальше. Всякое прикосновение — боль. А жизнь состоит из прикосновений, потому что — тысячи нитей и каждая выдирается из живого, из раны. Вначале думала: когда все нити, самые крохотные и тончайшие, перервутся, тогда наступит покой. Но теперь казалось, что этого никогда не будет, потому что нитей — бессчетно. Каждый предмет, каждый знакомый человек, каждая мысль и даже каждое слово, все, все, что есть в мире, нитью связано с ним. Разве хватит жизни? Вчера ездила по делам на Ново-Басманную, вышла из метро «Лермонтовская», и сразу — укол в сердце, вспомнила, как зимою, в сильный мороз, бежали отсюда по Садовой вниз, в гости к кому-то. Седьмой месяц, но легче не делается. Люди говорят, что должно пройти пять лет, но Луиза сказала: что-то непохоже, она бы почувствовала, ведь у нее прошло уже больше.

Видела Луизу недавно на улице, случайно. Так обрадовались друг другу, так много хотелось сказать, спросить: ну как ты? что ты чувствуешь? что происходит с тобой? Стало ли... вот хоть на столько, хоть на крупицу?

Луиза смотрела серыми, вымершими глазами:

— Я не знаю, чем измерять. Нет инструмента...

Ольга Васильевна еще хотела спросить: «Есть у тебя кто-нибудь?» — но не осмелилась. В этой битве все сражаются в одиночку. Выглядела Луиза хорошо в своей старой дубленке, но уже чищенной, отчего коричневый свет посветлел и приобрел пошлый розовый оттенок. Ольга Васильевна спросила: как дети?

— Очень хорошо,— ответила Луиза. На все вопросы она отвечала: «Очень хорошо».

Восемь лет назад в сентябре ранним утром — Иринка еще не ушла в школу — трезвонили в дверь. Ольга Васильевна поразилась, увидев Гену Климука — тогда еще Гену, старого приятеля,— который обязан был в этот час делать утреннюю гимнастику на каменистом коктебельском пляже перед завтраком. Лицо Климука было в багровых пятнах. Не здороваясь, он спросил: «Где Сергей?» — шагнул в прихожую и привалился плечом к стене. Сережа вышел из ванной, намыленный для бритья.

— Сережа, ты должен ей все рассказать... Я не могу... У меня нет, нет...— И этот гигантский мальчик со старообразным круглым лицом качнулся, ноги его согнулись, и он легко сполз по стене на пол. Он не упал, а как-то вдруг оказался на корточках и сидел так секунды две или три, тяжело дыша.

Два дня назад Климук и Федя поехали вдвоем на юг на неделю. Федя только что купил нового «Москвича». Они иногда устраивали холостяцкие побеги, или, как Климук любил выражаться в старославянском стиле, «убе́ги», заманивали и Сережу, но она делала все возможное, чтобы его от этих вылазок отклонять. Не то чтобы ревновала к мужской дружбе, не то чтобы беспокоилась о его нравственности в компании старых приятелей, еще не утративших навыков студенческой вольницы,— когда собирались втроем, эти навыки как бы гальванизировались, они начинали чудить, хорохориться и бог знает о чем мечтать,— и не то чтобы заботилась о его здоровье: ведь там, где Климук, там выпивка. Она просто не любила, когда он исчезал из поля ее зрения. Он должен быть всегда рядом, поблизости, лучше всего в

одной комнате с нею. Это было, наверно, большой неправильностью в ее жизни, но переделать себя она не могла, да и не пыталась.

Всегда противодействовала Климуку, Феде и кому бы то ни было в их кознях отнять у нее Сережу! Иногда ловко находила причины, удачно присочиняла,— например, ссылалась на недомогание, требовавшее его неотлучного присутствия,— а иногда грубо и прямолинейно взывала к его совести, великодушию. Собственно говоря, тут сталкивались два эгоизма. Он любил эти «убеги», отрыв от ежедневной мороки, от дел, от дома, особенно любил «убеги» к «музейному другу» Федорову или куда-нибудь с Федей Праскухиным на машине, даже просто в «Севан», и она знала, что он это любит, что ему это, может быть, необходимо по многим причинам, но ничего не могла поделать с собой: когда он исчезал, она становилась как больная. Иногда даже начиналась крапивница. Но он был непримирим в своей борьбе за независимость и уступал редко. Этот редкий случай был в сентябре. В институте заканчивался ремонт, занятия прекратились, все торчали по домам, и Федя с Климуком замыслили проветриться недельку у моря и подбивали Сережу. Была такая неразбериха, что никто бы не хватился. Кому хвататься? Федя Праскухин сам хозяин, ученый секретарь.

Сережа очень хотел поехать. А ей чутье подсказывало: не пускай ни за что! Ах, никакого чутья, просто обидно было, что покатит на юг один, станет там веселиться, хорохориться и пить, конечно. Она ссылалась на отсутствие денег, на то, что у него ничего не двигается — ни диссертация, ни книга с тем жуликом Ильей Владимировичем,— и что хорошо прожигать жизнь Феде Праскухину и Гене Климуку, у них прочное положение, а куда он-то, как рак с клешней?

— Тридцать рублей, которые я тебе могу дать на дорогу,— говорила она,— сделают тебя прихлебателем. Тебя это не пугает?

Он сказал: не пугает. Сказал, что у них здоровые мужские отношения, не то что жалкая дамская дружба, когда считаются друг с дружкой копейками. Он даже позволил себе этак высокомерно:

— Ты этого не поймешь!

Бедный, как он ошибался. Ольга Васильевна сказала, что, если он поедет с ними, тогда — развод. Кто-то зво-

нил, то ли Луиза, то ли эта дурочка Мара Климук, по наущению мужиков, уговаривали ее смягчиться и разрешить. Но она была непреклонна. Если уедет — развод.

Пожалуйста, уезжай, тебя не держат, но когда вернешься, ее здесь не будет: она переедет на Сущевскую. Неужели было подсказано провидческим голосом из тех неземных пространств, куда Сережа углубился потом и где ждала его гибель? Сережа рассвирепел, не разговаривал с нею несколько дней, но поехать все же не осмелился. На рассвете на Симферопольском шоссе, южнее Харькова, старик переходил дорогу, не слышал сигналов, а Федя не мог погасить скорость и выскочил на левую сторону, где его ударил «МАЗ». Федя умер в сельской больнице, не приходя в сознание, а Климук отделался ссадинами. Он как-то уперся руками в стенки кабины — руки у него сильные — и, хотя машина два раза перевернулась, остался цел.

Теперь он едва шевелил белыми губами:

— Тело везут автобусом... Я дал сто двадцать рублей...

Он умолял Сережу пойти к Луизе. Сережа пошел. Он умел быть другом. Поэтому его многие любили, и кидались к нему, когда им было плохо, и, пожалуй, эксплуатировали это его уменье.

Ночью она не выдержала — этого ни в коем случае не следовало говорить, но ее распирало — и сказала ему тихо на ухо:

— Сережа, ведь я тебя спасла... Ты видишь, какая я пророчица?

Он, ни слова не говоря, отодвинул ее и повернулся к стене.

И она сразу почувствовала, что сказала нехорошее. Но уж очень сильно ее распирало: и страх, и жалость к Феде, которого она любила, и какое-то странное, непобедимое внутри себя чувство тайного самодовольства. Наверное, думала она, похожее испытывали люди на войне, когда рядом убивали товарищей, а они почему-то оставались живы и невредимы. Говорить не нужно было. Как раз та минута, когда мысль изреченная неминуемо оказывалась ложью.

Он, помолчав, сказал:

— Я все-таки надеялся, что ты прикусишь язык... Нет, сказала...

Конечно, не следовало говорить. Но и ему не следовало быть с нею таким злым. Ведь и в самом деле: спасла жизнь. Он говорил о Феде, о том, что другого такого товарища в его жизни не будет. Верно, они были приятели, учились все трое на одном курсе — когда-то, страшно давно,— Сережа, Федя и Гена Климук. Ну и что? Ее удивляла эта наивная привязанность к старым друзьям, то ли школьным, то ли институтским. Старался не замечать их недостатков, не видеть их смешного, неприятного. «Парень из нашей школы» или «парень с нашего курса» — для него это звучало высшей аттестацией, включало в себя все добродетели. Дружба не по выбору, а по воле обстоятельств: с кем оказался за партой, с тем и дружу. Впрочем, у всех мужчин эта странность. Не могут жить без старых дружков. А Ольга Васильевна отлично обходилась без подруг и, когда был Сережа, могла месяцами не видеть ни Фаинку, никого. Ей нужен был он один. Ну, и с Луизой, с Марой виделась по необходимости, потому что мужики очень любили «общá»: «Давайте общá!», «Что-то мы давно не общá!»

Теперь их объединяли одни интересы: институт и все, что там творилось. Гена Климук шутил, подмигивал:

— Давайте сколотим свою группу, свою кликочку, свою маленькую, уютную бандочку!

А Федя не болтал, он делал. Он помогал по-настоящему: втащил Сережу в институт, всячески продвигал, добился повышения оклада, переубедил пучеглазого Ивана Евдокимовича Демченко, директора, насчет перемены темы диссертации и умаслил Сережиного руководителя, профессора Вяткина, который был вовсе не рад этой перемене. Все было нелегко. Но Федя сделал. Если бы Федя был жив и оставался ученым секретарем, он, конечно, никогда бы не допустил всей этой пакости, что повалилась на Сережу год назад по вине старого друга Климука и его «маленькой бандочки».

Гена впрыгнул в кресло ученого секретаря так быстро и с такой готовностью, что можно было подумать, будто он, подобно булгаковскому Воланду, подстроил катастрофу нарочно.

С его приходом на должность что-то неуловимо нарушилось. Она долго не замечала. Когда Гена звонил, он был так же бодро-шутливо приветлив с нею, как раньше, иногда и Мара звонила, делилась с Ольгой Васильевной новостями по части трикотажа и косметики — она рабо-

тала в золотом месте, на Петровке, рядом с Пассажем,— но прошло несколько месяцев, прежде чем Ольга Васильевна сообразила, что она совсем не видит ни Гену, ни Мару, общение ограничивалось звонками. Давно не раздавался радостный Генкин клич: «Будем общá!» Сообразивши, она отнесла этот факт на счет Фединой смерти. Все-таки чаще собирались у Феди. Кроме них троих там бывали еще Федины друзья — физик Щупаков с женой-болгаркой по имени Красина и чета врачей Лужских, она рентгенолог, он психиатр, из-за Лужских Ольга Васильевна, собственно, и ходила к Феде и Луизе, потому что медицина очень интересовала ее и она любила разговаривать с врачами.

Но Луиза после смерти Феди не собирала друзей, были у нее лишь однажды на поминках и потом еще раз в шестилетие Фединой гибели. Гена Климук и раньше-то не особенно звал к себе, вечно он что-то перестраивал, ремонтировал или же менял квартиры, неуклонно расширяя площадь и переезжая во все более фешенебельные районы. Теперь, кажется, обосновался на новом Арбате, в небоскребе, где магазин «Мелодия».

Сережа как-то сказал, посмеиваясь:

— А наш Гена действительно стал важной птицей. Даже бросается в глаза. Когда Федя был на этом месте, я почему-то не замечал...

Она спросила: что именно важное и птичье проявилось в Гене? Сережа похмыкивал, отмалчивался. Она знала, что рано или поздно не выдержит и расскажет. Так и вышло: через несколько дней «раскололся». В профкоме возникли туристские путевки во Францию, одиннадцать дней, шесть дней Париж, пять — Марсель, Ницца и прочее, мечта жизни стоимостью в кругленькую сумму. Так как путевок было всего четыре, в профкоме решили не рекламировать, а распределить, что называется, втихаря. Сережа узнал случайно, и вовсе не от друга Гены, а от секретарши Ивана Евдокимовича, которая к Сереже благоволила. Желающих поехать было много. Сначала профком нацелился кинуть жребий, но затем тот же Климук проявил осмотрительность, сказав, что жребий внесет ажиотаж и опасную бесконтрольность, выдав путевки тем, кому вовсе не нужно ехать во Францию, и обойдя тех, кому это настоятельно нужно. Собственно, тут была разумная логика, как во всем, что отстаивал Климук. Но вот загвоздка: кто будет решать,

кому нужно и кому не нужно? Сережа как-то прямо сказал Климуку, что Париж ему необходим не для прогулок и развлечений,— тут была капля лицемерия, конечно,— а для того, чтобы порыскать там за материалами, нужными для работы. Всякий знает — и Климук знал прекрасно,— что, изучая русскую охранку, историк непременно сталкивается с Францией, с эмиграцией, русскими агентами. Можно было все это внятно объяснить, потому что Сережа был прав, имел полнейшее законное основание претендовать на поездку, но Климук как-то кряхтел, переспрашивал, уточнял — хотя чего было кряхтеть, когда дело абсолютно правое? — и Сережа, потеряв терпение, сказал ему что-то грубое, по-свойски. Что-то вроде: «Брось занудствовать!» или «Брось пыжиться, Генка!»

Климук пожал плечами и холодновато ответил:

— Ты изложи свои доводы, треугольник будет решать. Пойми, вопрос этот не такой простой, как кажется.

Слово «пойми» было единственным прежним и человеческим во всем разговоре.

Сережа был подавлен, рассказывая про Климука.

Она решила, что Сережа, может быть, преувеличил, уязвлен мелочами, и в особенности главной мелочью: тем, что Климук разговаривал с ним как начальство. А что делать? С этим надо смириться. Он начальство, ты подчиненный. С этим надо жить. Втайне от него, когда он ушел куда-то из дому, она позвонила Маре просто как приятельница. Почему не звоните, куда пропали, что у вас слышно и так далее. Она поняла, что надо действовать. Сережа был удручен, хотя ничего еще не случилось, а что же будет, когда на самом деле откажут? Ей хотелось, чтоб он поехал. «Убег» в Париж мог бы дать ему силы и стать поворотом. Когда на человека обрушиваются одна за другой неудачи, даже не обрушиваются, а просто мягко и привычно садятся на него, как птицы садятся на дерево, человек начинает цепенеть душой, становится бесчувственным и сам постепенно превращается в дерево. Уйма денег нужна, денег не было. Решили так: половину он достанет сам, продаст знакомому книжнику восьмитомник Стефана Цвейга, издательство «Время», великолепный экземпляр в любительских переплетах с красной кожей на корешке, когда-то заплатил за него полторы тысячи старых рублей, а другую половину достанет она, попросит у матери.

И вот позвонила Маре и фальшиво-веселым, приятель-

ским тоном болтала с нею, еще не зная, что из этой болтовни выйдет. Хотелось прощупать, но ничего не прощупывалось, Мара разговаривала таким же манерным и якобы приветливым голосом, как обычно, сообщала глупости, хохотала некстати, была, в сущности, невыносима, но все это было не ново, и Ольга Васильевна слегка успокоилась и решила, что ничто не изменилось и он напрасно впал в панику. Однако Мара была слишком тяжеловесной и не тонкой организацией, чтобы реагировать чутко, следовало поговорить с Климуком, и Ольга Васильевна вовсе неожиданно для себя стала зазывать Мару и Гену в гости. На дачу, в Васильково. Было лето в начале, прекрасная пора, покупаться, позагорать, пошататься в лесу... А? Почему бы не собраться без долгих размышлений — хоть в субботу, хоть в пятницу, когда угодно. Мара сказала, что она лично согласна, но не знает, как Гена. Он ужасно много работает, они никуда не ходят, совсем одичали. Гена был в другой комнате, просил передать привет и сказать, что как-нибудь приедут непременно.

Сережа ворчал:

— Получается нелепо: я вижу его чуть ли не каждый день и не зову, а ты не видишь никогда — и зовешь...

Но, в общем, кажется, был доволен. Нет ничего болезненней треснувшей дружбы. Каждый вечер она спрашивала:

— Ты видел Климука? Они собираются к нам?

— Видел, но не спросил... Навязываться не хочу...

То, что было раньше естественно и легко, превратилось в проблему. У него язык не поворачивался задать простой вопрос: «Гена, когда вы к нам приедете?» Но однажды вернулся из института возбужденный и сообщил, что Климук сам зашел к нему в комнату и сказал, что если приглашение в Васильково остается в силе, то в субботу они заедут ненадолго.

— Ненадолго? — спросила Ольга Васильевна.

— Ну, не знаю. Он так сказал.

В пятницу купили продуктов, две бутылки водки, две сухого, несколько бутылок пива и на такси поехали в Васильково. Всю неделю там жили Иринка и свекровь одни, с тетей Пашей. Приезжать на дачу в будни было тяжело: далеко от станции, рано вставать, электричкою почти час. И все же, когда выбиралась порой после работы, выходила на платформу, как бы ни была замучена

долгим путем, толкотнею в очередях, по магазинам, какой бы лошадиный воз свертков, кульков, батонов, банок и книг, набитых в сетки и сумки, ни тащила,— сразу орошал ее прохладный лесной воздух, она вздыхала глубоко-глубоко, как ни разу за целый день не могла вздохнуть в городе, и с наслаждением ощущала, как медленно выходит из нее усталость и все ее существо полнится новой силой. Было так здорово! Откуда она бралась, эта сила, после изнурительного дня, дробившего без пощады, без роздыху? От неба, леса? Оттого, что он шел рядом и мурлыкал что-то задумчиво, таща сумки, или рассказывал, покуривая, о деревенских новостях? Тетя Паша принесла сметаны из сельпо, Рыжик опять гонял курей у соседей...

У него были присутственные дни в институте, остальные дни — иногда три-четыре кряду — он мог сидеть на даче. Встречал ее на платформе, забирал сумки, и они шли сначала в толпе дачников по дороге, вдоль зеленой ограды, потом сворачивали к дубовому леску, дачники рассеивались, и когда, миновав лесок, выходили к полю, на васильковский большак, они обыкновенно оказывались одни. Дачники селились в домах вблизи станции, а те люди, что жили в Василькове, не приезжали поздно из Москвы. Поле было огромное и выпуклое. Деревня лежала внизу, за увалом, казалась провалившейся, закатившейся как бы за край поля, кое-где торчали из провала крыши изб с высоко вскинутыми телевизионными антеннами, туманными грудами серебрились ивы вдоль невидимой речки, мальчик в красной рубахе ехал тропою поперек поля на велосипеде, и где-то стрекотал в тишине трактор. Небо было светлое и такое, что хотелось смотреть вверх. А в городе неба не замечали и никогда не хотелось смотреть вверх.

До деревни было версты три, и еще в городе мечталось: лишь бы доплестись, дотащить, поесть наскоро, напиться чаю — и на боковую, в большую тети Пашину комнату с запахом свежего сена и чабреца, растыканных пучочками по углам для «духа», потому что никаких сил не было. А получалось каждый раз так: после чаю шли с Иринкою в рощу, в десять укладывали ее и потом еще долго гуляли вдвоем,— если привязывалась Александра Прокофьевна, то ходили недалеко и возвращались скоро, но свекровь осмеливалась на этакое не часто, все же соображала, что мужу и жене надо побыть вдво-

ем,— а то и купались в омуте, сидели на берегу, болтали с соседями, и все откуда-то брались силы и не хотелось спать.

Но были, конечно, и дожди, холода, дорога через поле превращалась в непролазную топь, и наступала великая деревенская скука. Александра Прокофьевна писала кому-то бесконечные письма, Иринка ныла и жаловалась то на ухо, то на животик, и Сережа бегал под дождем за медсестрой Агнией...

Климук приехал на своей старой «Победе» и привез гостя, замдиректора института Кисловского. Этого Кисловского никто не ждал. Ольга Васильевна заметила, как Сережа, увидев выходившего из машины Кисловского, съежился на секунду и сделал губами хорошо ей знакомую гримасу, означавшую: «Вот те на!» С Климуком была Мара в сногсшибательном темно-зеленом брючном костюме — тогда они только входили в моду, привозили их из-за границы,— в белых босоножках, с белой сумочкой, с белыми клипсами, ослепительная модница, превратившаяся с помощью хны в ярко-рыжую. Все в Маре с головы до ног было ново и неузнаваемо и поразило Ольгу Васильевну. Приятного мало: сидишь дома в фартуке, в затрапезном — и вдруг является твоя, скажем, добрая знакомая в этаких перьях... Но дело было не в Маре. Ничто ее не спасало. Глупость из нее так и сочилась. Если бы она, бедная, сидела молча, задумчиво улыбалась, держа в тонких пальцах сигарету, она была бы неотразима, но ей хотелось непременно высказываться. Она даже пыталась спорить с Ольгой Васильевной по проблемам биологии. Нет, Мара не могла испортить Ольге Васильевне настроение.

Испортила другая. Та, что приехала с Кисловским. Имя ее теперь забылось. Эта молодая особа, какая-то развинченная, цыганистая смуглянка, худая и ломаная, сразу не понравилась Ольге Васильевне. Она была вся в бренчащем серебре, в браслетах, бусах, дорогих и красивых. Но нелепо было надевать эту сбрую для поездки в деревню, и говорило, конечно, о дурном вкусе.

Ольга Васильевна сразу же, улучив минуту, спросила у Мары тихонько: чем занимается ж е н а Кисловского? На что Мара, как и предполагала Ольга Васильевна, сказала, что она такая же его жена, как «я твоя бабушка».

Словом, очередная климуковская наглость. Однажды он привел каких-то сомнительного качества девиц будто бы с телевидения, причем без звонка, без спроса, на городскую квартиру, и Сережа, слегка спятивший на долге товарищества, уже готовился поить их остатками французского коньяка и угощать печеньем, но Ольга Васильевна, вернувшись с работы и быстро разобравшись в ситуации, твердой рукою все это пресекла и незваных спровадила. Климук был тогда очень зол. Но теперь чувствовал себя хозяином: ведь его так зазывали! И кроме того, теперь он явился с Марой.

— Мы на одну минуту... Мы по дороге на водохранилище... Просто секунду передохнем...— говорили они, как бы прося извинения за свой налет, за чужих людей, которых привезли, и одновременно выказывая легкое пренебрежение, ибо визит, стало быть, случаен, мимоездом, и не следует принимать его всерьез.

Ольга Васильевна сбивалась с ног, Иринка помогала, тетя Паша содействовала, таскала из погреба то капусту, то огурцы, то грибков соленых, гоняла сына Кольку в сельпо за хлебом — тот мчался на мотоцикле, радостно всполошенный от предвкушения выпивки,— и только Александра Прокофьевна не подходила к плите, не притрагивалась к посуде и занималась на терраске, разгороженной куском холстины надвое, своей писаниной. Она отвечала на письма читателей для какой-то газеты, где вела в общественном порядке рубрику «Наша юрконсультация». Ведь когда-то работала в судах, была адвокатом. Ольге Васильевне не верилось, что она могла быть хорошим и справедливым адвокатом. Нет, не верилось нипочем, но с Сережей она об этом не говорила.

Обедали в садике за домом. День был жаркий, под яблонями душил зной. Больше всего пили ледяную колодезную воду, Колька носил ведрами, бегал к колодцу — а вода в Василькове была в самом деле удивительная! Нигде слаще и холодней Ольга Васильевна не пивала... В Ереване хуже, там они хвалятся, что у них какая-то особенно замечательная... Ах, что вспоминать! Томило что-то, раздражала та девица, что приехала с Кисловским, задевали ее поглядыванья на Сергея, и кокетливые переспросы, и то, что он глупо хмурился и отвечал неловко, и болтовня Мары, и беспокоило то, что не хватит еды, вина и Сережа не успеет поговорить с Климуком насчет Франции, и как себя вести с этим Кис-

ловским, прилизанным, каучуковым, похожим на циркового артиста,— а все-таки было такое истинное, летнее, молодое, неповторимое — ну, ну, что же? — счастье, наверное... Тогда оно и было, на деревенском дворике, где пахло землей, навозцем, сладким духом июньской пылающей зелени, где за спиной что-то хрюкало, а впереди что-то ломилось с мыком и топом узкой улочкой — Матильда, умница, сама, треща воротами, завалилась в свой загон, а пьяненькая тетя Паша махала задорно коричневым кулачком: «А ну ее к богу в рай, шалопутку!» — потому что их «секунда» давно отлетела, и день отлетел, и настал вечер, а они все сидели, пили, бубнили, болтали, давно уж опорожнились бутылки, и Колька на мотоцикле гонял к какой-то бабке Кренделихе на другой край деревни за самогоном.

Ольга Васильевна зашла в горницу и увидела, как Кисловский, обхватив свою спутницу за талию, норовил опрокинуть ее на высокую хозяйскую кровать. Спутница, бренча серебром, сопротивлялась.

Ольга Васильевна вернулась во двор и, подойдя к Сереже, который беседовал с Климуком о чем-то совершенно пустом и несущественном, сказала ему на ухо, что видела сейчас в горнице нечто маловысокохудожественное.

— А если это любовь? — спросил он, глядя осоловелым взором. Он не был так пьян, как прикидывался. В его взгляде была покорность судьбе.

— Ну, для такой любви есть определенные заведения,— сказала она,— а не изба тети Паши.

Тетя Паша, не поняв, о чем речь, но уловив свое имя, воинственно ерепенилась:

— Чего тетя Паша? Ты тетю Пашу не трог! Тетя Паша — я те дам! Я вас, ребяты, всех тут раскурочу...— И трясла пальцем.— Все ваши тайности разберу... Коль, ты там этого, скажи...

Колька был бригадмилом, чем немало чванился, всем об этом сообщал под секретом. Вообще-то он работал плотником в совхозе. Был невысок, худощав, с чахловатой бледностью на мягком, девическом лице, волосы носил длинные, как семинаристы в Загорске, играл посредственно на гитаре, и, помнится, девушки его осаждали вечерами. Тетя Паша огорчалась, что вот, черт такой, не женится и «только силу свою переводит». А в армию Кольку не брали по здоровью, из-за слабого сердца,

пить ему было запрещено — не больше стопки в день, как он рассказывал со слов врача, сокрушаясь и в то же время не без некоторой гордости, как о необычной особенности своего организма,— но запрет, разумеется, нарушался, и чуть ли не ежедневно.

Александра Прокофьевна очень следила за здоровьем Кольки, всегда его корила, когда видела пьяным, и, надо сказать, ее одну он выслушивал. Странное свойство у старухи! Близкие люди ее в грош не ставят,— да и не за что ставить, близким людям ее качества хорошо ведомы,— а вот посторонние уважают и даже побаиваются. По-видимому, там есть неодолимая потребность властвовать, чему люди простые, невысокого интеллекта, сразу подчиняются, а люди мыслящие органически этому противятся.

И в тот вечер, когда после затянувшегося обеда в сумерках пошли гулять в рощу — Кисловского едва выманили из горницы,— Александра Прокофьевна завела придирчивый, похожий на судебное разбирательство разговор с Климуком, с которым вообще была крайне непочтительна. Она его помнила совсем юным, по студенческим временам, когда он приходил, драный, тощий и голодный, из общежития («Всегда был голоден, когда бы ни пришел, и всегда мог съесть столько, сколько было, и еще сверх того, пять котлет, восемь котлет, двенадцать котлет, что-то фантастическое».) и Сережа оставлял его ночевать, они играли в шахматы до полуночи, дымили папиросами, вместе готовились к экзаменам, ссорились, мирились, она называла его Гешей, считала добрым малым, но несколько лопухом, Сережа натаскивал его по диамату и языку, и вот он так выдвинулся, стал Сережиным начальником. Она замечала, как отношения сына с Геннадием переменились не заметно ни для кого, и для Ольги Васильевны тоже, но она-то застала все это вначале, когда мальчики в ковбойках пили чай на кухне, намазывая огромные куски хлеба яблочным джемом, и был еще третий мальчик в ковбойке, говоривший баском, раньше всех обзаведшийся женой и сыном, несчастный Федя, которого она любила. А теперь, замечала она, сын держится с этим дубоватым Гешей как-то скованно и даже немного стеснительно, как положено держаться подчиненному в присутствии начальника, и это было несносно, за Сережу обидно. Если Климук важничает, превратился в надутого совбюрократа

из тех, над которыми смеялись еще в двадцатые годы, то Сереже ни в коем случае нельзя поддерживать этот стиль, надо сшибать с него спесь, учить его уму-разуму, этакого дурачка долговязого! И Александра Прокофьевна подчеркнуто говорила Климуку «ты», называла его Гешей, как в старину, всячески сшибала с него спесь.

— Что-то я позабыла, память стала изменять,— говорила она.— Кстати, странно, памятью я всегда гордилась, с гимназических лет... В каком году, Геша, приезжал твой брат из Кременчуга? Он у нас жил, я ему адвоката нашла... Какое-то дело, связанное с хищением...

— Александра Прокофьевна, что за охота вспоминать допотопные истории? — вступила Ольга Васильевна, догадавшись, что Климук надулся и раздражен, что, конечно, не поможет предстоящему разговору.

— Нет, я хорошо помню, что звонила Елизавете Марковне в городскую коллегию, а если Елизавете Марковне — это значит дело хозяйственное, она такие дела любит, не то что любит, а разбирается в них, знает бухгалтерию... Ведь там что важно? Сумма хищения. Надо каждую копейку отбивать...

Сила старухи была такова, что пьяный люд как-то притих и несколько протрезвел, прислушиваясь к рассказу, который она завела на правах старшинства. Напрасно жаловалась на память, все помнила отлично. Климук мрачнел, напрягался, вдруг стал хохотать:

— Слушайте, это же театр абсурда! Какой-то гиньоль! Бог мой, зачем все это помнить — мне, вам, кому бы то ни было?.. Есть такое понятие: историческая целесообразность... Вы знаете, кто сейчас мой брат?

Хохоча и хвастаясь, рассказывал что-то о своем брате. Все стали почему-то смеяться. И так, беспричинно смеясь, подошли к излучине реки, где был песчаный бережок, место купанья. Днем тут бултыхалась детвора, загорали дачники, деревенские мальчишки прыгали солдатиком с железной стойки, а теперь было пустынно, белели в сумерках газеты на сером песке. Вода была холодная и пахла тиной. Мужчины купались, женщины сидели на травяном склоне и разговаривали, но для Александры Прокофьевны такое занятие — сидеть на траве и разговаривать — было чересчур женским и мещанистым, и она сообщила, что тоже будет купаться, в стороне от мужчин и вдали от женщин, и просила за ольху не заходить. Минут через двадцать из-за ольхи

раздался зов о помощи: Александра Прокофьевна не могла выбраться из воды на глинистый скат и просила, чтоб Сережа подал руку.

Мара, при всей ее недалекости, кое-что поняла и шепнула Ольге Васильевне:

— Я тебе сочувствую!

Тот вечер запомнился другим. Сережа прицепился к климуковским словам насчет исторической целесообразности. Тут было что-то больное. Сначала они мирно перебранивались в воде, дурачились и брызгали друг в друга, как мальчишки, потом спор стал тяжелеть, и на обратном пути в деревню спорили вовсю, хмель после холодной воды исчез, они начали говорить резкости, в спор впутался Кисловский. Это было связано с работой Сережи, с какими-то другими работами, вообще со взглядом на историю.

Может, с того пьяного вечера в Василькове — на самом деле, наверное, раньше, но в сознании Ольги Васильевны тот вечер отпечатался началом — затеялась долгая распря между Сережей, Климуком и всеми остальными, которая так мучила его и кончилась печально. Когда пришли в тети Пашину избу, сели на терраске пить чай, Сережа и Климук уже кричали друг на друга в озлоблении. Она не думала, что Климук может быть таким злым.

Про Сережу-то знала: когда влезал в спор, его охватывала неистовость, он забывал о правилах приличия, о великодушии. Ему нужно было одно — доказать.

— Вот у тети Паши в горнице старинные часы в деревянном футляре! Откуда они у вас, тетя Паша? — кричал Климук, выбрасывая правую руку, как на трибуне.

— А я знай! Отец откель приволок, наменял, говорит, в голодные года...

— Наменял, приволок — все едино. И все не важно, а важно лишь то, что время показывают верно и каждые полчаса играют Штрауса. Правильно я говорю, тетя Паша?

Тетя Паша чопорно поджимала губы:

— Мне ни к чему, милый человек, только я вам не дозволяла меня тетей Пашей звать...

— Правильно, руби меня сплеча!.. Все не важно и не имеет значения, кроме исторической целесообразности,— запомни это, тетя Паша, и плесни, пожалуйста, еще чайку. Моя мать, кстати, такая же тетя Паша, вроде вас,

только зовут ее тетя Павлина и живет она в Белгородской области, Шебекинском районе...

— Историческая целесообразность, о которой ты толкуешь,— говорил Сережа,— это нечто расплывчатое и коварное, наподобие болота...

— Это единственно прочная нить, за которую стоит держаться!

— Интересно, кто будет определять, что целесообразно и что нет? Ученый совет большинством голосов?

Он настолько зарвался, что забыл о том, что Кисловский как раз председатель ученого совета. Ольга Васильевна надеялась, что люди, пившие целый день и моловшие ерунду, позабудут, кто, что и зачем говорил всерьез, но, как оказалось, те запомнили Сережины выкрики хорошо. Люди обижаются не на смысл, а на интонацию, потому что интонация обнаруживает другой смысл, скрытый и главный.

Когда Сережа браво шутил: «Ученый совет, что ли, большинством голосов?» — и презрительно усмехался, эта усмешка оскорбляла сильней, чем слова. И уж Кисловский вряд ли ее забудет. Сережа был болтлив, неосторожен и сеял себе врагов. Скольких он наплодил — шуточками, спорами, ядовитостями, неумением вовремя сдержаться и сообразить. Чего стоит кличка, которую он налепил Климуку в ту пору, когда они еще не стали окончательно врагами, но к этому шло: Геннадия Витальевича прозвал Генитальич. В институте подхватили с восторгом. А зачем это нужно — так озлоблять? Было поздно. Они все сидели и сидели. Мужчины спорили, галдели, дымили, допивали остатки — Кольку опять гоняли к Кренделихе,— женщины клевали носом, Иринку давно уложили спать, Ольга Васильевна зевала и всем видом показывала, что смертельно устала, и в открытые окна глядел из темной синевы высокий месяц.

Нет, не уезжали! Тоже зевали, потягивались и тоже всем видом выражали смертельную усталость и желание где-нибудь прикорнуть до утра. Потом был разговор между Сережей и Климуком — мужчины ходили в домик на другой конец двора, и когда вернулись, гости сразу стали прощаться. Ольга Васильевна поняла, что между мужчинами что-то произошло: после нового вечернего хмеля оба как-то угрюмо протрезвели. Кисловского втащили в машину в летаргическом состоянии. Мара села за руль, она нарочно не пила, чтобы дать возможность

гульнуть мужчинам. Странно: глупенькая Мара показалась Ольге Васильевне единственным нормальным человеком среди этой четверки. Чмокнув Ольгу Васильевну в щеку, она шептала, довольная:

— Правильно, что он их не оставил! Ну их... Подумаешь, персоны граты!

Колька свистел в бригадмильский свисток и, размахивая руками перед фарами машины, орал:

— Эт-та почему такое — выпимшие за рулем? Кто разрешил? А ну, вылазть, машина не пойдет!

Сережа рассказал, что Климук просил оставить на ночь Кисловского со спутницей. Собственно, ради этого они и приехали. Он разозлился и отказал. Климук уговаривал, убеждал всячески:

— Ты меня приглашал с ночевкой, я имею права на два койко-места на твоей даче, ну, так я уступаю эти места своим друзьям...— Потом стал угрожать: — Старик, ты поступаешь опрометчиво. Пеняй на себя...— И, наконец, едва не со слезами в голосе умолял: — Старик, сделай это ради меня! Я твердо обещал! С твоих слов! Как я буду выглядеть после такого обмана?

Сережа сказал, что почувствовал внезапное и непреодолимое отвращение.

— Я вдруг догадался, что передо мною торгаш. Наша дачка была товаром в каких-то его операциях. Ему он обещал это, а тот обещал ему что-то другое, и вот вся сделка рушилась... Какую он мне закатил истерику! Как шипел, как клокотал в ярости! «Ты негодный товарищ, на тебя нельзя положиться. Ты ненавидишь людей». И этот неподдельный гнев не оттого, что он сочувствовал приятелю, а оттого, что у самого что-то отнимали. Я его ограбил, понимаешь?

А почему нельзя было оставить парочку ночевать? Цыганистая девушка была, конечно, мерзка, но если Кисловский столь важная фигура и Климук просил... Уложить их в комнате, самим на терраске... Но у Сережи было несуразное, вкусовое отношение ко всему, даже к серьезным делам и к собственной судьбе. Он делал то, что ему нравилось, и не делал того, что не нравилось. Кстати, тут крылись причины его вечных недоразумений.

— Вдруг чувствую, что я тоже торгаш и принимаю участие в какой-то длинной и скучной сделке. Стало

тошно, и я отказал. Сославшись на тебя. Дескать, ты у меня строгих правил... Да ну его к бесу!

Боже мой, теперь очевидно, какая это была цепь глупостей и жалких изобретений! Не надо было зазывать их на дачу. Не надо было, коль уж зазвали, фордыбачить и обижать. И не надо было так уж рваться в прекрасную Францию...

Разумеется, в Василькове Сережа не сказал ему ни слова, и правильно поступил, но — зачем тогда это судорожное гостеприимство? Прошло два дня. Он поехал в институт. Вернувшись вечером домой, на Шаболовку, в радостном возбуждении рассказал: Генка был очень приветлив, дружелюбен, расспрашивал, как самочувствие Ольги Васильевны, свекрови, Иринки, тети Паши и бригадмила Коли и не набедокурили ли гости в пьяном угаре. Сережа отвечал, что все было высокохудожественно, претензий у хозяйки нет. И в том же полушутливом тоне:

— А Эдуард Николаевич не говорил каких-нибудь слов? В связи с нехваткою мест в гостинице?

Нет, никаких слов, потому что говорить было нечем: до самой Москвы язык у Эдуарда Николаевича не шевелился. А лишь только въехали в Москву, он произнес хриплым голосом первое слово. Это был почему-то вопрос: «Принесли?» Так никто и не понял, что это значило.

Постояли, похохотали в коридоре и разошлись. А что насчет Франции? Пока ничего. Полная неясность. Вообще-то Климук поговорит с кем нужно, он обещал.

— Старуха, не суетись! Генка сделает, это не проблема...

В ту минуту он, кажется, искренне в это верил.

Проблема была — добыть деньги. Сначала Ольга Васильевна втайне поговорила с матерью, которая часто выручала ее, давая небольшие суммы взаймы и просто так, без отдачи, но тут мать заколебалась: сумма ошеломила ее. Таких денег у матери не было, Георгий Максимович давал ей на расходы помесячно.

— Неужели этот вояж так уж необходим? — Мать слабо пыталась сопротивляться.— В вашем доме столько дыр. Тебе нужна шуба, Иринка из всего выросла... И потом: если бы уж вдвоем!

Ольга Васильевна объяснила, что вдвоем совсем невозможно, да и никто не предлагает вдвоем, а ему такая

поездка была бы полезна во всех смыслах. Мать не вполне понимала, о каких смыслах речь, растолковать было трудно, речь шла о понятиях таинственных,— например, о присутствии духа, о самоутверждении,— но она поверила Ольге Васильевне. Мать всегда верила ей в конце концов. Обещала поговорить с Георгием Максимовичем. На другой день позвонила и сказала, что Георгий Максимович просил Сережу зайти.

Были уверены, что «зайти» значило просто зайти, чтобы взять деньги. В субботу поехали втроем. Мать и Георгий Максимович уже три года жили на новой квартире, недалеко от прежнего дома на Сущевской, где осталась мастерская. Дела у Георгия Максимовича шли теперь очень хорошо, он занимал какие-то выборные должности, чем-то распоряжался, где-то преподавал и работал слегка. Много работать запрещали врачи. Но он все равно любил уходить с утра в мастерскую, и если не писал и не рисовал, то потихоньку возился с картинами, маленьким молоточком вбивал в багеты гвоздики, укрепляя картон, перебирал листы, кое-что поправлял, не напрягая зрения, или же приглашал какого-нибудь приятеля со второго или первого этажа, они согревали чай на плитке, обсуждали дела, вспоминали прошлое и одновременно рассматривали репродукции, богатейшую коллекцию Георгия Максимовича, разложенную по громадным папкам.

Сережа относился к Георгию Максимовичу неплохо, считал его порядочным человеком и даже испытывал к нему нечто вроде благодарности: не за то, что́ тот творил на полотне и бумаге, а за то, как вел себя в качестве отчима Ольги Васильевны. Но однажды он сказал Ольге Васильевне:

— Есть такие детские картинки: смотреть на них сквозь розовую пленку — видишь одно, сквозь голубую — совсем другое. Вот твой отчим, прости меня, напоминает такую картинку. То вижу его художником, настоящим, жертвующим ради искусства всем, а то дельцом, гребущим заказы...

Ольге Васильевне не понравилось, ей показалось тут унижение матери. Она не могла бы полюбить дельца. В том-то и дело: она полюбила несчастного, неустроенного, голодного и нищего, но чистого человека... А кто процветал в эвакуации? Если б он был дельцом, он бы процветал. Он не умел зарабатывать на хлеб. Не умел

ничего, кроме мазюканья кисточкой по бумаге. Единственную пару ботинок, высоких, черных, с тупыми, расплющенными носами,— они хорошо ей запомнились,— он утром обвязывал шнурком, потому что отлетала подошва. Это потом, спустя годы, десятилетия, дела его изменились и он стал легко зарабатывать деньги.

Мать как-то шепнула ей, что денег у Георгия Максимовича на книжке довольно много. Конечно, это было хорошо. Ольга Васильевна могла быть спокойна за мать, да и ей самой в худую минуту было куда ткнуться...

Но Сереже не хотелось в ту субботу идти к тестю. Он как будто чуял неприятное.

— Пойди одна. Я тебя прошу...

— Нет, Сережа, неудобно. Деньги просишь ты для своей поездки. Если ты не пойдешь, это будет воспринято как барство. Ты и так ходишь к ним редко.

— Скажи, что я заболел. Я действительно плоховато себя чувствую.

— Нет, если не пойдешь, я не пойду тоже. Тогда все отменяется.

Его нежелание идти к родственникам показалось ей чрезвычайно обидным. Те делали благородный жест — у кого бы он занял такую сумму? у дружков-приятелей? черта с два! — а от него требовали минимум внимания; посидеть, выпить чайку, поговорить со стариками. Ну, и, конечно, сказать «спасибо» или «я вам благодарен», два слова в знак признательности. Неужто трудно? Нет, не трудно, даже приятно поболтать с Георгием Максимовичем, который столько знает и жил в том же Париже, на рю Муфтар, о чем мы много наслышаны, но... Э, да что говорить! Если непонятно сразу, тогда нечего объяснять. Тошнотворная невыносимость — вот что такое просьбы, и это делает все разговоры, чаепития и родственные встречи фальшивыми.

— Поэтому я тебя просил,— видишь, опять просьба, опять невыносимость! — если можно, избавь меня от этого испытания. А если нет — пожалуйста, идем...

Она должна была понять его, но — не поняла, потому что мысли ее были заняты матерью, которой тоже было непросто и, может быть, невыносимо, но она пересилила себя и п о п р о с и л а.

— Приходится иногда делать неприятное,— сказала она непреклонно.— Ты этого не любишь, я знаю. Теперь решай: пойдем или останемся дома?

Всю дорогу ехали молча. Она еще разжигала себя: интересно, почему это он считает себя вправе обижаться? На что, собственно? На то, что едет во Францию, а она остается? Иринка тоже молчала. Она чутко улавливала трещины и размолвки, возникавшие между родителями, и реагировала по-своему,— нет, не пыталась рассеивать, веселить или мирить, как, по рассказам, делали другие дети, а вела себя точно так же, как родители: если они угрюмо молчали, и она тотчас замыкалась, если были сварливы и раздражительны, и она разговаривала точно так же раздражительно, ворчливо, как маленькая старушонка.

Так, в молчании, доехали до Сущевской, прошли мимо старого дома, углубились в переулки, где все теперь было неузнаваемо, сломано, перестроено. Удивительная загадка: почему у нее было мрачнейшее настроение, когда подходили к дому матери? И у него тоже? Ведь были молоды, здоровы, занимались делом, он собирался за границу, она надеялась за это время сделать небольшой ремонт в квартире, а еще рассчитывала на то, что он привезет какие-нибудь парижские тряпки, и, порасспросив, даже наметила, какие именно... И они все трое были вместе, вместе! Это была их жизнь.

Но они мрачно вошли в подъезд, мрачно погрузились в лифт. Единственная фраза, которую произнесла Ольга Васильевна, было строгое приказание дочери:

— Не трогай грязную стенку!

Квартира родителей была небольшая, удобная, прихожая в красивых, карминного цвета, венгерских обоях, в большой комнате обои были под дерево. Здесь Георгий Максимович со вкусом расставил обломки своей антикварной мебели, развесил разные полочки, расставил этажерки, и все, что в старом доме казалось хламом, здесь приобрело особый, дорогой и старинный вид. Кроме того, на стенах, конечно, было множество картин, гравюр и рисунков под стеклом, не только Георгия Максимовича, но и других художников, среди этих вещиц были два этюдика Левитана и Коровина, рисунки еще каких-то знаменитостей и, гордость Георгия Максимовича, волнистый прочерк карандашом Модильяни, изображавший нечто неясное и эротическое. На всех этажерках, полочках и на книжном шкафу стояли свечки, свечечки и толстые, узорчатые, необыкновенных форм и оттенков свечи для запаха, купленные за границей знакомыми Георгия

Максимовича — сам он за границу не ездил, запрещали врачи,— и все это теперь курилось, мерцало, горело и пахло благовонно и сладко.

— Иллюминация в вашу честь, медам и месье! — Георгий Максимович парадным жестом приглашал в комнату.

Французские слова были сказаны не без смысла, и это Сереже, как видно, не понравилось: она заметила, как его губы слегка надулись в знакомой гримасе. Благородный поступок — дача ссуды родственникам жены — производился хотя и в домашней, но в торжественной обстановке. И сам Георгий Максимович выглядел торжественно: в широкой, из черного вельвета, художнической куртке, недавно пошитой в ателье МОСХа, с фиолетовым фуляровым платком на шее, в белоснежной рубашке, в брюках модного серого цвета «гудрон», но, правда, внизу у него были старые шлепанцы со смятыми задниками.

Сначала пили чай, ели торт. Иринка рассказывала о школьных делах — Ольга Васильевна слушала с большим интересом, потому что дома Иринка никогда ничего не рассказывала, негодница, а в присутствии бабушки, дедушки или каких-нибудь не самых близких людей, но и не слишком посторонних в ней открывался дар рассказчицы, и она им щеголяла,— а затем мать увела Ольгу Васильевну и Иринку к себе в комнату, а мужчины остались для беседы.

Георгий Максимович заговорил о своей жизни в Париже, на рю Муфтар, которую они, русские парижане, называли «Муфтаркой», о своих тогдашних приятелях, двое были из Одессы, один из Елизаветграда и один из Витебска, тот, что потом прославился на весь мир. А про остальных Георгий Максимович ничего в точности не знал: кажется, кто-то уехал в Америку, другие умерли в безвестности, одного убили немцы, когда вошли в Париж. Все это было чудовищно давно. Это была юность века, юность эпохи, юность аэропланов, кинолент, игры в футбол, разложенческой живописи, всего того, от чего теперь сходит с ума мир, и — совпадение! — это была его собственная, Георгия Максимовича, юность. Поэтому он запомнил девушек, их шутки, их жесты, то, как они сбрасывали платья и закрывали глаза, и что они при этом говорили, он запомнил голод, он запомнил кафе, он запомнил радостную, неутомимую работу по ночам неиз-

вестно для кого и зачем, не приносившую заработка. Вспоминая, Георгий Максимович стал волноваться, и его крупное мягкое лицо с большим носом покраснело, и он вынул из кармана куртки шелковый фиолетовый платок и вытирал лысую голову и щеки.

Все это Ольга Васильевна представляла себе очень отчетливо, потому что Сережа потом подробно и красочно — подражая движениям и голосу Георгия Максимовича, совершенно по-актерски, как он умел,— изобразил разговор.

— Собственно говоря, я был в Париже дважды... Первый раз совсем мальчишкой, в десятых годах, но тогда я ничего не понимал... Второй раз — в двадцатых, был послан в командировку, тогда я понимал несколько больше... Ну что вам сказать? Второй раз мы жили на улице Вожирар... Это самая длинная улица Парижа...

Сережа думал: вступление затянулось. Когда же он перейдет к делу? Георгий Максимович еще некоторое время что-то говорил с затухающим энтузиазмом, потея и обмахиваясь платком, что-то про свою первую жену, с которой жил на улице Вожирар, она работала машинисткой в нашем посольстве, а он делал эскизы к большой картине о Парижской коммуне. Почему-то эта картина так и не была закончена.

— Ну что вам сказать о Париже? — неожиданно вялым голосом промямлил Георгий Максимович.— Париж, конечно, красив... Но не более красив, чем Одесса, чем Киев... И ведь там нет ни Черного моря, ни Днепра, а Сена, честно говоря, довольно неказистая и грязная река... Лето там очень тяжелое, попросту нечем дышать...

Сережа спросил: не намекает ли Георгий Максимович на то, что ехать в Париж не имеет смысла?

Георгий Максимович покачал головой и улыбнулся хитро и значительно. О нет! Совсем нет. Как старый и много видевший на своем веку господин, Георгий Максимович хотел сказать вот о чем: в прежние времена люди стремились в Париж в двух случаях. Во-первых, когда были очень бедны, надеясь переломить судьбу и там разбогатеть, и, во-вторых, когда были очень богаты, желая получить удовольствие и промотать денежки. А о том, кескесе современный туризм, Георгий Максимович не имеет представления и не берется судить... Сережа смеялся: вас понял! Я не отношусь ни к первой, ни ко второй категории и, стало быть... Бог с вами, дорогой зять,

я не отговариваю вас и даже приготовил по просьбе Галины Евгеньевны некую сумму «аржа́н» для приобретения...

Из кармана вельветовой куртки появилась пачка десятирублевок.

— Пожалуйста,— сказал Георгий Максимович, очень радостно и до́бро улыбаясь всеми своими пластмассовыми зубами, и протянул пачку Сереже.

— Спасибо,— сказал Сережа. Но пачку не взял. По его словам, он испытал в ту секунду какой-то странный сдвиг: точно все побежало вдруг в обратном направлении.

Георгий Максимович положил пачку на стол рядом с Сережей. Они продолжали разговор. Георгий Максимович расспрашивал о работе, о том, как подвигается диссертация.

Диссертация подвигалась плохо. Сережа не любил говорить об этом. Он стал отвечать отрывисто и небрежно, а на какой-то вопрос Георгия Максимовича не ответил вовсе, замолк, отключился и, замурлыкав мотивчик, глядел в окно, размышляя о постороннем.

— Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? — спросил Георгий Максимович.

Сережа, поблагодарив, сказал, что помочь ему не может никто. Да и как, собственно, помогать? Это ведь не забор красить и не огород копать. Он стал понемногу накаляться. Ему показалось, что Георгий Максимович проявляет к нему сочувствие, а сочувствие было нечто особенно ненавистное ему, и тут он решил окончательно, что денег не возьмет.

— Вы знаете, как я поступал, когда работа не ладилась? — бормотал старик, не догадываясь, что в эту минуту ему надо было помолчать.— Я находил в себе силы уничтожить начало и начать снова...

— Да, да, понимаю...— кивал Сережа, улыбаясь.

— Вы зашли в тупик. Так? — Старик изображал что-то руками.— Вам следует отойти на несколько шагов и поискать — так? — какой-то другой путь, другой ход... Надо находиться в непрестанном движении, и тогда...

— Вы совершенно правы, дорогой метр. И ваше творчество прекрасно подтверждает... (Ольга Васильевна вошла в комнату и, услышав эти слова, ахнула про себя: поняла, что Сережа находится в последней стадии раздражения, ибо перешел к язвительностям.) Но вы,

пожалуйста, не волнуйтесь, Георгий Максимович. Все будет в порядке. Я вам обещаю.— Увидев вошедшую Ольгу Васильевну, он сказал быстро: — Собирайся, мы засиделись... Надо ехать домой!

Георгий Максимович воскликнул:

— Возьмите! Вы что-то забыли! — Он размахивал пачкой, держа ее над головой, как флаг.

Это «что-то» вызвало у Сережи новый приступ язвительности:

— Не «что-то», а определенную сумму дензнаков, которую вы, Георгий Максимович, очень любезно и так далее... Я вам горячо благодарен, но — спасибо, я обошелся. Большое спасибо!

На улице после долгого молчания он сказал Ольге Васильевне, чтобы она ни своим родителям, ни кому бы то ни было не рассказывала о его делах с диссертацией. И вообще о его делах. Присутствие Иринки сдерживало его, но Ольга Васильевна видела, что он клокочет. Он выбрасывал короткие шипящие фразы, смысла которых Иринка, конечно, не понимала, но видела, что родители ссорятся, отец нападает, и поэтому взяла Ольгу Васильевну за руку и смотрела на отца сердито. Ей было тогда лет одиннадцать, и она уже вовсю влезала в разговоры взрослых. Он говорил, что всякого рода сочувственные расспросы, советы, рекомендации из собственного опыта ему не только не нужны и бесполезны, но и — пошли они к черту! Ольга Васильевна долго крепилась, видя, что он взвинчен сверх меры. Но когда он заявил явную ложь: «Я тебя не раз предупреждал, чтобы ты никому не сообщала о моих делах, а ты болтаешь, трепло!» — она не выдержала и сказала, что неправда, она не болтает и не надо свое раздражение изливать на нее.

— Откуда же он знает подробности?

— Да ты ему сам говорил!

— А почему же ты не можешь написать диссертацию? — крикнула Иринка.

— Тебя тут не хватает...— Он щелкнул дочь по макушке.— Цыц!

Иринка отбежала вперед и, приплясывая, кричала:

— Эх ты! Эх ты! Диссертацию не можешь написать!.. Эх, эх, эх! Диссертацию не можешь написать!

Эта глупая Иринкина выходка подействовала неожиданно: он прыснул со смеху, потом замолчал и до дома не проронил ни слова.

Но что с ним происходило? Она не могла понять. Не потому, что была чересчур занята работой, лабораторией, сложными отношениями, которые существовали в ее мире так же, как повсюду,— она, кстати, умеет ладить с людьми и не боится сложностей,— но потому, что его предмет представлялся ей странным слитком простоты и тайны. Что, казалось бы, могло быть проще т о г о, ч т о у ж е б ы л о? Всякая наука озабочена движением вперед, сооружением нового, созданием небывалого, и только то, чем занимался Сережа,— история,— пересооружает старое, пересоздает былое. История представлялась Ольге Васильевне бесконечно громадной очередью, в которой стояли в затылок друг к другу эпохи, государства, великие люди, короли, полководцы, революционеры, и задачей историка было нечто похожее на задачу милиционера, который в дни премьер приходит в кассу кинотеатра «Прогресс» и наблюдает за порядком,— следить за тем, чтобы эпохи и государства не путались и не менялись местами, чтобы великие люди не забегали вперед, не ссорились и не норовили получить билет в бессмертие без очереди...

Однако Сережа очень мучился на этой простой милицейской должности. И тут-то заключалась тайна. Было недоступно ее уму. Почему нельзя посидеть усердно в архивах месяц, два, три, пять, сколько нужно, вытащить из гигантской о ч е р е д и все, что касается московской охранки накануне Февраля, и добросовестно это вытащенное обработать? Ведь не надо создавать невиданного. Не то что они с Андреем Ивановичем бьются над БСС — биологическим стимулятором совместимости. Пытаются сотворить нечто еще не существовавшее в мире, ни в Америке, ни в Японии, ни в Древней Греции, ни в Египте, нигде. Сережа сидел в архивах с утра до вечера. Заполнил выписками тридцать шесть толстых общих тетрадей. Тридцать шесть! Она недавно пересчитала. И все-таки чего-то ему не хватало — какого-то последнего знания, последнего опыта — или, может быть, не хватало страсти, охоты...

С ним бывало: вдруг пропадал интерес. Вернее, возникал интерес к чему-то совсем другому.

Так было с Францией — вдруг сказал, что исчезло всякое желание ехать: «Мне сейчас не с руки». Позвонили из профкома, сообщили, что группа сократилась и он, к сожалению, не поедет. Выслушал равнодушно и вялым

голосом — будто из вежливости — пробормотал несколько слов: «Что вы говорите? Как жаль...» — а там, наверное, думали, что он здорово владеет собой, что на самом деле убит горем. Но она видела, что ему действительно плевать: пропал интерес.

Сказал ей:

— Чего я там не видел? То, что мне нужно, я могу найти только здесь...

Сначала ему нужно было очень много. Не вполне представляя себе объем и суть работы, которую он задумал, она все чаще догадывалась, что он замахнулся на нечто слишком большое, даже безграничное. Она приводила в пример диссертацию — докторскую! — Андрея Ивановича о биологических стимуляторах, написанную удивительно емко, сжато. Там не было ни единой лишней детали. Она вся будто на пружине, простая и динамичная, как английский замок, а пружиною была мысль. Одна гениальная догадка Андрея Ивановича: о диффузионной структуре стимуляторов. И вот она добивалась: а какая мысль у тебя? Есть ли у тебя нечто всеохватное, плотящее воедино все твои тетрадочки, выписки, факты, цитаты?

Это говорилось из желания помочь, а не в укор. Но он не разговаривал с нею о своей работе всерьез, вернее — никогда не высказывался до конца, она чувствовала, что какие-то мысли он оставляет в своем подполье, как неприкосновенный запас. А может быть... Вдруг — никакого запаса и не было? И все это блеф или, точнее сказать, *самоблеф*? Как раз на это намекал Генка Климук, когда пришел однажды — еще в начале своей деятельности на высоком посту — доверительно поговорить о Сереже.

Трудно было понять, чего он хотел. И тогда-то было неясно, а теперь и подавно: подробности исчезли. Пришел внезапно в тот день, когда Сережа был в Ленинграде. Вошел с мимозой, в красной рубашке, в красных носках, как молоденький, обнял Ольгу Васильевну и даже чмокнул в щеку по-свойски. Она ему сказала:

— Генитальич! — И погрозила пальцем: — Жен приятелей целуют в присутствии мужей...

А он сказал, чтобы не называла этой собачьей кличкой, которая только дам отпугивает.

В его лице старого мальчика на миг мелькнуло лукавство. Но она почувствовала — сердцем, как обычно,

когда дело касалось Сережи,— что под этим лукавством таится озлобление. Какова была цель? Что-то нудно толковал о «ложном положении», о каких-то «обязательствах», о том, что Сережу взяли на определенных условиях, но Сережа добился — с помощью Феди — перемены темы диссертации, и это почему-то было плохо. Не могла понять — почему. Нарушался план института или что-то в этом роде.

— Мы пошли ему навстречу! — говорил он тоном все строже.— Мы в ущерб себе согласились с его просьбой!

Он говорил не как приятель, а как доброжелательный чиновник. Ее это поразило. В первые минуты она держалась с ним фамильярно и чуть пренебрежительно, потому что знала, что он меняется к худшему, и ей хотелось его проучить, но затем его речь и тон так ее ошеломили, что от растерянности и совершенно невольно она стала разговаривать с ним как подчиненная.

— Хорошо,— говорила она,— я ему скажу. Я передам.

Одно было ясно: они могут сделать так, что защита не состоится.

Все преподносилось в форме заботы о нем: он себя губит, пошел куда-то не туда, зарылся в дебри, потерял путеводную нить.

— Сережка дико упрям, ты это знаешь,— произнес он вдруг человеческую фразу.— И если вовремя не остановить, он себе голову расшибет.

Она не знала: рассказать Сереже или, может быть, скрыть на время? Он вернулся из Ленинграда усталый, сердитый, все там было плохо — погода, гостиница, знакомые недостаточно почтительны, не проявляли внимания, и, главное, не нашел в архивах того, что искал. Но она все-таки рассказала. К удивлению, он принял рассказ спокойно и даже как-то свысока посмеялся:

— Бедные дурачки, они все боятся, что я буду защищать Бросова...

Там был такой Толя Бросов, которого Климук сживал со света.

Но дело было в другом. Бросов оказался ни при чем, и спустя два года, когда разбиралось «дело» самого Сережи, Бросов и Климук выступали дружно, в одной упряжке. Им не нравился метод, с которым он носился и который назвал полушутливо-полувсерьез «разрывание могил». На многих его тетрадях написано на облож-

ке «РМ», что означает «разрывание могил» и говорит о том, что он относился к этой романтической метафоре более всерьез, чем шутливо. Он искал нити, соединявшие прошлое с еще более далеким прошлым и с будущим.

Из того, что она уловила когда-то: человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое. Человек, говорил он, никогда не примирится со смертью, потому что в нем заложено ощущение бесконечности нити, часть которой он сам. Не бог награждает человека бессмертием и не религия внушает ему идею, а вот это закодированное, передающееся с генами ощущение причастности к бесконечному ряду... Она улыбалась, слыша такие его речи за ужином и в постели, когда на него вдруг находил стих курить и философствовать. Надо ли было ей, биологу и материалисту, опровергать эти рассуждения? Господи, если бы она могла переделать себя! Хоть на минуту. Но, к сожалению, это было ей недоступно. Знала твердо: все начинается и кончается химией. Ничего, кроме формул, нет во вселенной и за ее пределами. Несколько раз он спрашивал у нее вполне серьезно:

— Нет, ты действительно думаешь, что можешь исчезнуть из мира бесследно? Что я могу исчезнуть?

А она отвечала ему с искренним изумлением:

— А ты действительно думаешь, что не можешь?

И он говорил, что, как ни тщится умом, как ни силит воображение, представить себе не может...

И вот он исчез. Его нет нигде, он присоединился к бесконечности, о чем говорил когда-то легко, куря сигарету. Боже мой, если все начинается и кончается химией — отчего же боль? Ведь боль не химия? И их жизнь, померкшая внезапно, как перегоревшая лампа, разве была соединением формул? Человек уходит, его уход из мира сопровождается эманацией в форме боли, затем боль будет гаснуть, и когда-нибудь — когда уйдут те, кто испытывает боль,— она исчезнет совсем. Совсем, совсем. Ничего, кроме химии... Химия и боль — вот и все, из чего состоит смерть и жизнь.

У него это началось — то, что он называл «разрыванием могил», а на самом деле было прикосновением к нити,— с его собственной жизни, с той нити, частицей которой был он сам. Он начал с отца. Он очень любил слабую память о нем. Ему казалось, что его отец был

замечательный человек, что было, наверное, преувеличением и в некотором смысле гордыней. Это во многом шло от Александры Прокофьевны, которая мужа боготворила и числила примерно так: Горький, Луначарский, Надежда Константиновна и Афанасий Дементьевич Троицкий. После гражданской войны он что-то делал на ниве просвещения. А в семнадцатом, после Февраля, будучи студентом Московского университета, работал в комиссии, разбиравшей архивы жандармского управления. Комиссия выявляла тайных сотрудников бывшего охранного отделения. Когда Сережа наткнулся на этот факт — участие отца в работе такой комиссии,— он стал копаться, полез в архивы и увлекся всей этой историей. А потом дальше — почему? откуда? — стал изучать семью отца, и деда, и даже прадеда, для чего ездил в Пензу.

Она догадывалась, что он пошел куда-то чересчур вглубь. Все это было любопытно, занимательно,— но зачем? Как-то сказали, что в одном доме можно познакомиться с правнуком знаменитого поэта, он с радостью ухватился:

— Пойдем непременно!

Повела одна женщина с работы Ольги Васильевны. Сказала, что у правнука поэта времени мало, он попьет чай, посидит полчасика и уйдет не позже пяти. Встреча происходила в блочной новостройке в Черемушках. Все в этой комнатке, стандартной, с низким потолком, состояло как бы из обломков. Вокруг стола, покрытого простой скатертью — хозяйка отмахнула край и показала инкрустированную музейную поверхность, тщательно отполированную,— стояли рядом с обычными мебельторговскими стульями два скромных произведения начала прошлого века с золочеными головками сфинксов на высоких спинках, а чай пили из кузнецовских и гарднеровских чашек, бывших, разумеется, тоже обломками каких-то рассыпавшихся сервизов.

Правнук поэта был средних лет, белесый, морщинистый, с модно подстриженными бачками. На нем был синий пиджак, украшенный медальками и значками. Он звенел ложкой в стакане, постукивал пальцами по столу и, торопясь, очень многословно и невнятно рассказывал какую-то запутанную историю жилищного обмена. При этом повторял то и дело: «В отношении того». Ольга Васильевна смотрела на правнука во все глаза и сначала

робела, не зная, о чем говорить с ним, Сережа тоже молчал и выглядел хмуро, но затем Ольга Васильевна стала разговаривать с правнуком насчет обмена и давала ему советы, так как сама недавно менялась.

— В отношении того,— бубнил правнук,— что приближается юбилейная дата... Я составил в отношении того письма... Академик Велегласов обещал подписать, артист Сонин подписал...

Старушки говорили между собой по-французски. Вскоре правнук заторопился уходить, одну из старушек он чмокнул в щеку, другим поцеловал ручки и, взяв со стола бутерброд, завернув его в салфетку, сказал:

— Там и буфета нет поблизости, гиблое место в отношении того.

Одна из старушек спросила:

— Куда вы сегодня, Alexis?

— О, далеко, ma tante.— Правнук присвистнул.— Но сообщение отсюда превосходное. На метро до Сокольников, а там автобусом пять минут...

Когда он ушел, старушки рассказали, что по воскресеньям он судит футбольные матчи. Что делать? Он инженер, заработок невелик, жена больная, двое детей...

Шли темным бульваром. Сережа был мрачен.

— Лучше бы не приходить... Одно из двух: либо в этом оболтусе есть нечто скрытое, неразгаданное, либо в знаменитом поэте было что-то «в отношении того»...

Ему казалось, что нить, соединяющая поколения, должна быть наподобие сосуда, по которому переливаются неисчезающие элементы. Это больше относилось к биологии, чем к истории. И вот когда он вплотную занялся изучением охранки, в частности московской охранки накануне Февраля, составил по документам списки секретных сотрудников с обозначением всех их служебных «подвигов» и «заслуг» перед отечеством — кропотливейшая работа отняла не меньше двух лет, а ведь это была лишь часть диссертации,— его, кроме прочего, интересовало то же, что погнало на встречу с правнуком поэта: отыскиванье нитей. Ему мерещилось, что тут таится необыкновенно важное. Временами он работал с бешеным энтузиазмом. Когда возвращался домой из библиотеки или из архива, бывал землистого цвета, едва держался на ногах и не мог сразу сесть за ужин: лежал несколько минут, успокаивал сердце. Последние года два он так ослаб, что даже перестал выпивать. Приглашали — отка-

зывался. Так его поглотила работа. Он вкладывал в нее гораздо больше, чем следовало, чем она могла вместить.

Однажды пришел вечером, и вид был такой, будто выпил. Улыбался странно. Она испугалась, потому что, если выпил, значит, что-то стряслось.

— Ты выпил? — спросила она.

— Ничего. Только что в буфете.

Продолжал улыбаться странно. Она видела, что неспроста.

Его мать тоже что-то почуяла и крутилась на кухне, где Ольга Васильевна готовила ужин. Она знала, что он не всегда готов откровенничать при матери, и, пока та крутилась тут, не стала ничего спрашивать. А он, как посторонний, сидел нога на ногу, покачивал носком и смотрел в окно. Как только мать вышла, Ольга Васильевна сказала тихо:

— Объясни, что случилось... Я же вижу.

Он покачал головой и ничего не сказал. Омлет был готов. Он потыкал вилкой, отставил. Свекровь опять зашла на кухню, прислушивалась к каждому слову, и Ольга Васильевна стала нарочно рассказывать ему какую-то чепуховую сплетню, услышанную на работе. Потом он выпил крепкого чая, и было видно, что ему стало лучше, бледность исчезла. Они пошли в свою комнату — теперь, после обмена, у всех было по комнате, у Иринки, у свекрови и у них вдвоем, где протекала *их жизнь*,— он закрыл плотно дверь, взял Ольгу Васильевну за руку и сказал:

— Ну что, меня гробанули. Было обсуждение на секторе. Накидали столько замечаний, что нужно сидеть еще два года, если не... Только матери не говори!

Произнес все это померкшим голосом, но последнюю фразу: «Только матери не говори!» — высказал нервно и бойко, и в голосе слышался истинный испуг. Как бы мать не узнала! Не могла понять, что тут: забота о материнском покое, чтобы та не расстраивалась, или же, что было ужасно, его вечная зависимость от ее мнения, настроения, его обязанность отчитываться и оправдываться перед нею.

Новость, конечно, была плохая. Она знала, что это такое, когда предварительное обсуждение проваливается, с тревогой ждала этого дня, но он скрыл, что сегодня обсуждение. Удивительные люди он и его мать! Все время подчеркивают: мы сами, мы одни, мы обойдемся. Он ухо-

дит на обсуждение, никого не предупредив, а она едет в больницу на опасную операцию — как было лет восемь назад,— и тоже никто об этом не знает. «Бабушка ушла утром и сказала, что придет поздно»,— сказала Иринка. А бабушка звонит вечером и говорит, что находится в больнице, все уже позади — да что́ позади, боже ты мой?! — и через день вернется домой. То, что рассказал Сережа, Ольгу Васильевну сразило. И еще раздосадовали фраза и истинный испуг в голосе: «Только матери не говори!» Она сказала, что это глупая фраза и вообще не об этом надо теперь заботиться. Он спросил: о чем же? Надо заботиться о деле, о том, чтобы выплыть, а не о всякой домашней чепухе. Конечно, она выставила свою досаду совершенно напрасно. Ну что с того, что он примерный сынок? Впрочем, он был вовсе не примерный сынок, она-то знала и потому еще сильней раздражалась, когда он вдруг настаивал на том, что он примерный сынок. Все это нужно было крикнуть про себя и прикусить язык до боли.

Потому что — на него свалилась гора. Лежачего не бьют. Однако бес толкал ее, подзуживал непобедимо, и она негромко — боясь, что свекровь может постучаться, а то и без стука войти,— с неизвестно откуда взявшимся гнуснейшим ядом сказала:

— Вместо того чтобы оберегать мамочку, ты бы столь же бережно отнесся к своей защите...

Он поглядел загнанно и равнодушно, как человек, готовый ко всему, и спросил:

— Что ты имеешь в виду?

— Надо было подготовить. Поговорить с людьми. Со всеми, от кого что-то зависит... А ты по своей обычной халатности пустил все на самотек. Ты виноват сам. Так не делают.

Он пожимал плечами:

— Но я думал...

— Почему же ты думал? Почему они должны? Кто ты такой для них?

И еще что-то поучительное и скрипучее. Сережа молчал, глядя на нее остановившимся взором: такой взор бывал у него, когда он внезапно погружался в задумчивость.

— Ты всерьез? — спросил он.

Она пылко продолжала его учить. Кипело низкое раздражение. Он махнул рукой и куда-то вышел. Через

минуту вернулся с чемоданом. Она не сразу поняла, что он собрался уезжать. А когда он сказал, что поедет на несколько дней в деревню к тете Паше — что было нелепостью, никто его в Васильково не звал, жить там было негде, вся родня тети Паши уже перебралась из клетушек и сараюшек в избу, лето кончилось,— она рассердилась, не могла сдержаться и громко кричала о том, что это бегство, малодушие и что, если он сейчас уедет в деревню, она снимает с себя всякую ответственность за его здоровье, быт и вообще не даст ему денег. Орала вздорно, постыдно, как можно орать только в большом гневе. На крик пришла свекровь. Прибежала Иринка из своей комнаты. И он тут же выложил матери про обсуждение, про то, что его зарубили и что защита откладывается не меньше чем на год. Понять нельзя: свирепо требовал, чтобы ни в коем случае ей не рассказывать, и тут же сам выложил все в подробностях!

Разумеется, это был удар для матери, но ведь не для такой, как Ольга Васильевна. Старуха всегда как-то приосанивалась в трудные минуты, когда надо было проявить мудрость и хладнокровие. Ей казалось, что тут она незаменима.

— Спокойно, товарищи, без паники! Только без паники! — говорила она тоном комиссара, ободряющего бойцов.— Что, собственно, произошло? Дали замечания? Очень хорошо! Чем больше замечаний, тем лучше для нас. Тем ценней станет содержание. Мне непонятно, почему ты раскис, сын...

— Никто не раскис. Но мне вся эта гадость не нравится.

— Нравиться она не может. Кому она может нравиться? Однако нельзя, в конце концов... Когда твоему отцу... Если бы твой отец...

Она успокаивала его, постепенно переходя от комиссарского тона к тону доброй бабушки, и даже слегка потрепала его по щеке. Этот жест показался Ольге Васильевне фальшивым. Разговаривала с ним как с десятилетним мальчиком. И он поддерживал этот стиль. Ольга Васильевна сказала, что паники, собственно, нет, надо спокойно все обдумать, учесть замечания, переделать, что необходимо и с чем ты внутренне согласен,— словом, взяться засучив рукава, но не поддаваться слабости. Сережа хочет уехать в деревню, что неправильно, это бегство от трудностей.

Так сказала Ольга Васильевна, что было, может, верно по существу, но неуместно именно в ту минуту. Она не должна была произносить слово «слабость». Сережа слушал мрачно, продолжая кидать вещи в чемодан.

— Нет, вы неправы, Оля,— сказала Александра Прокофьевна, вновь переходя от тона бабушки к металлической комиссарской твердости.— Вы глубоко неправы! Если он чувствует, что ему нужно поехать, пусть едет в Васильково. Пусть возьмет книги, тетради, поработает в тишине.

— Да не будет он работать! Он будет пить водку с Колькой. А ночью ему станет плохо.

— Папочка, мама не хочет, поэтому не ездий! — сказала Иринка и, подойдя к чемодану, стала выбрасывать оттуда отцовские вещи.

Он ее шлепнул, она убежала, схватив белье и машинку для бритья. Разговор — ехать, не ехать — длился до десяти вечера, ничем не кончившись. Ехать было поздно. Александра Прокофьевна продолжала гнуть свою линию семейного судии, исполненного благородства и справедливости:

— Не понимаю, почему у вас обоих траур на лицах? Откладывается защита — откладывается ставка, так что ли? Ничего, можно перетерпеть. Мы в вашем возрасте о деньгах совершенно не думали. Кто думал о деньгах? Какие-нибудь нэпманы, кулаки и лишенцы. А у нас не хватало на это времени. Мы были слишком увлечены жизнью, трудом, друзьями, событиями. Да, да, событиями! Ты не улыбайся, Ирина, в твоем возрасте я была в курсе всех политических новостей, знала ход военных действий, делала вырезки из газет, а у тебя на уме только кино да мороженое. В двадцатые годы Афанасий Дементьевич получал очень скромную зарплату, мебель в нашей квартире была казенная... И нам ничего не было нужно, кроме книг... Впрочем, и книги Афанасий Дементьевич брал в библиотеке... У него никогда не было черного костюма, он не носил галстуков... Ты не беспокойся, сын, я тебе в крайнем случае помогу, если будет туго. Ты должен работать, не думая ни о чем.

Через два дня он уехал в Васильково.

Ее мучило вот что: когда ему бывало плохо, он стремился куда-то уехать, и не с нею, а один. Это значило — она не могла быть поддержкой. Так считала его мать. Это было бессовестно. Так же, как то, что она внушала ему,

будто вся беда с провалом диссертации — по мнению ее, Ольги Васильевны,— состоит в том, что кандидатская ставка уплыла. О деньгах она не думала! Никаких денег не держала в уме! И никто в их семье, кроме Иринки, которая копит то на какую-то пластинку, то на трехрублевое ожерелье, о деньгах не думает. Не надо так уж кичиться бессребреничеством. Ольгу Васильевну больно ударило, отчего она взорвалась и так постыдно кричала, то, что его мгновенной реакцией было: уехать от нее. Как будто в ней — вся беда. А без нее — спасение. Но потом, немного успокоившись, она смирилась с этим, а он, тоже поостыв и поразмыслив, решил в Васильково не ехать, но приход Климука опять все нарушил.

Климук пришел на другой день после обсуждения. Они пошли с Сережей гулять. Гуляли долго. Ольга Васильевна уже стала волноваться. Сережа вернулся в половине двенадцатого.

— Все! — сказал он.— Finita la commedia! С Геннадием разругались вдрызг. Он безнадежен.

В его голосе не слышалось скорби. Случилось то, к чему дело шло. Она только спросила: из-за чего?

— А! — Он махнул рукой.— Из-за всего...

Вид у него был рассеянный, будто рассказывать не хотелось и не стоило труда. Но рассказал в тот же день, вскоре. Была любовь. Почему-то очень запомнилась любовь той ночью, когда он впервые рассказал про Кисловского. Обыкновенно он засыпал сразу, на него действовало как наркотик, а она, наоборот, не могла заснуть долго, и чем сильней было, тем дольше не спалось, но в ту ночь он был возбужден, ему хотелось разговаривать, и он сказал, что Климук уговаривал его отдать какие-то материалы Кисловскому, которому они нужны для докторской. Он отказался. Сказал, что не хочет лишаться таких ценных материалов, которых нет даже в архиве, а есть только у него. Климук сказал, что лучше лишиться материалов, чем диссертации. Ну и поругались. Оказалось, что это старая история. Климук назвал его идиотом, а он сказал Климуку: «Ты дерьмо!»

Что это было? Какие материалы? Она помнила только, что Сережа, когда достал их,— это произошло как-то случайно и неожиданно,— безмерно радовался. Списки секретных сотрудников московской охранки за десятые годы, вплоть до Февраля семнадцатого. Конечно, материалы ценнейшие, потому что архивы охранки были

уничтожены, сожжены. Откуда-то он эти списки раздобыл. Нашел какого-то человека, то ли пропойцу, то ли жулика, то ли просто опустившегося, несчастного босяка — она ни разу его не видела, звали его странно, Селифон или Селиван, что-то в таком роде,— который списки продал Сереже за тридцать рублей. Кажется, его дед был связан с охранкой, был там мелким чиновником и сохранил списки, чтобы шантажировать людей и вымогать у них деньги. Одно время Сережа был очень увлечен всей этой историей, совершенно фантастической. Какие-то люди Сереже не верили и говорили, что Селифон его надул, что списки поддельные, кто-то сфабриковал их если и не теперь, то в двадцатые годы, и, может быть даже, с их помощью кого-то шантажировали. В институте был такой профессор Вяткин, особенно горячо возражавший. В споре с Вяткиным Сережа придумал всю эту поездку в Городец. И, конечно, об этих списках — в папке с розовыми шнурочками — говорил Безъязычный и хлопочет Климук.

Зачем? Кисловского уже нет в институте. Она им не даст ничего. Было бы странно: чем-то помогать Климуку.

И вот когда он уехал один в Васильково — был теплый сентябрь, двадцатые числа,— начались ее страдания. Прошел день, другой, третий... Сначала она боролась с собой. Хотела победить грызущее беспокойство, тоску по нем и тревогу о нем, что было на самом деле *унизительной и смертельной зависимостью от него*, и заклинала себя не думать, не вспоминать о нем, погрузиться в работу. Он не хотел, чтобы она приезжала. Ему нужно побыть одному. И она понимала это, понимала! Но тревога, или тоска, или бог знает что это было, какое-то беспощадное, сжигавшее душу смятение росло в ней неудержимо, и она уже знала, что поедет, должен был только найтись повод. И тут как раз пришло письмо с казенным штампом из института, официальное уведомление из сектора: состоялось обсуждение, такие-то поправки, длинный перечень, срок защиты отодвигается до такого-то месяца будущего года. С этим письмом, даже не дождавшись субботы, а взяв на работе отгульный день в пятницу, она помчалась.

Васильково возникло *в их жизни* давно. Иринке было годика четыре или пять, дача на Клязьме отпала, бросились искать, им посоветовали Северную дорогу, и

вот однажды поехали безо всякого адреса, сошли через пятьдесят минут — просто понравилась безлюдная платформа, купы деревьев, луговой простор — и пошли к деревушке на горизонте. Дом тети Паши был украшен табличкой с топориком. Этот топорик и остановил их. Зачем топорик? Отчего топорик? Стояли, рассуждали вместе с Иринкой, и тут вышла тетя Паша во двор, они ее спросили: вот, мол, девочка интересуется. Тетя Паша объяснила: когда пожар, надо, значит, топор тащить. А на других домах другие таблички — где ведро, где багор. Так и остались у тети Паши, в «доме с топориком». Потом, спустя годы, когда прожили у тети Паши несколько жарких и хмурых, гнилых и солнечных лет — а мужик ее, дядя Ваня, Иван Пантелеймонович, был невидный и тихий, малого роста, плотник и без конца разъезжал с артелью, так что дома его по летам не бывало, и никто его хозяином не считал, а все тетя Паша да тетя Паша, баба могучая, рослая, работящая, крикунья и добрая душа,— и вот потом уж, распознав их хорошенько и сына Кольку, бригадмильца, Сережа часто возвращался в мыслях и разговорах к началу, к топорику. В особенности любил рассуждать на эту тему, подвыпив: «Дом с топориком! Это, мать, неспроста... Тут символ... Тут заложено ой-ой сколько...»

Иногда философствовал будто бы всерьез, а иногда, в присутствии забредших на чаек или на грибки дачников вроде Льва Семеновича, физика, или Горянского, артиста эстрады, милейшего старика, болтал насчет топорика, дурачась, подделываясь под некий высокопарный старорежимный стиль: «Господа, а знаете ли вы, где водку пьете? Это ведь изба с топориком... Вы тут поосторожнее...» Дурачился-дурачился, потом и вышло: накаркал.

День был отчетливо ясный, но уже с прохладцей, небо высокое, дорога через лес пахла опавшим листом, любимый запах Ольги Васильевны, похожий на запах прогорклого, отстойного вина,—и она бежала, торопясь, ничего не замечая вокруг, вдыхая этот запах и опьяняясь им. Так спешила увидеть его скорей, будто не виделись много лет! А прошло лишь четыре дня. Он сидел на тераске с книгой и, увидев ее, сказал:

— А, это ты...

Он не улыбнулся, не вскочил со стула, не поцеловал ее и даже не взял у нее из рук тяжелых сумок с продуктами, с банками, коробками и двумя бутылками крас-

ного венгерского вина «бикавер» — их симпатия к красному сухому, зародившаяся бесконечно давно, все еще как бы продолжалась, хотя теперь это была скорее традиция, гнездившаяся в сознании как память о лучших временах, особенно бережно хранила память о красном вине Ольга Васильевна, и то, что она тащила из города две бутылки, значило на их языке много,— он сделал слабое движение рукой, которое могло означать то ли полуприветствие, то ли жест «все пропало...», и ушел с терраски в комнату. Так он ее встретил. Она решила все прощать. Взяла книгу, которую он читал: Пушкин. Книга была довольно потрепанная и грязноватая. Вероятно, из Колькиной библиотеки.

Ольга Васильевна сидела на терраске, не зная, куда и зачем он ушел от нее и что ей теперь делать. Но она твердо решила все прощать. Сумки положила на пол.

Через короткое время он вернулся и спросил, глядя зло:

— Зачем ты приехала?

Она должна была бы объяснить, что просто не вынесла жизни без него, нет сил для такого испытания, это глупо, ведь они не в ссоре, расстались по-хорошему, и она понимает, что ему необходимо побыть одному, но — что делать, если нет сил? Вместо этого она размахивала письмом из института, говоря казенным тоном какую-то чепуху. Он закричал:

— Зачем ты приехала? — И затряс кулаками перед своим лицом.

Она испугалась, что сейчас он заплачет и упадет, и побежала в избу, зовя тетю Пашу. Дом был пустой. Она зачерпнула кружкой воду в ведре — колодезная вода в Василькове изумительная! — прибежала на терраску. Сережа лежал на топчане, отвернувшись к окну. Она присела рядом, гладила его волосы и говорила вполголоса, что беспокоилась за него, он уехал в таком дурном состоянии. Все беспокоились, и мать, и Иринка. Упоминание о матери и дочке должно было смягчить его, но он вдруг выкрикнул:

— Не ври! Не впутывай Иринку и мать!

Она пыталась объяснить, но он не хотел слушать.

— Не ври! Не ври, тебе говорят! — повторял он.— Ты приехала по собственной воле и, конечно, только оттого, что тебя гложут идиотские подозрения...

— Ничего подобного! Какой вздор!

Она искренне отрицала, потому что в подозрениях, которые ее действительно мучили, она не признавалась себе. Ей казалось, что ее мучает что-то другое. Поэтому подозрений как бы не существовало и она могла с честным выражением гнева на лице отрицать эти обвинения. Но, боже мой, как стало вдруг тепло и покойно, когда она увидела, что он сидит на терраске один и читает книгу.

— О чем ты говоришь? Какие подозрения? Успокойся, мой милый, это не для нашего возраста... Ты уже опоздал, да и я тоже...

А ей было тогда тридцать восемь. Ему сорок. Но она не упускала случая внушать: твой, мол, поезд ушел, не заглядывайся, не тормошись. Всегда смешило: сядет в метро и пялится на какую-нибудь девицу напротив. Затевала иногда разговоры по этому поводу, он сердился... Опять стала говорить про письмо из института, все еще держа его в руках. Он вырвал письмо, смял и выбросил в окно.

— Не хочу читать, все мне известно... К черту...— бормотал он.— Тоже умница! Надо забыть, отсечь, не помнить всей этой дряни, а она, как нарочно... На черта оно мне нужно, это письмо!

Ей хотелось помочь ему, она не знала как. Пришли тетя Паша и Иван Пантелеймонович, копали картошку где-то на дальнем поле. Очень обрадовались, увидев ее:

— Батюшки! Васильевна! А твой-то совсем счах без тебя...

Все перепуталось. Эти люди не понимали, что с ними происходит. Ей было безумно жаль его и хотелось помочь. Что его загнало сюда, в эти черные доски старенькой деревенской терраски с вязками лука на рамах, с какими-то банками и мешками на полу? От рук тети Паши, когда она собирала ужин, пахло землей. Иван Пантелеймонович крутил транзистор и разговаривал с Сережей об американском президенте и Суэцком канале, тетя Паша с истовым и горячим волнением выспрашивала про Иринку и Александру Прокофьевну, а также про мать Ольги Васильевны и про Георгия Максимовича, которые, хоть и редко, наведывались в Васильково, и Георгий Максимович говорил, что у тети Паши «интересное лицо», и заставлял ее позировать. Потом тетя Паша и Иван Пантелеймонович жаловались на то, что картошка уродилась мелкая, что копать припозднились,

лошадь с телегой никак не выпросишь, а на горбе таскать далеко, нынче картофельное поле «на столбах»: это где линия высоковольтной передачи, там с обеих сторон раскопали да засадили. «На столбах» называется. Ольга Васильевна слушала, глядя на тетю Пашу и Ивана Пантелеймоновича и думала: ведь старые люди, тете Паше за шестьдесят, ему под семьдесят, но они трудятся, напрягают все силы, копают землю, таскают мешки с картошкой, и делают все остальное бесконечно тяжелое изо дня в день, и не считают свою жизнь особенно трудной. Она сказала вдруг просто так, ради шутки:

— Сережа, ты книжки читаешь, а старые люди надрываются, картошку копают — пошел бы да помог...

Тетя Паша на нее накинулась, Иван Пантелеймонович рукой махал:

— Это зачем? И не думай, и пускай отдыхает! И никогда чтоб такого разговору!

Зарыкал мотоцикл под крыльцом, приехал Колька. Оба мужика, отец и сын, были невысоки, худощавы, с бледноватой тонкостью в лицах, оба голубоглазы, светловолосы, у старика седина впрожелть, а манера была у обоих плутовато тянуть губы, улыбаясь, а Колька еще и глаза отводил в разговоре, как девушка. Только подвыпивши он становился смел и горласт.

Хлебая щи, которые заедал то ломтем серого, то сосиской — он привез сосисок громадный куль, килограмма два, тетя Паша тут же бухнула десяток варить и была очень довольна Колькиной добычей,— он рассказывал, как на лесоскладе в Истомине, где он и сосисками разжился в буфете, появились штакетник, прожилины и брус для ворот и он хотел с дедом договориться, но тот почему-то не соглашался. Говоря все это, Колька странно конфузился и на Ольгу Васильевну не глядел. Она давно уже замечала, что парень в ее присутствии робеет. Однажды не удержалась, сказала об этом Сереже:

— Ты знаешь, мне кажется, что Колька... ко мне...

— Ну?

— Я ему немного нравлюсь...

Он посмотрел с удивлением:

— А зачем ты мне это говоришь?

Нарочно напускал на себя холодность и равнодушие, когда возникал хоть малейший повод для ревности. Да поводов-то... откуда им быть? Не было никаких. Иногда она придумывала что-нибудь, чтоб его подразнить, вы-

звать его волнение, и он привык, разгадывал, перестал обращать внимание. Но с Колькой было что-то похожее на правду. Она это чувствовала. Может, и он чувствовал? И все равно — наплевать. Мысли его были увлечены другим. Понемногу он примирился с ее приездом, а к концу дня — после прогулки на речку — даже радовался, говорил, что она молодец, что приехала. Ночью было хорошо. Они совсем не спали. Заснули к утру. Он рассказывал о своей работе все-все, с подробностями. Советовался с нею: как быть? Главное вот что: он безнадежно испортил отношения с людьми. Климука обхамил, сделал врагом, причем оскорбительные слова сказал в присутствии посторонних, что, разумеется, не простится. Но с Климуком все уже шло к разрыву, тут неизбежность, а вот зачем говорить резкости профессору Вяткину, человеку влиятельному? Ах, неумно, неумно! А с Кисловским? С этим хитрейшим, каучуковым, который Ольге Васильевне представлялся человеком крайне опасным и готовым на все? Черт бы с этими несчастными материалами, за которые плачены тридцать рублей, отдал бы их — и дело с концом. Тридцатку спас, а диссертация завалилась. Теперь была очевидна суть неудачливости этой странноватой семьи: отец когда-то был крупный работник, но так никуда и не вылез, мать — домашняя юристка с принципами и запросами, и он сам им под стать. И была еще сестра той же масти. Она умерла старой девой, обездоленность и тоска привели к болезни, говорят, кто-то любил ее очень сильно и мог бы составить ее счастье, но она всю жизнь любила школьного товарища, жалкого человечка. Какая-то внутренняя несуразность и желание делать только то, что им нравилось, губили этих людей...

Ночью он вдруг сказал:

— Знаешь, почему все у меня с таким скрипом? — Шептал едва слышно: — Потому что нити, которые тянутся из прошлого... ты понимаешь? — они чреваты... Они весьма чреваты... Ты понимаешь?

Она не понимала:

— Чем?

— Ну как чем! — Он засмеялся. Ей стало страшно, показалось, что он сходит с ума.— Ведь ничто не обрывается без следа... Окончательных обрывов не существует! Ты понимаешь? Должно быть продолжение, не может не быть, это так понятно...

Она смотрела на него, похолодев от ужаса.

Безумие! То, чего она страшилась, зная неустойчивость его нервной организации. Она обняла его голой рукой, прижала его голову к своей груди и гладила его волосы. Он тихонько фыркнул, вновь она содрогнулась от этого смеха.

— Ты, наверное, думаешь, что я рехнулся? Чепуха, я здоров. Но ты ведь знаешь мою идею: нить, проходящая сквозь поколения... Если можно раскапывать все более вглубь и назад, то можно попытаться отыскать нить, уходящую вперед...

Это не было безумием. Впрочем, какою-то долею это было, возможно, безумие, какою-то долею шутка и частично всерьез. Безумие и всерьез — это было одно. Она заплакала, слушая его невнятный лепет. Тогда, ночью, ей показалось, что он погиб. Он говорил что-то путаное насчет своих собственных предков, беглых крестьян и раскольников, от которых тянулась ветвь к пензенскому попу-расстриге, а от него к саратовским поселенцам, жившим коммуной, и к учителю в туринской болотной глуши, давшему жизнь будущему петербургскому студенту, жаждавшему перемен и справедливости,— во всех них клокотало и пенилось несогласие... Тут было что-то не истребимое ничем, ни рубкой, ни поркой, ни столетиями, заложенное в генетическом стволе... Вдруг терялось ощущение бреда и казалось, что он говорит нечто разумное, стройное, может быть, очень умное, но тут же пронизывал страх: не сходит ли он с ума? Какая могла быть связь между пензенским распопом, жившим сто двадцать лет назад, и трудностями с диссертацией, с обсуждением в секторе? Он говорил, что связь есть. Тогда же, ночью, возникла идея поездки в Городец.

Профессор Вяткин сомневался в списках, добытых Сережей не вполне научным путем.

Совсем недавно она отрыла папку с розовыми тесемками, погребенную под ворохом других папок на нижней полке большого книжного шкафа. Папка из глянцевитого желто-мраморного картона, который был в моде в десятых годах. Она читала, плохо понимая, буквы прыгали перед глазами, потому что думалось с горечью о том, что жизнь состоит из непоправимостей. Какая огромная часть его существа осталась неизведанной! А ведь ей казалось, что она достаточно, сверхдостаточно

знает о нем. Нет, ей казалось, что все это бесконечно неинтересно. Ничего поправить нельзя. Она переворачивала хрупкие, пахнувшие тленом странички, старалась вдумываться в смысл и с отчаяньем понимала, что смысл от нее отлетает: пустой и безжизненный, он мог лететь, лететь...

Какие-то фамилии, годы, села, волости, города, клички, занятия, адреса. У многих было по нескольку кличек. Что со всем этим делать? Невозможно понять. Тоска сжимала сердце. Прежде чем спрятать листочки в папку, завязать бантиком тесемки и сунуть папку под пресс десятка других папок, более толстых и тяжелых, она нашла в списке фамилию Кошелькова Евгения Алексеевича, 1891 год рождения, крестьянина села Городец, Московской губернии, портного, служившего в магазине «Жак» на Петровке.

С этим Кошельковым связывало единственное: сентябрьское утро в дымке, тишина пустой дороги, земля, уже чуть стылая, затвердевшая за ночь, пожелтевший и звенящий березняк и запах грибов (Сережино непременное бормотанье: «Грибы прошли, но крепко пахнет...» — и еще другое, его любимое: «Какая холодная осень. Надень свою шаль и капот...»), когда шли просекой не торопясь, но и не очень медленно, дорога предстояла далекая, у него было чудесное, веселое настроение, он шутил, дурачился и брал ее руку, заставляя размахивать сцепившимися руками с видом влюбленного школьника. И даже читал слова наоборот. Вдруг он становился таким, каким был когда-то давно. Она тогда подумала: это, что ли, называется счастьем? Ясное утро, дорога, желтые рощи... Нет, не хватало Иринки... А вот когда-то приехали в Васильково в марте, на Иринкины каникулы, шли лесом на лыжах — Сережа убежал далеко вперед. Иринка едва телепалась, и было уже под вечер, красноватая желтизна за темными стволами, слепил глаза сумеречный снег,— и Иринка спросила: «Мама, а что это — счастье?»; ей было лет десять, на все вопросы следовало отвечать всерьез, и она задумалась всерьез, чтобы ответить понятно и кратко, но ничего не придумывалось, и тогда она вдруг сказала: «Вот этот вечер в лесу, мы трое на лыжах — это счастье. Понимаешь? Это и есть...» Иринка, конечно, не поняла. Да и она, сказав, не понимала по-настоящему. Должна была исчезнуть их жизнь.

А когда шла сентябрьским утром из Василькова на станцию, все боялась, что натрет ногу. Туфли были жесткие, новые. Не для дальней дороги. Но, кажется, все обошлось. Они отправились в село Городец в надежде отыскать хоть какие-нибудь следы Кошелькова Евгения Алексеевича, имевшего в московской охранке клички Тамара и Филипчук. Сережа говорил: разумеется, никаких родственников и отпрысков не найдется, сколько лет прошло, все перепахано, перемолото, но ведь что-то должно остаться, какие-то обрывки нитей, искры чьей-то памяти. Если хоть что-то найдется — просто запись в местной церкви о рождении и крещении,— значит, список не врет. Городец выбрали потому, что ближайший пункт к Василькову, двадцать восемь километров всего. Сначала ехали электричкой, потом автобусом. Село превратилось в городишко. Вокруг старенькой, еще когда-то французом поставленной сукновальной фабрики наросли четырехэтажные блочные дома с телевизионными палками на крышах, а когда шли мостком через тинистую, в зеленой ряске, речонку по имени Вопря, слева громоздился склон, весь облепленный черными, изгнившими сараями и домишками, в которых непонятно что хранилось, жил ли кто или же это береглось как историческая реликвия, как свидетельство дореволюционной нищеты и бесправия. Перед кирпичным одноэтажным домом с вывеской «Продтовары» стояли несколько мужчин с тем бездельным и лениво-рассеянным видом, который безошибочно обозначал вынужденную праздность, бюллетени, ночные смены и нехватку чего-то нужного им всем в эту минуту. Сережа пошел к ним узнавать. Через четверть часа он уже стоял в компании троих возле торцовой кирпичной стены дома и пил водку из бумажного стаканчика, закусывая помидором. Ей это очень не нравилось, она нервничала. Мужчины шутили. Он благодушествовал. Был замечательный сине-золотой день. Они бродили по городку, который местами напоминал деревню, заходили в дома, разговаривали в палисадниках, где пахло яблоками. К концу дня нашли старика, очень румяного, крепкого на вид, ходившего мелкими-мелкими медленными шажками в черных валенках: в прошлом году случился удар, думал, что помирает, но выжил. Старик говорил, улыбаясь красивым белозубым ртом:

— Бабья лета нынче удалась...

Это был сам Кошельков Евгений Алексеевич.

В марте в первый же час возвращения из Ленинграда — она примчалась самолетом, так извелась по Иринке — услышала жалобы от обеих. Иринка сказала, что бабка держала ее на казарменном положении, денег не давала, никуда не пускала, а с друзьями, которые приходили в гости, обращалась возмутительно. Выставляла грубым образом. Было не поздно, ну, полдвенадцатого от силы. Ребята, конечно, ушли, она пошла провожать, вернулась через час, а бабка в истерике — звонила всем подряд — Дашке, Тамарке, Бэле. Люди спать легли, она их поднимала. Совсем уж о ф и г е л а.

— Я с ней после этого три дня не разговаривала.

— Но, может быть, ты тоже не вполне тут права?

— В чем же я неправа?

— Зачем пошла провожать так поздно? По-моему, это было лишнее. Она беспокоилась за тебя.

— А зачем она им хамила? Потому что не надо было хамить...

Разговор этот возник сразу, она не успела переодеться, распаковать чемодан, где лежали нехитрые подарки, купленные в Гостином дворе. Настроение еще не успело омрачиться. Слушая дочь и коря ее, она поглаживала Иринку по костлявой спине: лопатки выпирали, а трикотажная синяя кофточка с короткими рукавами заметно стала мала и для лета не пригодится. Но через четверть часа, когда Ольга Васильевна, переодевшись в халат, пошла в ванную, включила горячую воду, принялась с ожесточением тереть и мылить ванну старой мочалкой с помощью порошка «Гигиена» и что-то напевала вполголоса — как не напевала давно, может быть полгода, разучилась напевать, и сейчас это получилось бессознательно, и если бы она вдруг сообразила, что напевает, она бы, наверное, сразу замолкла,— дверь ванной комнаты скрипнула и раздался голос Александры Прокофьевны:

— Больше никогда Ирину на меня не оставляйте. Не хочу, хватит с меня, она взрослая девушка, пускай живет как хочет.

— Хорошо, после поговорим,— сказала Ольга Васильевна.

— Или уж вы сидите дома, поскучайте немного. А у меня есть работа, я должна ее делать.

Старуха очень гордилась своей ерундовой работой для газетной «Юрконсультации», получаемой нерегулярно, после многих звонков и просьб: ее там просто жалели, как пенсионерку и ветерана соцзаконности. Но вообще-то, как испытанный в судейских ристалищах боец, она умела нацелиться и кольнуть в больное. Так и теперь: слова «поскучайте немного» кольнули Ольгу Васильевну, однако она все еще не была в настроении ссориться и ответила миролюбиво:

— Хорошо, Александра Прокофьевна, дайте мне принять душ, потом поговорим.

Затем выяснилось: Иринка чудовищно распустилась, ничего не допросишься, ни в магазин, ни в прачечную, ни просто пол подмести, отвечает дерзко и все только требует, требует, требует. Иринка, подошедшая к дверям кухни и слушавшая обличения бабки с насмешливым видом, спросила:

— Что я у тебя требовала? — Голос у нее действительно был дерзкий и грубый.

— Я с тобой не желаю разговаривать. Матери объясняю, пусть голову ломает, как с тобой быть.

— Ах, не желаешь? Ничего я у тебя не требовала.

— Ирина, не огрызайся. Пойди в комнату, дай нам поговорить.

— Ага, я пойду, а она тут будет врать...

— Слышите? «Она», «врать»...

— Ирина, уйди!

— Я уйду, но ты, пожалуйста, ей не верь. Единственное я просила — деньги на «Вкус черешни» в «Современнике». Она не дала. Я заняла у Дашки три рубля. А зимние сапоги, которые она обещала, я все равно знала, что она не купит. Так что ничего удивительного.

— Я, кажется, тебе объяснила, в чем дело, почему я не могу дать денег ни на театр, ни на сапоги,— сказала Александра Прокофьевна.— Спекулянтами никогда не пользовалась и пользоваться не стану, не дождетесь. Подлецов я не поддерживаю. Когда увидишь в магазине хорошие сапоги, скажешь мне, пойдем и купим. Я тебе многократно говорила. Но теперь, впрочем, придется отложить.

Ольга Васильевна почувствовала, как в голову над бровями вступила боль. Ирина ушла. Свекровь продолжала обличать Ирину: доказывала, что плоха, неумна, скверно воспитана и виновата в этом, конечно, мать. От

всего этого, что стянулось узлом и выхода не предвиделось, никакого выхода, кроме начинающейся мигрени, которую лечить неизвестно чем, Ольга Васильевна стала ненужно и зло спорить, защищая дочь:

— Вы не видите в ней ничего хорошего. А она нуждается в доброте, в ласке, ведь она лишилась отца...

— Вы смеете мне объяснять!

В узеньких глазках свекрови показались слезы, лицо ее побелело, губы обвисли. Это внезапно изменившееся лицо Александры Прокофьевны как бы подстегнуло Ольгу Васильевну, она поднялась и, стискивая рукою лоб, будто желая удержать рвущуюся наружу боль, а другою рукой потрясая перед собой — самообладание покинуло ее,— заговорила громко, сбивчиво:

— Потому что у вас нет доброты! Вы злая женщина! Но я не разрешу! Я не дам... Если нет отца, вы думаете — некому заступиться? Я... я вам не дам! — Спазма перехватила горло.— Почему вы не дали несчастные три рубля? Боялись, что не верну? Девочка должна побираться, как нищая! Она не нищая, нет! Пока есть мать, она не нищая — вы слышите? Зачем вы лгали и заманивали ее сапогами, будь они прокляты?..

Свекровь, глядя на нее презрительно и брезгливо, качала головой и отступала к двери. Лицо ее окаменело. Ольга Васильевна не слышала своего голоса. Вдруг крик:

— Мама! Замолчи!

Она увидела искаженное страхом лицо дочери. Иринка обняла ее, потащила куда-то. Потом Иринка исчезла, может быть, ушла в школу или в магазин, ее не стало. Ольга Васильевна лежала в полумраке, с занавешенными окнами, и думала: «Взрослая дочь. Она меня защитит. Не могу без нее. Старухе раз навсегда сказать: не смейте...»

Встала в потемках. Обедала на кухне одна — Иринка убежала в кино. Свекровь доставала что-то из холодильника, молча ставила на плиту. Почему Иринка смылась в кино, зная, что мать так расстроена, что была ссора? Странный характер! Что-то неустоявшееся, гибкое, жесткое, отцовское. Такие же «убеги», исчезновения. Вдруг проявит человеколюбие, откроет умение жалеть и сочувствовать, обнаружит — на миг — взрослый и трезвый ум, а затем ошарашит какой-нибудь полудетской выходкой, капризом или же таким матерым эго-

измищем, что оторопь возьмет. Ну да, тянули в разные стороны. От отца слышала одно, от бабки — другое. Для Ольги Васильевны главное — научить самостоятельности, независимости от людей. Нет никого жальче тех бедняг, которые зависят душевно от других. Мать Иринки всю жизнь такая. Теперь кончилось. И настигла другая мука: душа независима и пуста.

А у Иринки при всей избалованности, вспышках эгоизма и грубости есть эта слабость: незащищенность от чужой воли. Та история с театром в январе, на каникулах. Раньше билеты в театр доставал Сережа. У него сохранились приятели студенческих лет по театральному кружку: один стал артистом Театра Моссовета, другой сделался могущественным театральным администратором. Но вот заставить позвонить им было задачей. Как он не любил просить! Наседали на него вдвоем. Долбили неделю подряд. Если удавалось добыть три билета, тогда шли все вместе, если два, он уступал дочери. Иринка любила ходить с отцом: он был щедрее в буфете. И вот после ноября пошла в театр впервые. Билеты достала Даша. И как раз в тот театр, куда Иринка ходила с отцом чаще всего,— в Моссовета. Ольга Васильевна беспокоилась, девочке многое там будет напоминать. Сама бы не пошла в этот театр ни за что. Весь вечер Ольга Васильевна изнывала, томилась, звонила Дашиной матери: не будет ли кто девчонок встречать? Мать у Даши поразительно беспечна. Иринка пришла около двенадцати, мрачная, ни слова не говоря, пробежала в свою комнату, ужинать отказалась: «Болит голова!» Ольга Васильевна заглянула через четверть часа: девчонка плакала. Захлестнуло жалостью. Обнимала дочь, гладила, успокаивала и сама едва сдерживалась. А затихнув, Иринка рассказала неожиданное: Даша, оказывается, пригласила в театр еще одну девочку и весь вечер разговаривала с нею, а не с Иринкой. В антракте гуляли под руку вдвоем, а Иринка была как посторонняя. И шептались о чем-то секретно. Иринка так огорчилась, что после театра убежала не попрощавшись. Ольга Васильевна была поражена. Ведь так любила отца! А страдает из-за дрянной девчонки, притворщицы. Примирилась со своей Дашенькой скоро, встретила Ольгу Васильевну счастливая: «Дашка сказала, что Майка дура! С ней разговаривать не о чем. Она Феллини не признает...»

Звон, гром, хлопанье двери, бег по коридору — возвращение из кино в одиннадцатом часу. Не раздеваясь, стоя посреди комнаты и раскручивая длинный шерстяной шарф, дочь сообщила новость: завтра хочет поехать за город дня на два. К Даше на дачу. Понимала, конечно, что наносит удар. Мать истосковалась, хотела провести субботу и воскресенье с дочерью. В глазах Иринки пряталась жалкая шкодливость. Ольга Васильевна старалась не показать ошеломления.

— Сначала разденься.

Иринка разделась, села к столу. Могла бы сесть на диван, рядом, но села подальше, к столу, это значило: готовится сопротивляться. Тут вошла Александра Прокофьевна со словами, что чай горячий. Ольга Васильевна спросила, кто собирается на эту дачу.

Последовал пересказ имен, частью незнакомых, человек восемь. Надо же ей немного подышать воздухом для здоровья. Это же необходимо, правда же?

— А школу вы пропускаете?

— Да ну! — махнула рукой.— У нас в субботу один урок. Все болеют, такой ужасный грипп в Москве.

— Какой урок?

— Физика.

— Нет,— сказала Ольга Васильевна,— мне это не нравится.

— Мамочка, ну почему?

— Пропускать урок — мне это не нравится.

— Но почему, почему? Что такого? Один урок, подумаешь!

— Если не понимаешь, объяснять не желаю. Не нравится мне это.

Ей не нравилось не только это и, наверно, гораздо больше не это, а то, что дочь так легко расставалась с нею, едва встретившись после десятидневной разлуки. Бог знает что. Быть такой тупой, так ничего не понимать в близких людях. Это от отца. На него находили периоды глухоты. Свекровь стояла рядом и слушала молча. Одобрить Иринкину авантюру она, конечно, не могла, но и сказать два слова в поддержку Ольги Васильевны было свыше ее сил.

— Мало ли что тебе не нравится. Мне тоже, может быть, кое-что не нравится...— Иринка сидела, выпрямившись, у стола, нога на ногу, с высокомерным видом, глядела в скатерть. Правой ногой она сильно раскачивала.

Был как раз тот самый независимый облик, к которому так стремилась Ольга Васильевна.

— Что тебе не нравится?

— Кое-что.

— Например?

— Мало ли... Например, то, что ты часто уезжаешь из дома. То в Челябинск, то в Ленинград.

— Я уезжаю, милая моя, в командировки. Меня посылают, хочешь не хочешь. («Вот уже и оправдываюсь перед ней».) Ты думаешь, я так, по своей воле?

— Знаю, что в командировки, но ведь и самой хочется немного отвлечься, правда же?

— От чего отвлечься? Что ты глупости мелешь?

Но то были не глупости. Кровь прилила к лицу Ольги Васильевны. Свекровь продолжала стоять молча.

— С чего ты взяла, что я хочу отвлекаться? Кто тебе сказал такой вздор? — Ольга Васильевна не смотрела на свекровь, но всем нутром ощущала ее присутствие. Ей казалось, что свекровь улыбается.

— Всем нам, конечно, тяжело без папы,— продолжала бормотать девчонка,— но мы с бабушкой никуда не можем уехать. А ты...

— Что я?

— Ну, делаешь себе такие отдушины... А мне, может, тоже грустно дома сидеть, и я хочу отвлечься. Каких-то два дня.

— Дура ты, дура...— слабым голосом сказала Ольга Васильевна, вытирая ладонью глаза.— Я себе в этих командировках места не нахожу, стремлюсь домой... Каждый вечер по телефону... Дни считаю, когда увижу тебя, бессовестную... А ты — отвлечься... Неблагодарный ты человечек. Уходи, видеть тебя не желаю!

Иринка выбежала.

Александра Прокофьевна произнесла в пространство:

— Пускать за город, конечно, не следует.

— Почему вы это ей не сказали? — спросила Ольга Васильевна.— Хотите быть хорошей?

Потом стирала до полночи. Иринка, чертовка, ничего своего не выстирала. Да все равно перестирывать, только грязь развезет. На другой день перед школой, уловив минуту, когда бабка отлучилась из кухни, Иринка просила прощения. Как обычно, делала это казенно-жалобной скороговоркой: «Мам, прости меня, пожалуйста, если хочешь, я не поеду», но Ольге Васильевне по-

казалось, что это важный акт смирения. Она простила, сказав, что поговорит с Дашиной матерью по телефону, после чего будет принято решение. Но главное: опять обволокла и обессилила жалость! Опять взглянула на девчонку со стороны, и сжалось сердце: сирота, все одна, одна в своей комнатке, отца нет, мать в разъездах... Как не отпустить? И — отпустила.

Старичок в черных валенках ходил по саду бесшумно, даже листьями не шуршал и все улыбался:

— Бабья лета нынче удалась...

Ольге Васильевне старичок не нравился. Она думала с беспокойством: «Боже мой, но почему же у д а л а с ь?» В том золотом дне, в глушине сада, в беспамятности старичка была тревога, она ощущала отчетливо, только не могла понять: откуда и почему? Все эти поиски были ненужной забавой. Ну вот нашел замшелого старичка, когда-то, служившего в магазине «Жак» на Петровке,— выдернул его, как туза из колоды, ну, а дальше? Тот ничего не помнил, не знал, не желал, не ведал, ибо после магазина «Жак» свалилась на него громадная жизнь, как гора камней, и все засыпало и задавило, что едва шевелилось в памяти.

— А господин Жак был знаете какой? Ого! Чуть что не по-ихому...

— А конец февраля? Вы помните?

Нет, ничего не высекалось, не вылущивалось из пещерных недр. Ведь были войны, лихолетья, далекие страны, ледяная стынь, смерти и погубления, а Городец с садиком, с тишиной возник лишь недавно, как поздняя зарница на краю жизни. И то спасибо, господи, за поздноту! Сережа вынул тетрадку с карандашом, да так ничего путного не записал. Дочка старичка, приземистая мрачноватая баба, позвала ужинать на терраску. Там же была невестка этой бабы, медсестра, и двое ее ребят, а вскоре пришел муж медсестры, стариков внук, которого звали Пантюшой, это имя хорошо запомнилось.

Пантюша был сутул, на голову ниже Сергея, черен, броваст, из провальных глазниц так и зыркали злые, колючие, как у крысака, глазенки. То ли был он пьян, то ли болен чем-то, то ли просто злоба кипела в нем и душила его, как иных душит слишком густая кровь. Сначала молчал и все рассматривал Сережины брюки, бо-

тинки, часы, свитер, потом так же внимательно изучал туфли Ольги Васильевны, ее замшевую курточку, тогда еще новую, нигде не засаленную и очень красивую. На курточку смотрел особенно долго. Ольга Васильевна даже подумала: «Неприятно смотрит». Сережа не замечал злобной внимательности Пантюши — как вообще не замечал внешности, взглядов и выражений лиц людей, его интересовали слова — и продолжал упорно добиваться у старичка каких-то подробностей насчет московской охранки. Пантюша вдруг спросил, притрагиваясь к рукаву замшевой курточки:

— И где же такие пиджаки берут?

— Это из Венгрии,— объяснила Ольга Васильевна.

— А! Не наш, значит? Ишь ты, как бархат...

— Да это замша,— сказала медсестра.— Что ж ты, не видишь?

— Я вижу. Я-то вижу.

— Ну и сиди молчи. Руками не трог. Рук не отмыл небось, а на него всякая грязь садится, на замшу. Ах ты горе! Вроде чуток загрязнил!

Она схватила платок, бросилась к рукаву замшевой курточки оттирать. Дети тоже подскочили, сгорая от желания потрогать необыкновенную курточку. Пантюша скрипел зубами. Старичок, как будто занятый беседой с Сережей и к тому же крепко недослышавший, внезапно и очень кстати вступил в разговор о курточке:

— Почему у нас нет? В Камергерском переулке, магазин братьев Шульц, «Земиш-ледер» называется... Перчатки, кофры...

Пантюша махнул на деда рукой.

Принесли картошку в чугуне. День неожиданно смерк, зажгли электричество. Сережа начал что-то записывать. Он все старался разузнать насчет пожара в Феврале семнадцатого: кто приказал, да кто тушил, да кто тогда командовал. Старичок был ничтожно мал в ту пору, пылинка в бурю, однако прошло пятьдесят три года — пылинка странным образом еще существует, еще пляшет в луче солнечного света, хотя все вокруг смыто, унесено... И Ольга Васильевна понимала, отчего с такой жадностью вслушивается Сережа в полувнятное бормотанье. Одно изумляло, и хотелось спросить: как же уцелел? Неужто никогда ничего... не тягали?

— Как не тягать Это беспременно...— говорил старичок, улыбаясь.— То на войну, то излишки... У нас,

конечно, специальность хорошая, так что нигде не пропасть... Мы начальство обшивали, всегда с куском хлеба... И даже на другой пункт затребуют, а наш начальник, товарищ Гравдин, не отдает, так что ссорились из-за нас...

И старичок подмигивал, радостный.

Пантюша, уходивший куда-то, опять возник за столом.

— Вы чего у деда пытаете?

— У вашего деда богатейшая жизнь,— сказал Сережа.— Разговариваем о жизни...

— А записываете на кой?

— Я историк, мне все это важно для истории.

— Какой еще истории?

— Истории Февраля семнадцатого года. Февральской революции и всего, что с нею связано. Это сложный, еще не полностью изученный период, и каждое новое свидетельство для нас ценно. Так что вы извините за то, что мы вам надоедаем, мы скоро уйдем.

Сережа говорил спокойно, терпеливо, но тот хотел ругаться. Стал вдруг кричать:

— Не́ хрена выпытывать! Будя! Историки, туды вас! — И тряс перед лицом Сережи узластым пальцем.— Я вам не дозволяю!

Мать и жена успокаивали Пантюшу, но как-то робко. Ольга Васильевна испугалась. Надо было уходить. Но Сережа никогда не мог уйти вовремя, ему все казалось, что надо что-то доделать: допить, доесть, дообъяснить или же доругаться. И он вдруг, побагровев шеей, надувшись, пустился с пьяным дураком объясняться, что́ есть история и зачем она нужна. Пантюша слушал усмешливо и враждебно и, возражая, тряс пальцем:

— Да мы в школе эту историю читали. Зна-аем! Чего вы мне мозги пудрите? История, история... Хватит, есть одна история, а больше не нужно.

— Послушайте, Пантелей, вы кем работаете, собственно?

Когда Сережа разговаривал с простыми людьми, в особенности когда затевал с ними спор, у него возникал почему-то неприятный высокомерный тончик, по-видимому невольно, но людей раздражало. Пантюша грубо ответил: какое, мол, дело, где работает? Может, на Богородском кладбище за трояк могилы копает. А вы, случаем, не из милиции или из ОБХСС проверщики? Все

это говорилось с угрозой и с трясением уже не пальца, а кулака перед носом Сережи. Ольга Васильевна тянула Сережу из-за стола. Но тот упорно сидел, втягивался в скандал.

— Нет, послушайте, я вас, кажется, ничем не обидел... Просто интересно — за что вы на меня взъелись?

— Да на хрена мне твоя история! Нечего выпытывать!

— История не моя, она и ваша тоже, и вашего деда. Она принадлежит всем. Вот, к примеру, село Городец очень древнее...

Медсестра шептала Ольге Васильевне, чтоб на мужа не обижались, он чумовой, у него голова слабая, и, если выпьет, обязательно начудит и к людям пристанет, за что его бьют тяжелым боем, а работает он механиком на элеваторе и вообще хороший человек. Старичок Кошельков, давнишний сотрудник московского охранного отделения, столь давнишний, что это потеряло теперь всякий запах и цвет, перегорело и выдохлось, дремал безмятежно, опустив на грудь голову в венчике младенческих белесых волос. Сережа что-то рассказывал о здешних князьях, о татарах. Ребятишки слушали. Пантюша щурил бешеный, неподкупный глаз.

— А ежели по шее? А? — Скрипел зубами.— Во будет история...

До автобусной станции идти было долго, шли впотьмах. Ольга Васильевна дрожала то ли от страха, то ли от холода. Золотой день сменился осенним ледяным вечером. Она Сережу торопила, а он еле шкандыбал, разморившись от водки, и благодушествовал, и болтал, радуясь своей удаче со старичком. Ей это казалось вздором. Кому все это нужно? Лаяли собаки, некоторые, особенно злые, выскакивали на дорогу и бежали следом, он на них замахивался, швырял камни, они свирепели пуще.

— Перестань! — просила она.

Но он как будто получал удовольствие от войны с собаками. Каждую минуту могли появиться из темных дворов какие-нибудь парни с батогами, с вилами. Ох, как она на него сердилась! Все было нелепым мальчишеством: поездка, сидение до ночи, разговоры со стариком, выжившим из ума.

— А-рр! А-рр! — дразнил он собак и хохотал, слушая лай.

«Боже мой,— думала она,— и этот человек, почти пожилой, почти кандидат, почти ученый... Нет, ничего не добьется». Эта догадка, смешанная со страхом, пронзила ее в тот вечер на черной улице, где он сражался с собаками. Их окружала уже целая свора, от здоровенных псов до визгливых малявок, которые прыгали вокруг них, как блохи. И вдруг спасение — треск мотора, и разгоняя псов и слепя фарой, подкатил сзади и остановился мотоцикл.

— Садись! История! — гаркнул Пантюша. Белый мотоциклетный шлем и белые перчатки с крагами, как у милиционера, светились в темноте.— Айда до электрички, до Вороновской, докачу! Семь километров, это мы счас!

Ольга Васильевна колебалась — все-таки чумовой, да и пьян,— но Сережа уже толкал силой в коляску, сам влез на багажник, обхватил недавнего супротивника под мышками, как лучшего друга,— мужчины, конечно, поразительны в том смысле, как легко их мирит и сплачивает хмель и как быстро они прощают друг другу оскорбительное,— свистнул по-бандитски, как не свистел много лет, и — помчались. Путешествие было недолгое, каких-нибудь четверть часа, но незабываемое. Ольга Васильевна полагала, что живыми из этой переделки не выйти. Бросало, кренило, дергало, зубы колотились, хотела крикнуть, но не могла разжать рта и набрать достаточно воздуху, и самым ужасным был страх за Сережу, который все норовил приподняться на своем багажнике и, выкидывая вверх руку, кричал громовым, парадным голосом: «Славным труженикам Городца — ура-а!» — или: «Героическим колхозникам села Барановка — ура-а!» Пантюше эти лозунги, как видно, нравились, он тоже кричал «ура», а дорога была мутна, призрачные избы летели навстречу, мелькали столбы, озаренные на миг, какие-то тени шарахались в кювет. «Одиноким прохожим — ура-а!» — орал Сережа и махал шарахающимся рукою с кепкой.

Ольге Васильевне было страшновато, но она смеялась про себя, даже плакала от смеха, а может быть, от того, что переполняло ее тогда. Она и сердилась на него, и любила его. Недолго этому крикуну, неизжитому мальчику оставалось шуметь на земле. Климук вдруг потребовал, чтоб Сережа подтвердил, что Кисловский просил у него документы для своей диссертации, а вза-

мен обещал поддержку во время защиты — так оно и было, наверно, но ведь Сережа знал об этом только от самого Климука, тот был посредником, а теперь почему-то перевернулся на сто восемьдесят градусов и плел сеть на Кисловского. Сережа не умел интриговать, его это отвращало и злило, и он от злости совершал нелепейшие поступки. Господи, если бы он тогда объединился с Климуком! Тот его так просил! Все могло бы сложиться иначе. Он бы остался жить. Он бы прекрасно жил, работал, шутил, катался бы на лыжах до глубокой старости и двигался по лестнице вверх. Но неизвестно отчего умирают люди. Неожиданно что-то иссякает, благо жизни, как говорил Толстой. Благо его жизни еще длилось, он еще тормошился, еще чего-то хотел, стремился куда-то.

Он еще мог знакомиться с новыми людьми и приобретать, как ему казалось, новых друзей. Вдруг появилась Дарья Мамедовна. Вспоминать о ней тягостно. Но и отвязаться нельзя. Эта женщина впервые и по-настоящему напугала Ольгу Васильевну, потому что вдруг отчетливо представилось, как Сережа исчезает — с ней. Он и исчез потом, и она оказалась дальней виновницей, той точкой несчастья, из которой размоталось потом все непомерное несчастье, как буран в «Капитанской дочке», разросшийся из чуть заметного облачка. Люди в долгой жизни окружают нас какими-то скоплениями, друзами: внезапно кристаллизуются и внезапно пропадают, подчиняясь неясным законам. Когда-то были друзья юности вроде Влада, студенческие компании,— сгинули без следа; потом Сущевская, художники, старики, пьянчужки, Валерка Васин с Зикой,— тоже канули в воду; потом люди из музея, те, другие, Илья Владимирович,— точно не было никогда! Потом институтские, васильковские,— теперь уж и эти провалились в тартарары... А потом Дарья Мамедовна со своими умниками...

Как только Ольга Васильевна увидела в первый раз зеленовато-смуглые щеки, белки с синевой, смоляные гладкие волосы без единого завитка, без волнистости, как облитую водой маленькую, змеиную голову, сердцем почуяла: беда! Сорок с небольшим, а фигура двадцатилетней девицы. Но не фигура тут была страшна, не смуглота, не ноги стройные, а та слава, что шла о ней и раздувалась подпевалами и дружками, шарлатанами разных мастей: о том, что будто бы умна необыкновенно. Чепу-

ха это! Выдумка! Ольга Васильевна видела ее несколько раз, в гостях, в театре, и у Лужских, и однажды даже в собственном доме, и разговаривала с нею на всякие темы, от ее излюбленной парапсихологии до современной поэзии, и поняла скоро: королева-то голышом. Все показное, нахватанное, приблизительное, но при этом, конечно, самоуверенность адская и манера выражаться твердо и категорично, как бы вынося приговор, который обжалованью не подлежит. Неприятнейшая особа. Но какие-то дураки на нее клевали.

Ну, подумаешь, кандидат наук, почти доктор,— забавно, что про нее так и говорили, вероятно, сама такую аттестацию про себя распускала: «без пяти минут доктор» — ну, философ, психолог, передрала массу книг, язык хорошо подвешен, но ведь это не все. Можно нафаршировать себя информацией, но ума не прибавится.

Было шесть лет со дня Фединой смерти, Луиза пригласила друзей — Лужских Борю и Верочку, Щупакова с его Красиной, еще кого-то из института и Генку Климука с Марой. Сережа с Климуком уже были почти врагами. Луиза из-за этого нервничала, советовалась с Ольгой Васильевной по телефону: как быть. Не позвать Климука было невозможно. Он ведь изменился как раз п о с л е Фединой смерти, а при жизни Феди вел себя сносно, и Луиза знала его как доброго малого, старого приятеля. Сережа сказал:

— Черт с ним, пусть приглашает, я его трогать не буду.

Луиза Сережу любила, и, разумеется, он был для нее самым дорогим гостем — потому что и Федя его любил,— но Климук тоже был товарищем Феди, спутником в последней поездке и, кроме того, организовал Луизе какую-то помощь от института. Устроил единовременную безвозвратную ссуду — и, как Ольга Васильевна потом узнала, сумма была не маленькая, вдвое больше, чем получила она,— и каждое лето отправлял Фединых детишек в институтский пионерлагерь. В общем, не пригласить его она не могла.

— Я знаю, его многие не любят, считают подонком, но ко мне он хорош. Не могу же я быть свиньей,— объясняла она Ольге Васильевне.— Каждый Новый год присылает открытки. И в Федин день рождения поздравляет, даже цветы привозил. А Сережа забывает...

Сережа забывал. Были случаи, забывал даже Ольгу Васильевну поздравить с днем рождения, а уж путал день — вместо четвертого июня поздравлял третьего — постоянно. Климук ничего не перепутает. Зачем-то ему было нужно быть с Луизой хорошим. Кажется, Луиза надеялась, что Климук поостережется садиться с Сережей за один стол, пить с ним водку и под каким-нибудь предлогом не явится. Но тот явился. Маре хотелось покрасоваться перед бывшими подругами, рассказать о новой квартире, голубом кафеле, обоях под дуб, о причудах спаниельчика Рэди и, конечно, о зарубежных впечатлениях — много всего накопилось, пока не виделись. А не виделись правда давно. Все как-то пожухли, потускнели. Красавица болгарка Красина, жена Щупакова, пожелтела лицом. Боря Лужский, врач-психиатр, с которым Ольга Васильевна так любила разговаривать, превратился в подсохшего пожилого человечка, к тому же в тяжелых американских очках, которые его старили. Борина жена Верочка жаловалась на печень и ничего не ела. Но заметней всех изменилась Луиза, похудела, ссутулилась, и платье на ней было такой чудовищной пошлости и дешевизны, что Ольга Васильевна ужаснулась: женщина махнула на себя рукой! Было ее очень жалко. Она, конечо, натужилась из последних сил, чтобы пригласить людей и угостить как следует, стол был богатый, но по жадным глазам детей, по тому, как они таскали потихоньку с тарелок то кусочек ветчины, то сыр, видно было, что едят такое не часто. Водки было две бутылки, раньше бы вмиг осушили и уже гоняли бы за добавкой, а теперь насилу за вечер «усидели» одну, и ту без охоты: у одного гипертония, другому ночью доклад писать, Климук и Боря Лужский за рулем. Сережа, конечно, не отказывался, но больше всех налегала Мара. Она была, кажется, единственной, кому шестилетие пошло впрок: налилась соком, раздобрела, стала плотной, холеной дамочкой, ее круглое, малиновое от водки личико сияло, выражая полное удовольствие жизнью. Ольгу Васильевну она раздражала. Не хотелось с нею разговаривать, а уж тем более слушать ее хвастовство.

Как только та заводила что-нибудь про спаниельчика Рэди, понимающего сто сорок слов, или про свои путешествия: «Представляете, ужас, идем в Ницце по бульвару...» — Ольга Васильевна нарочно громко пере-

бивала ее, прося передать блюдо, или включить телевизор, или еще что-нибудь. Конечно, это было грубо, но Ольга Васильевна не могла себя побороть: слушать самодовольную Мару было несносно. И она, и Климук как будто напрочь выкинули из головы, что Сережа долго добивался поездки во Францию, она была ему необходима, но у него почему-то не вышло, а эта трясогузка, ничтожество, нигде не работающее, уже побывала и в Ницце, и в Париже, и в Риме, черт знает где. Ну, хорошо, исхитрились, словчили, но имейте же чувство такта, не хвалитесь на всех углах, тем более при Сереже.

Сережа, впрочем, как будто не слушал всей этой заграничной брехни, думал о своем, но Ольга Васильевна на Мару злилась. Люди, которые по мере житейских успехов обрастают все более толстой кожей, были всегда неприятны, и она старалась держаться от них подальше. Раньше она относилась к Маре терпимо, даже добродушно. Та казалась жизнерадостной полудурой, далекой от фокусов и интриг, которыми занимался муж. Но вот обнаружилось: с каким аппетитом пожираются плоды этих фокусов и интриг!

— Луизочка, киска, у тебя все очень вкусно,— снисходительно одобряла она, беря из вазы фрукты.— Почему мы перестали общá? Давайте общà!

Дети с тоской смотрели на то, как сочные груши конвейером, одна за другой, исчезают в зубастом рту толстой, малиновощекой тети в голубом парике.

А Климук был мрачноват или, может быть, переполнен чувством собственной значительности: не разговаривал помногу, как обычно, не балагурил, а когда Луиза принесла гитару — знаменитую Федину, на которой тот чудесно играл,— и попросила спеть любимую Федину «Быстро, быстро донельзя», Климук сказал, что такими делами больше не забавляется, просит уж извинить, голос сел.

Слишком большой человек, чтобы петь под гитару песенки неясного содержания, как студент в электричке. Вот если бы что-нибудь вроде «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Это уж Сережа после издевался над ним, дома, вспоминая все перипетии вечера, окончившегося ссорой и руганью. Было ужасно, что не смогли сдержаться и наскандалили в такой день. И Сережа был виноват не меньше Климука. Вначале все было тихомирно, они просто не разговаривали, сидели на разных

концах стола. Их отношения еще не были смертельно враждебными, какими стали потом, но они демонстративно презирали друг друга: Сережа презирал его за карьеризм, а тот его за якобы завистливость. Он ведь считал, что Сережа не может пережить его, Климука, сказочный взлет.

Все бы кончилось благопристойно, тем более что Климуки собирались рано уйти, если бы не одна институтская дама — имя забылось,— дородная, черновато-седая, которая стала вдруг с нажимом, очень пылко восхвалять Федино бескорыстие и неумение жить.

— Таких людей сейчас просто нет! — восклицала она.— Федор Александрович был в этом смысле уникальный человек. Ведь он ничегошеньки, ни вот столечко себе не урвал.

Голос дамы дрожал от волнения, она, конечно, преувеличивала, Федя был человек хороший, но не такой уж исусик, как она изображала. Еще кто-то заговорил на эту тему, стали вспоминать Федину доброту, привычку помогать людям и заодно уж, с оттенком умиления,— его бесхозяйственность и непрактичность, чем он действительно отличался. Луиза неожиданно расплакалась и стала жаловаться на все подряд: никуда дальше Крыма не ездили, не было у него хорошего зимнего пальто, квартиры не поменял, все хотел поменять через бюро обмена, а почему не добиться на работе, как все добиваются? Теперь уж надеяться не на что.

— О себе думал в последнюю очередь, а все о других, о других,— шептала Луиза, поникнув головой, заметно поседевшей.

Никто не хотел этих слез, жалоб. Спокойствие было подорвано, заговорили разом, охваченные порывом любви к Феде, такому чистейшему, не похожему на обыкновенных людей — боже мой, непомерное преувеличение, но в тот миг казалось, что прикоснулись к самой истине! — растроганные горем этой женщины, обликом бедноватой квартирки со старыми вещами и, наверное, подогретые рассказами Мары о климуковском процветании... А как будет выглядеть ее собственная квартирка через шесть лет?

Получилось так, что, восхваляя Федю, невольно метили в Климука. Тот напружинился, тоже пел про Федю что-то хвалебное, но в голосе была трещинка. Все катилось ко взрыву. Бородатый Щупаков, Федин друг школь-

ных лет, как человек посторонний, поинтересовался наивно:

— Разве ученый секретарь имеет какие-либо особые возможности?

Вероятно, был не так уж наивен, просто первым нанес удар. Черновато-седая дама немедленно отозвалась:

— А как вы думаете?

— Я не знаю, посему интересуюсь.

— Возможности немалые. Да вот Геннадий Витальевич сидит перед вами, он подтвердит, я думаю.

Климук честно округлял глаза, мотал головой и признавался, что при всем желании не может понять, о каких возможностях речь:

— Ну, ей-богу, не могу догадаться...

— Да как же так, Геннадий Витальевич? У вас же все в руках! — искренне изумлялась дама.

— Что у меня особенное в руках? — Климук смеялся. — Вот уж не знал!

— Да все, все! Абсолютно все!

Дама тоже смеялась несколько льстиво. Климук пожимал плечами. Все могло уйти в шутку, в болтовню, но Сережа вдруг совсем иным тоном — твердым и хамоватым — сказал, что Федина талантливая диссертация нигде не напечатана, а твоя, мол, крайне посредственная, вышла уже двумя изданиями — в сборнике и отдельной книгой.

Климук сделал вид, что не слышал. Даже не посмотрел в Сережину сторону. Последовали чьи-то реплики, не относившиеся к делу, после чего Климук произнес со вздохом:

— Жаль мне тебя, Сергей... Как трудно, должно быть: все время следить за чужими успехами!

Было сказано беззлобно, как бы с сочувствием. Сережа взорвался: какие успехи, черт побрал? Да плевать хотел! Не успехи, а дерьмо! И еще что-то яростное, комом, криком. У Луизы побелело лицо. Ольга Васильевна махала руками Сереже, чтоб замолчал. Она испугалась за него. Мара ринулась защищать мужа и верещала, как на кухне. Кто-то из институтских — и дородная дама с пылкостью — ополчились на Сережу. Климук улыбался мстительно. Дородная дама восклицала:

— Непарламентские выражения! Вы допустили непарламентские выражения!

Климук и Мара ушли. Вскоре ушли и другие инсти-

тутские. На их лицах, когда прощались с Сережей, было напечатано осуждение. А дородная дама,— которая, как выяснилось, была важной функционеркой, членом какой-то комиссии,— шептала озабоченно:

— Сергей Афанасьевич, должна вас огорчить: это называется casus belli!

Сережа усмехался беспечно:

— А, черт... Пускай!

У него сделалось веселое настроение.

Он стал разговорчив, шумлив, рассказывал, изображая забавно — как он умел,— про поездку в Городец и встречу со стариком Кошельковым. Луиза успокоилась, все подобрели, Щупаков с Красиной были, конечно, на Сережиной стороне. И неприятное, с криком, как-то сгладилось и заслонилось иным — забыть нельзя, но старались забыть,— и вот тут-то впервые возникло имя Дарьи Мамедовны. Сережа говорил, что в списке секретных сотрудников охранного отделения были три нераскрытых крупных фигуры, обозначенных кличками. Вероятно, с ними или с кем-то из них связаны аресты в 1916 году. Эти темы занимали его постоянно. Ольга Васильевна даже подшучивала над ним:

— Ты кто, историк или частный детектив?

И так как перед этим Красина, милая и добрая женщина, но не слишком далекая, рассказала об одной крестьянке из горного села на юге Болгарии, которая обладает даром провидения и какими-то другими парапсихологическими талантами — настолько удивительными, что к ней приезжают из-за границы, и знакомая Красины получила от нее точный ответ по поводу своего погибшего таинственным образом друга,— кто-то шутя сказал: а вот обратиться к такой пророчице и спросить бы по поводу секретных сотрудников! Вдруг откроет секрет? И совсем уж смехом кто-то предложил: а если спиритическим сеансом вызвать дух полковника Мартынова и все у него вызнать? Тут Боря Лужский и рассказал про Дарью Мамедовну. Это уж без шуток, она занимается парапсихологией всерьез, а заодно интересуется всякого рода оккультизмом, восточными магами, медиумизмом и прочими темными делами. При этом в высшей степени образованна, знает четыре языка, выступает с лекциями. Отец ее кавказский человек, оттого она Мамедовна, он был врач-гомеопат, очень богатый, умер во время войны, а мать из дворян.

Так заинтриговал, что все стали требовать, чтобы с нею познакомил, привел к кому-нибудь из общих знакомых в гости. Особенно горячился Сережа. Еще бы, экзотическая личность: она и дворянка, и восточная женщина, и медиум, и профессор! Боря обещал непременно это сделать. Его жена Верочка охладила общий энтузиазм, сказав, что Боря сам знает Дарью Мамедовну едва-едва, познакомился у Костиных, это молодые физики, очень талантливые, и вряд ли мимолетное знакомство позволит пригласить эту женщину в дом.

То, что Верочка назвала Дарью Мамедовну холодновато э т о й ж е н щ и н о й, еще более насторожило Ольгу Васильевну. Значит, и Верочка чует тут опасность. А Верочка не станет неспроста опасаться, она рассудительная, умная. Ольга Васильевна спросила:

— Вера, а ты знакома с Дарьей Мамедовной?

— Видела один раз. Вот тогда, у Костиных.

— Ну и что? Восточная красотка?

— Да нет, пожалуй...— с запинкой ответила Верочка.— То, что называется на любителя. Но наш Боря как раз любитель. По-моему, она его сразила наповал.

— Боря, немедленно знакомь! — дурачился Сережа.— Какой же ты товарищ? Как тебе не совестно?

— Не суетись, ты там не проходишь.

— Я не прохожу? А кто же — ты проходишь?

— Я под вопросом. Но все-таки есть шанс. Потому что я занимаюсь психиатрией, это ей близко. А ты, мой милый, со своей историей Февральской революции там даром не нужен...

Так они юродствовали и болтали, а у Ольги Васильевны сердце замирало от недоброго предчувствия. Выяснились подробности: ей сорок с чем-то, но прекрасно выглядит, очень спортивная, плавает в бассейне. Была замужем, муж погиб. В прошлом году появилась в «Науке и жизни» ее статья о парапсихологии, что-то вроде «Таинственное вокруг нас», журнал нельзя было достать, в библиотеках записывались в очередь. Боря грозил Ольге Васильевне пальцем:

— Оленька, этот тип нацелился всерьез. Ты за ним приглядывай...

Все хохотали. Ольга Васильевна изо всех сил стремилась улыбаться и отвечать в таком же игривом тоне. Прошло месяца три. Ничего о Дарье Мамедовне не было слыхать. Потом Ольга Васильевна узнала, что Се-

режа с нею познакомился, он сказал об этом мимоходом, небрежно, как о факте совершенно незначительном. Может быть, так и считал сам, а может, притворялся. Рассказывая о выставке художника Преснина, анималиста, обмолвился:

— Кстати, познакомился там с этой Нигматовой.

— С какой Нигматовой?

— Да с этой, с Дарьей Мамедовной, о которой — помнишь? — Боря рассказывал у Луизы...

Еще бы не помнить! Она обомлела. Женя Преснин, оказывается, знал ее мужа, художника. Это что же, было заранее договорено? Ничего подобного, случайное знакомство. На роковую женщину не похожа. Какая-то сухонькая, поджарая, на цыганку смахивает. Говорила, что сейчас ее повсюду ругают, громят. После вернисажа Женя устроил аляфуршетик для своих, там были знакомые из дома на Сущевской. Кто-то сказал, что Георгий Максимович болеет...

Слова про отчима Ольга Васильевна расценила как дымовую завесу и вовсе на них не отозвалась. Она знала от матери — разговаривала чуть ли не каждый день по телефону,— что у Георгия Максимовича нехорошие анализы, он слабел, жаловался на боли и, вероятно, его положат в больницу. Все это было известно, и Ольга Васильевна очень жалела Георгия Максимовича и волновалась за мать. Но сейчас поразило другое: какой-то аляфуршетик, где Сережа познакомился и разговаривал с этой особой. Ольга Васильевна еще не знала ее, ни разу не видела, но при упоминании имени испытывала какое-то странное астматическое раздражение, вроде легкой одышки. В чем тут было дело? И вот в таком состоянии раздражения, слегка задыхаясь, она стала упрекать его за то, что, пользуясь вольным режимом дня и тем, что она занята на работе от звонка до звонка, он шатается один — к друзьям, на выставки, заводит знакомства. Точно холостой...

Пошлые слова, пошлые мысли... То, что она говорила, было постыдно... Но ведь это была болезнь, это была аллергия, несовместимость. Она задыхалась и не могла себя победить.

Зимою приехала тетя Паша из Василькова со слезами: Николай под арестом, будет суд, парню грозит большой срок. Семковские с васильковскими разодрались в клубе, а Колька как бригадмил хотел разнять и одного

семковского срубил. Тот сдва не помер, сейчас в больнице. Отходили, спасибо врачам. Он этого семковского сроду не знал, слыхом не слыхивал, и вот на ж тебе — несчастный случай. Чем срубил-то? Да топором. Хотел, конечно, разнять как бригадмил, а они, козлы пьяные, на него кинулись, он и маханул. Александра Прокофьевна заметила, что топор — странное оружие для бригадмила.

— А забыли? — сказал Сережа.— Дом-то с топориком, помните?

Тетя Паша плакала, просила помочь. Адвоката нанять, пускай хоть сколько возьмет, она денег достанет, корову продаст, мотоцикл продаст. Александра Прокофьевна стала суетиться. Хотя дело казалось ей безнадежным. Ездила в Васильково и в райцентр Рябцево, где он сидел под арестом, разговаривала со следователем, с начальником милиции. И после первой же поездки (было глубокой осенью, в конце ноября, погода стояла отвратительная, внезапный холод и мокрый снег, все уговаривала ее не ехать, Сережа кричал на нее: «Я тебе запрещаю! Думать не смей! Ты старуха и должна вести себя как старуха!» — такие грубости позволял себе не часто, это уж с перепугу, она отвечала: «Никогда не буду вести себя как старуха, и если обещала человеку, женщина меня ждет, значит, я должна ехать», он еще покричал, погрозил и поехал в институт, уверенный, что мать не совсем уж свихнулась и останется дома, Ольга Васильевна ушла на работу, Иринка — в школу, а старуха взяла зонт, надела свой туристический наряд времен наркома Крыленко, резиновые сапоги и отправилась на вокзал),— и вот, вернувшись, вечером, измученная и продрогшая, похожая на жалкое, страховидное чучело, она рассказала, что дело обстоит совсем не так, как изобразила тетя Паша. И хуже, и лучше. Сережа был рассержен на мать, не захотел слушать и нарочно вышел из-за стола, а Ольга Васильевна всегда была для старухи не лучшей собеседницей, поэтому свекровь стала все рассказывать Иринке. Голос ее звучал, как ни странно, бодро.

Она узнала вот что. Колька был, конечно, так же пьян, как остальные, но драка затеялась не на пустом месте. Замешана некая Раиса. Семковские приставали к ней, хотели мстить за то, что бросила одного семковского ради Кольки. Этот тихоня Колька, болезненный и

невзрачный, хороводился со многими девками и считался почему-то завиднейшим женихом. Раиса от него как будто уже и ребенка ждала, но тетя Паша полагала, что врет, и Колька на ней жениться не собирался.

— Я ее убедила, что нужно стоять как раз на противоположной позиции, ты понимаешь? — объясняла Александра Прокофьевна Иринке.— Только тут наша надежда. В припадке ревности и защищая честь матери своего будущего ребенка...

Она говорила с Иринкой как со взрослой. А девчонке было тогда четырнадцать лет. Ольге Васильевне это не нравилось, но ведь сделать замечание невозможно, тут же обиды, резкости. Она терпела эту нудню с Колькой, разговоры свекрови, ее сестру, ее суету, звонки, телеграммы — та влезла в дело всерьез и действительно нашла адвоката, бойкого старичка по фамилии Луповзоров,— и постепенно все более удивлялась: откуда такое рвение, такой пыл в защите чужих людей? Кто такие для нее, да и для всех тетя Паша и Колька? Случайные домовладельцы, хозяева дачки, дравшие за лето вполне безбожно. Говорить с ними было не о чем. И Александра Прокофьевна редко с ними разговаривала, лишь иногда их поучала. Конечно, Кольку было жаль...

События эти совпали с тяжкой болезнью Георгия Максимовича, маетой матери. И с нависавшею тенью Дарьи Мамедовны. Ольга Васильевна нервничала из-за всего. Ее раздражали беспомощность матери, эгоизм дочки, невнятная жизнь мужа — что он делает днями, когда она на работе? — и теперь еще хлопоты по чужим делам вздорной свекрови. Вместо того чтобы как-то помогать по хозяйству, содержать дом в чистоте... Пойти на родительское собрание в школу, как делают все бабушки и дедушки, когда родители заняты... От Сережи не дождешься, а Ольга Васильевна валилась с ног... Оплатить хотя бы жировки в приходной кассе днем, когда мало людей,— разве трудно? Все трудно. Намного трудней, чем ехать в дурную погоду за город на электричке, месить грязь на проселочных дорогах, высиживать в судах ради малознакомых и, в общем-то, далеких людей. Тут было много показного. Как всегда в этой женщине.

И как-то в крайнем раздражении от всего этого,— не в раздражении, а в приступе усталости, такой тотальной, когда голова перестает соображать и ты поддаешь-

ся всем подкорковым раздражителям сразу,— она сказала ему, что судьба Кольки интересует ее гораздо меньше, чем болезнь Георгия Максимовича. И пусть уж Александра Прокофьевна со своим показным человеколюбием оставит ее в покое. Это было несправедливо. Александра Прокофьевна меньше всего надоедала ей, но Ольга Васильевна слышала постоянные консультации по телефону, подробнейшую информацию за ужином, и еще Сережа пересказывал то, что слышал от матери. А кроме того, она только что пришла с Сущевской, где мать бесцельно металась и мучилась в горе, видя, как гибнет родной человек. Георгий Максимович был уже полмесяца в больнице. Ему становилось все хуже. Операцию сделали три дня назад, делал профессор Родин, известный специалист, и больница была хорошая, устроили туда с трудом, через Влада, было сделано, что в человеческих силах, и все же мать себя терзала: ей казалось, что надо было дать профессору Родину двести рублей перед операцией. Кто-то сказал такую глупость. Она не дала ничего. Потому что сказали поздно. И теперь ее грызла мысль, что из-за этого, может быть, операция не принесет избавления. Профессор Родин был с нею как-то сух, жестковат и сказал: «К сожалению, не могу вас обнадежить, хотя и не могу сказать, что конец».

Мать была убита этой фразой.

— По-моему, издевательство так говорить с родственниками! — возмущалась она сквозь слезы.— Кто дал ему право?.. Он говорил со мной как чиновник...

И тут же винила себя и ругала за слабодушие, за то, что язык не повернулся предложить профессору Родину деньги. Потому что, хотя ей сказали поздно, она и сама раньше об этом думала, но не могла решиться. Теперь, после операции, нужно было достать редкое швейцарское лекарство эритрин. Надо было обзванивать людей. Мать обессилела, лежала с тахикардией, и Ольга Васильевна провела два часа у телефона. Некоторые обещали узнать, поспрошать, но большинство говорили, что сами ищут редкие лекарства и не могут достать. Ольга Васильевна вернулась с Сущевской часов в девять вечера, выпила чаю и собралась позвонить матери, потому что ушла от нее с тяжелым сердцем. Просто узнать, как самочувствие, утихла ли тахикардия. Но пробиться к телефону было невозможно.

Александра Прокофьевна разговаривала с адвокатом Луповзоровым. Это продолжалось ровно сорок минут. Наконец Ольга Васильевна подошла к старухе вплотную и шепотом сказала, что ей нужно срочно звонить. Свекровь недовольно кивнула и, поговорив еще с минуту, повесила трубку.

— Александр Иванович рассказывал о суде. Для меня это очень важно! — сказала она строго.

Ольга Васильевна ответила тоже строго:

— А мне — позвонить маме. Она плохо себя чувствует.

Нет, свекровь не спросила: что с Галиной Евгеньевной? Не нужна ли помощь? Какое-нибудь лекарство? Кое-что она могла доставать в одной поликлинике на Кировской. Эритрин вряд ли. Но ведь можно спросить. Она не относилась к матери враждебно, никогда с нею не ссорилась, если и бывали сдержанные споры, то в давние времена, когда мать занималась Иринкой и Александра Прокофьевна поучала ее. В те дни на почве обоюдной экзальтации и любви к младенцу закипали иной раз крохотные смерчики. Все давно забылось. Теперь наступили времена покойного равнодушия. Любой посторонний, нуждавшийся в товарищеской помощи, был для нее ближе, чем мать невестки.

Вот после той секундной стычки у телефона, ничем не кончившейся, Ольга Васильевна, придя из коридора в комнату, и сказала про «показное человеколюбие». Сережа тут же вскинулся, как зоркий постовой с ружьем:

— Парень получил вместо семи лет три! Это что? Показное? Нет, моя милая, это истинное... тебе недоступное...

Она что-то ответила. Потому что уж очень он вскинулся. Очень уж встал на защиту матери. Ну, может, она была неправа, даже наверняка неправа, свекровь помогала людям порою от чистого сердца — не могла иначе, это привычка, воспитание, а вовсе не заслуга,— но ведь нужно было понять, в каком состоянии Ольга Васильевна вернулась с Сущевской. А он решил обидеться. Вдруг увидела, что он входит в комнату в пальто, в шапке, с тем выражением угрюмой окаменелости и стиснутых челюстей, какое появлялось у него в минуты крайней обиды, и кружит по комнате, ища чего-то.

— Ты куда?

— К Федорову.

Нашел, что искал,— портфель,— и бросил туда какие-то бумаги.

Федоров был его приятель по музею, пустой малый. Из тех болтунов, к кому он странным образом лепился и которые его самого тянули вниз. Слава богу, встречаться стали реже, потому что Федоров переехал куда-то в страшную даль, за Кузьминки. Она спросила: что за срочность? Никакой срочности, просто обещал приехать. Помолчав, добавил: там будет Дарья Мамедовна. Оказывается, Федоров ее прекрасно знает. Она приедет поздно, после лекции. Это известие произвело на Ольгу Васильевну такое впечатление, будто в соседнюю комнату влетела шаровая молния и стало видно, как комната озаряется светом, и слышно потрескиванье.

Ослабшим голосом — ей показалось, что все кончено, он уходит навсегда — она спросила, как он думает возвращаться. Был одиннадцатый час. Он сказал, что останется там ночевать. Он говорил спокойно, даже несколько ворчливо, как будто она приставала с пустяками, и у нее сил не было возмутиться и закричать: да что это, черт возьми, за бардак? Почему ты уходишь из дома ночевать черт знает куда?

Он держался как человек, делающий нечто совершенно естественное: разумеется, ехать в половине одиннадцатого куда-то за Кузьминки — это значило остаться там спать. Что странного в том, чтобы переночевать иной раз у приятеля? Да ничего странного, боже мой! Но в их жизни такого заведения не было. Никогда еще не было. И вот он, воспользовавшись обидой, как-то спокойно и нагло вводил это новшество. Она молчала, ибо все это ошеломило ее, в особенности Дарья Мамедовна.

Он сказал: «До свиданья!» — и вышел.

Раньше, бывало, ругались, ссорились из-за чего-то отчаянно, он уходил, уносился или она уносилась к матери, но такого — чтоб тихо, без шума, взял портфельчик, сказал «до свиданья»... Как разлука чужих людей: на часок или на всю жизнь, это безразлично.

На похоронах Георгия Максимовича она рыдала неудержимо, почти в беспамятстве — холодная весна, орали галки над крематорием,— ее держали, чтоб не упала, упасть хотелось, продолжение жизни не имело смысла, накануне он сказал «может быть» и опять ушел до ночи. Он требовал, чтобы она прекратила его мучить. Нельзя было сказать простой фразы, сделать ничтожное

замечание: тут же схватывался и уходил. Она спросила всего лишь:

— Может, у тебя роман с этой Дарьей?

То уходил к Федорову, то еще куда-то. Говорил, что парапсихология интересует его всерьез, и верно, читал старые книги, какую-то чепуху вроде «Голоса безмолвия» Блаватской, журналов «Ребус» и «Вестник загробной жизни»— кто ему давал? — и новые американские, английские журналы, сидел со словарем, делал выписки и сам шутил над собой, но ей было не до шуток. Она, как биолог, прекрасно знала цену всем этим бредням. А его запутывала женщина. Она хотела получить над ним власть.

— Зачем тебе это нужно?

— Ни за чем. Я хочу понять, чем люди занимались в течение тысячелетий. Кроме того, мой полковник Мартынов был спиритом и состоял членом тайного кружка. В связи с этим имел даже неприятности в шестнадцатом году...

Когда он как бы шутя рассказал, что был у Федорова на спиритическом сеансе и они вызвали дух Победоносцева, который сказал темную фразу: «Не сим победиши» — и они спорили два часа люто о том, что бы это могло значить, его мать наконец не выдержала и устроила скандал. Кричала, что отец умер бы от стыда, если бы такое началось при его жизни. Сын Афанасия Троицкого — спирит! Сын участника революции, соратника Луначарского! Если бы отец встал из гроба... Он заметил ядовито:

— Ага, ты допускаешь такую возможность?

Разумеется, тут была во многом игра, шутовство — он пока еще не превратился в полного кретина,— и тут были неудачи, угнетавшие его постоянно, и тут было то самое ужасное, о чем Александра Прокофьевна не догадывалась: Дарья Мамедовна. Сначала он ездил к Федорову к черту на кулички, звал с собой Ольгу Васильевну, но не было никакого желания ехать в такую даль слушать глупости, и она отказывалась, высмеивала его, издевалась над ним. Все впустую. Как-то потратила целый вечер на чтение журнала «Спиритуалист» за 1906 год, оборванные брошюрки в бумажных обложках валялись у него на столе: что-то потрясающее по жалкости и провинциализму! Иногда она смеялась, иногда злилась, но более всего изумлялась тому, что чепуха на

постном масле — все эти медиумы, планшетки, низшие духи, высшие духи, загробные голоса — дотащилась до наших дней. Начитавшись журнальчика, она пришла к двум выводам, сильно ее испугавшим. Первый — ярыми энтузиастами во всей этой музыке были женщины. Тут крылась какая-то приманка для них. Знаменитая Блаватская, авторы «Спиритуалиста» Быкова, Сперанская, Щеколькова, какая-то очень активная Капканщикова. «С жиру бесились, что ли? Им бы помотаться по магазинам, по ателье, постоять бы в ГУМе в очереди за сапогами...» И второй вывод, страшноватый: пустота всего, что касалось вызова духов и якшанья с загробным миром, была столь очевидна, что, если он продолжал отдавать этой дребедени время, это значило — тут были другие причины. Вот почему, когда он сказал «может быть» и ушел, сердце ее упало оттого, что было готово упасть: она ждала такого ответа. И никто так не рыдал над гробом Георгия Максимовича у Донского монастыря, как Ольга Васильевна.

Сережа держал ее с одной стороны, Влад с другой. Она ощущала гранитное Сережино спокойствие. Однажды он прошептал холодно:

— Надо взять себя в руки!

Потом Влад повел ее осторожно в сторону — это было в тот момент, когда заиграла музыка,— и, отведя к стене, достал из кармана пузырек с лекарством, стаканчик и дал ей выпить. Она сказала, глядя в его старое рябое лицо:

— Георгий Максимович тебя любил, Владик...

Влад кивал скорбно, но с оттенком какой-то тайной начальственности. Черный казенный автомобиль ждал его на площадке перед входом в крематорий. Ольга Васильевна подумала: все могло быть иначе, если бы Влад не привел тогда Сережу, она бы не мучилась. Прошла очень быстро жизнь. Сережа стоял не оглядываясь, теперь он держал под руку мать Ольги Васильевны. Музыка убивала все. Потом поехали на Сущевскую, там хлопотали соседки, добрые женщины, распоряжалась незнакомая дама по имени Генриетта Осиповна, из московской организации, энергичная и деловая, как раз такая, как нужно,— она называла мать «моя дорогая»,— художники быстро перепились, криком о чем-то спорили, про Георгия Максимовича говорили с невозможными преувеличениями, и поэтому казалось, что лицемерят, и

все вещи в мастерской — картины, багеты, гипсовые модели, банки, кисти — выглядели осиротевшими, никому не нужными и чужими. Дядя Петя, превратившийся в белого тощего старичка, весь вечер кашлял трубно и кричал на кого-то: «Да бросьте вы!»

Мать в этой суматохе и тесноте потерялась, вид у нее был такой, будто она тут случайно. Ольга Васильевна думала о матери со страхом: как она будет жить? Осталась ночевать с матерью, а Сережа с Иринкой и Александрой Прокофьевной ушли домой.

Первая жена Георгия Максимовича была в крематории и приехала после на Сущевскую, но не пришла в мастерскую, хотя приглашали, а устроила, комедиантка несчастная, свои поминки — на том же этаже, в комнате одной художницы. Некоторые гости ходили от одних блинов к другим. Дядя Петя иногда распахивал дверь и кричал в пустой коридор грозно:

— А вот пойти сейчас — и всю посуду в черепки! Поминальщики нашлись!

Из комнаты художницы что-то отвечали, но не было слышно. А Ольга Васильевна сидела на кушетке рядом с бородатым старепьким Лихневичем, который все не уходил, подливал то чаю, то наливки и рассказывал, плача, о житье на Муфтарке сто лет назад, когда они с Георгием Максимовичем, молодые нахалы, задумали покорить Париж, и еще Марк Шагал был с ними, и что из этого вышло — поминальные блины на Сущевской,— и советовал два рисунка сангиной, церковь на Монмартре и автопортрет с кривым лицом продать, а все остальное подарить кому угодно, кто возьмет, потому что лучшее Георгий Максимович сжег собственными руками в тридцатых годах, такая дурость, минута слабости, и жизнь раскололась, как этот гипс, ни собрать, ни склеить, пошла какая-то труха, заседания, комиссии, заказы («Не подумай, Оля, что я завидовал, я его жалел, бедного Жоржа»), но Ольга Васильевна, уже оплакав отчима и разорвав сердце сочувствием к матери, оглушенной и не понимавшей будущего, думала о том, почему Сережа не остался с нею, Иринка уехала бы со свекровью. Так должно было быть. Но он не захотел. «Ну, мы пошли,— сказал он.— Отвезу Иринку. Ей пора спать».

Он жил отдельной жизнью. Работа перестала интересовать его, диссертация не двигалась. Зато рассказывал

о забавных ответах и удивительных пророчествах, которые получались на «вечерах со стаканчиком». Она продолжала во весь этот вздор не верить,— ну можно ли поверить в серьезность рассказа о том, что удалось наладить связь с некиим братом Арнульфом, монахом-францисканцем, жившим в шестнадцатом веке в Швейцарии, и теперь он ведет с этим Арнульфом регулярные беседы? — и все сильнее крепло убеждение в том, что Дарья околдовала его.

Первый раз увидела ее случайно в театре. Были в «Современнике» на премьере. Гуляли в антракте в фойе на втором этаже, и вдруг он стиснул очень больно ее руку — было потом неопровержимой уликой, уж очень больно, как тисками, чисто рефлекторный жест — и шепнул:

— Там в углу Дарья Мамедовна!

Прежде чем посмотреть в угол, она посмотрела на него. Он залился краской. Дарья Мамедовна была смугла, худощава, с серебром в черных волосах. Она смотрела на Сережу, когда он подходил, без улыбки и даже, пожалуй, неприветливо. Рядом с нею сидел молодой человек, плохо выбритый, в белой грязноватой водолазке. Сережа поздоровался и познакомил Ольгу Васильевну. Молодой человек был моложе Дарьи лет на двадцать. Она его не представила. Никакого разговора не произошло, хотя Сережа потоптался два-три лишних, неловких мгновенья — в ту секунду Ольга Васильевна испытала мучительный стыд,— и они отошли.

— Мне тебя очень жаль,— сказала Ольга Васильевна.

— Почему жаль? Что за ерунда! Не понимаю, что ты плетешь! — хорохорился он и, обидевшись, не разговаривал с нею до конца антракта.

Спектакль был веселый. Они не смеялись. Тогда обдало, внезапно — как холодом,— предвестьем беды.

Второй раз — на набережной, в доме с кариатидами, с комнатушками, напоминавшими давнишнюю комнату-обрубок на Шаболовке. Там жил какой-то федоровский приятель, инженер-автодорожник, спирит и собиратель книг по магии и оккультизму. Показывал старинную книгу под названием «Чаромутие». Сережа звал несколько раз посмотреть, как все это происходит, но ей не хотелось, ужасно не хотелось: она чувствовала, что он приглашает неискренне. Он лгал, приглашая:

— Пойдем, сходим... Посмеемся.

А на самом деле не желал, чтобы она там появлялась. Поэтому надо было себя пересилить. Их жизнь распадалась, превращалась в осколки, в мозаику, и это было похоже на сон, всегда отрывочный, мозаичный, в то время как явь — это цельность, слитность. Она пришла с головной болью. В коридорчике висел плакат: «Тишина — ты лучшее из всего, что слышал». Стоял сладковатый, как в церкви, запах свечного дымка и горячего воска. Все разговаривали едва слышно, бросали как попало пальто и шубы в коридоре на сундуки.

Она заметила: давно не тертый, серый от грязи паркет.

Ее полнила тупая решимость, какая бывает только во сне: поговорить с этой женщиной. Но той не было. Она пришла часа через два, когда все кончилось. У людей, которые усаживались вокруг стола, был напряженный и скрытно сконфуженный вид. Никто не шутил, не улыбался, но старались не смотреть друг на друга, а смотрели на середину стола, где на листе бумаги с нарисованными по кругу буквами алфавита стоял небольшой стаканчик. Было пять женщин и четверо мужчин. Сережа сказал, что они из технического мира, а одна женщина, как выяснилось потом, была театральной кассиршей. Тут же был Федоров, неестественно молчаливый и сумрачный. Руководил действиями инженер-автодорожник, бледный человек с русой шкиперской бородкой, говоривший отрывисто и быстро. Каждая его фраза имела оттенок команды, это было неприятно. И сам этот человек, манерно одетый, в красном, толстой вязки шерстяном жилете, со шнурком вместо галстука, показался Ольге Васильевне неприятным. У него были длинные пальцы с беловатым налетом вокруг ногтей. За вечер он ни разу не посмотрел на Ольгу Васильевну, хотя, она ощущала, он всеми органами чувств как бы следил за ней. Кто-то сказал, что необходимо открыть окно, другие возражали, из-за этого возник спор. Две женщины, требовавшие открыть окно, спорили необыкновенно горячо и яро и даже угрожали, если не будет по-ихнему, покинуть собрание, которое потеряет будто бы всякий смысл. Было ясно, что тут вопрос не о свежем воздухе, но о чем-то высшем, глобальном. Хозяин, на короткое время заколебавшийся, затем решительно нашел выход:

открыл дверь в соседнюю комнату, а в той комнате растворил окно.

Сережа сидел напротив. Выражение лица его было непроницаемо. О чем он думал? У нее сжималось сердце от тревоги и от жалости к нему: ведь ему было худо, как и ей. Дома ждали дела, уборка, магазин, отнести белье — до девяти вечера, но каждый день что-то мешало, то усталость, то другие заботы,— и надо писать отчет, а его ждали выписки в толстых тетрадях, книги, папки, все то, что застыло на полпути и не двигалось, а вместо этого... Человек в красном жилете командовал:

— Левую руку на правую руку соседа... Ступней на ступню... Образовать цепь...

Стаканчик действительно как бы оживал под руками, сначала неуверенно дергался, затем шаркал по бумаге конвульсивно и резко от буквы к букве, и из невнятицы, сумбура возникали фразы. Отец Паисий сказал: «Не скупись творить добро, отплатится тебе, дураку, сторицей». Недоумение вызвало слово «дураку». Почему же презрительно сказано о делающем добро? Одна дама объяснила: дух отца Паисия, по-видимому, иронизирует над земной моралью, где творящие добро считаются по нашей циничной житейской логике дураками. Дух Торквемады разговаривал долго и путано, но фразы были почему-то газетного типа, что вызвало разочарование.

Потом был сделан опыт психографии: одна из женщин села с карандашом к листу бумаги, остальные сидели как прежде, вокруг стола, пытались вызвать дух Герцена, тот упорствовал, не являлся, капризничал,— кто-то предлагал оставить его в покое, не соглашались, хозяин дома злым шепотом потребовал, чтоб прекратили спор и продолжали дело,— свет был погашен, напряжение росло, и наконец все услышали в полной тишине скрип карандаша. Женщина, сидевшая за отдельным столом, писала! Никто не сомневался в том, что ее карандашом водила рука Герцена. Когда зажгли свет, бросились к бумаге — женщина сидела, откинувшись на спинку стула в изнеможении, и лицо в поту, страшно бледно, ей тут же налили валерьянки,— увидели громадные, во весь лист, каракули.

Хозяин дома, схватив бумагу, прочитал сдавленным от волненья голосом:

— «Мое... пребежище... река...»

Ольга Васильевна услышала, как Сережа хмыкнул.

Прекрасно знала это его ехидное хмыканье, не могла ошибиться, но когда взглянула на него, увидела все ту же непроницаемость. Раздались голоса:

— А что дальше? Больше ничего?

— Больше ничего, только эти три слова,— ответил хозяин дома быстро, все еще во власти волнения.

Рассматривали бумагу, изучали каракули и опять спорили. Что значит «река»? И почему «пребежище»? Согласились на том, что «река» — это, вероятно, символ времени, река времен, и дух Герцена, стало быть, уповает на время. Это сообщение показалось значительным и глубоким. Что же касается «пребежища», то тут стали в тупик. Мог ли дух Герцена совершить столь грубую орфографическую ошибку? С пристрастием допрашивали женщину: твердо ли знает она, как пишется слово «прибежище»? Женщина — это и была театральная кассирша, отличавшаяся особой сенситивностью, то есть чувствительностью, что определяло ее медиумические способности,— нервно и возмущенно отвергала предположенье о том, что могла совершить ошибку.

— Неужели вы думаете, я такая неграмотная? — говорила она, едва не плача.

Сережа заметил, что в таком случае неграмотным следует признать Александра Ивановича. Это вызвало новый спор, все говорили разом, но хозяин внес ясность: орфографические ошибки не имеют значения, важна суть сообщения, а не форма. Когда на пиру Балтазара, сказал он, появились мистические письмена «мене, текел, фарес», никому не пришло в голову рассуждать, правильна ли орфография. Всех охватил ужас. Кстати, в книге пророка Даниила сказано, что письмена были «мене, мене, текел, упарсин» — обычная при психографии тавтология и перестановка букв... Ольга Васильевна почувствовала, что головная боль усилилась, не могла больше сидеть и встала. В соседней комнате легла на диван. Было темно и холодно. Кто-то прошел вслед за ней и закрыл окно.

Был приступ, как в худшие времена, до тошноты. Сережа принес стакан горячего чая и лекарство. Накрыл ее чем-то. Ей хотелось, чтоб он посидел рядом,— чтобы побыть одним, в темноте,— и она взяла его за руку и спросила:

— Ты понимаешь, что все это чушь?

Он сказал, что понимает. Сквозь страшную боль, стиснувшую виски, иглою просунулась другая боль: за-

чем же приходит, если понимает? Но не спросила об этом. Чувствовала себя слишком слабой.

— Все это идеомоторика... На пятом курсе на занятиях по психологии...— шептала она.

Спустя минут двадцать или полчаса вошла женщина, зажгла настольную лампу.

— Как себя чувствуете? — спросила женщина, и Ольга Васильевна увидела Дарью Мамедовну.

Через силу заставила себя подняться и сесть. Сережи в комнате не было. Голову ломило, как прежде.

— Лучше,— сказала она.

На женщину со смуглым остроконечным лицом смотрела с изумлением. Зачем пришла? Не раз думала об этом: поговорить с нею наедине, слова подбирались язвящие, ненавистливые, но теперь слова вдруг пропали, злобу как выдуло сквозняком, и единственное, что испытывала Ольга Васильевна, была слабая астматическая одышка.

— Я не хочу, чтоб Сережа занимался этой чушью,— сказала она, слегка задыхаясь.

Та протянула стакан:

— Выпейте.

Ольга Васильевна послушно выпила.

Дарья Мамедовна села рядом на диван и произнесла спокойно: она тоже против того, чтобы он занимался чушью. Собственно, это не чушь, а забава, игра. Субботнее развлечение замороченных и усталых людей. Одни режутся в покер, другие — в ма-джонг, третьи играют до одурения в шахматы, четвертые... И еще какие-то банальности... Все-таки наглость: она т о ж е п р о т и в! Никто в мире, кроме Ольги Васильевны, не имел права быть против чего-либо в Сережиной жизни. «Какая глупая! — думала Ольга Васильевна.— А говорят, будто бы умна». И эта догадка очень успокоила, даже голове стало легче.

Дарья Мамедовна сказала:

— Я рада, что мы познакомились. Мне давно нужно было с вами поговорить...

«Это еще зачем?» — подумала Ольга Васильевна безо всякого страха. Вслух сказала:

— Во-первых, мы были знакомы. В театре, помните?

— Правда? Я забыла.

— Хотите сейчас разговаривать?

— Если вы не очень худо себя чувствуете. Ведь когда еще увидимся? — Дарья Мамедовна достала из сумочки

сигареты, зажигалку и, не спросивши разрешения — очень милая и характерная для нее подробность,— закурила.— Сергей Афанасьевич мне как-то говорил о том, что вы занимаетесь проблемами биологической несовместимости...

Ах, вот что! И это все? Проблемы несовместимости касались каких-то ее занятий. С другого боку. Ольга Васильевна кое-что рассказала. Та расспрашивала про Андрея Ивановича, которого знала по университету. Потом заговорила о своей работе, об экстрасенсорном восприятии, о всякого рода пробах, испытаниях и мишенях, о тысячах опытов, которые проделаны там-то и там-то, и о том, что мы, к сожалению, отстали и должны догонять. Вы, как биолог, изучающий проблемы связи и биологической несовместимости, должны постоянно сталкиваться... А летучие мыши с их локатором? А рыбы? Согласитесь, нет оснований отрицать особые, экстрасенсорные связи и в структуре... Не хотелось с нею спорить, но все же слабым голосом и слегка задыхаясь: в парапсихологии слишком много обмана. Ни в одной науке, если это считать наукой, не было такого количества жуликов. А как вы думаете, отчего? Да оттого, Ольга Васильевна, что люди находятся в постоянном самообольщении: будто все уже познано.

Ольга Васильевна сказала:

— Если говорить о несовместимости... Загадки аллергии... Вы знаете, что есть люди, которые болезненно реагируют на присутствие определенного человека: начинается кашель, они задыхаются...

— О да! Разумеется! Так вот: каков механизм?

Ольга Васильевна отвечала что-то, глядя на смуглый кавказский лобик, и думала: они хотят докопаться до всего, обнаружить структуру, найти средства связи, передающие ненависть, ревность, страх. И любовь. А если средства будут найдены — тогда управлять? Кто-то открыл дверь, хотел войти. Дарья Мамедовна произнесла строго «Закройте!» — и дверь закрылась.

— Дарья Мамедовна, я вас хочу... об одном....— вдруг проговорила Ольга Васильевна жалким, прыгающим голосом.— Пусть уж Сергей Афанасьевич не увлекается так всем этим очень интересным... Понимаете, он ведь немолод, не очень здоров, у него есть дела, есть обязанности...

Дарья Мамедовна странно ширила черные, в синева-

тых белках глаза, и голова ее все более кренилась к правому плечу.

— О чем вы? Я не понимаю.

— Да о том, Дарья Мамедовна, что он погибает... Погибает, все остановилось, диссертация не пишется...

— Голубушка моя, да что ж можно сделать? Диссертация не пишется? — Она вдруг засмеялась.— Ну и хорошо, что не пишется... Ей-богу, не обижайтесь, Ольга Васильевна... Я вообще не люблю — нет, неправда, не то что не люблю, а жалею филологов, всех этих литераторов, историков, пишущую братию, которые вынуждены болтать, болтать, ничего, кроме болтовни. Я их жалею, бедных. Ну что за чепуха — вот уж поистине чепуха,— которой он занимается всю жизнь: состав секретных сотрудников московской охранки. Кому это нужно? Я смеялась, когда он рассказывал о своих, знаете ли, открытиях в этом микрокосме, и с таким увлечением...

В соседней комнате раздался взрыв хохота, кто-то стучал кулаком в стену и крикнул:

— Нигматова, идите сюда!

— И в это время, когда решаются судьбы... Когда шекспировский вопрос...

Потом неожиданно она рассказала о том, как началась ее парапсихология. Несколько лет назад ее муж, художник Нигматов, погиб в самолетной катастрофе. Той ночью она видела во сне его лицо, искаженное ужасом.

Было рассказано совершенно бесстрастно, просто как один из фактов экстрасенсорной, телепатической связи. И Ольга Васильевна не испытала никакой жалости к Дарье Мамедовне. Она подумала: если он влюблен в эту женщину, тогда он глубоко несчастен.

Было поздно, дома ждала Иринка, которой она что-то обещала в тот день, поэтому, как только в комнату вошел Сережа, она сказала, что надо ехать домой, и встала. Он быстро и зорко оглядел обеих и, как видно, остался доволен, потому что ответил спокойно:

— Поехали.

Обычно приходилось вытаскивать из гостей трактором.

Когда вышли на улицу, он сказал, что всех заинтриговало: о чем так долго они беседовали с Дарьей Мамедовной?

— На нее не похоже, она не любит болтать. Значит, ты ей понравилась.

— Да. Я ей понравилась,— сказала Ольга Васильевна.— Разговаривали о тебе. А тебя она жалеет.

— Меня? Жалеет? Пожалуйста, пускай. Есть за что.

— Она считает, что ты занимаешься чепухой.

— Да что ты! — Он засмеялся и подмигнул лукаво, как человек, которого не проведешь.

И все-таки она испытывала облегчение.

А через несколько дней все пошло сначала — уходил, пропадал, жил неведомой жизнью, и она мучилась.

В раннем детстве Иринки, когда ей было лет семь или восемь, с нею происходили странные вещи. Вставала ночью и ходила во сне сомнамбулой, натыкаясь на вещи, а как-то на Шаболовке напугала гостей, появившись в дверях, как маленькое привидение, в белой рубашке, и, подойдя к столу — лицо спящее, глаза закрыты,— сказала, протягивая пустую руку: «Хотите мою цыганку?» Была любимая кукла, цыганка. Потом это случалось с нею все реже, а лет с десяти прекратилось совсем. Сережа вспомнил об Иринкиных странностях и решил, что она, может быть, как раз относится к тем сенситивным натурам, которые он искал для своего хобби. Он увлекся парапсихологическими опытами не на шутку. Извел всех в доме, пытаясь угадывать, что они думают или намерены сделать, и стараясь внушить им свою волю. Воля, разумеется, была на первых порах пустяковая: принести коробок спичек или погасить свет в коридоре. Иногда внезапно радостно восклицал:

— Браво! Наконец-то! Полчаса индуцировал тебя, чтобы закрыла форточку...

А иногда столь же неожиданно огорчался, досадовал и даже позволял себе обидные замечания:

— Нет, мать, все-таки ты толстокожая, тебя не прошибешь. Я ей внушаю-внушаю, а она хоть бы хны...

Все это было веселым мальчишеством, напоминало игру любознательных школьников из кружка «Занимательная психология», и Ольга Васильевна могла бы так и относиться к этому, полушутя и полуодобрительно, ибо Сережа как-то ожил, взбодрился, тонус жизни его заметно повысился и на лице заиграл румянец, что означало пользу нового увлечения, но ведь все хорошо в меру. Тут игра перерастала в нечто большее. И Ольга Васильевна с тревогой улавливала намеки на то, что это, мол, все подходы, поиски метода и что, когда он немного освободится, он займется психологией и парапсихологией

вплотную. Она сказала, что это звучит довольно наивно, все равно что сказать, что собираешься заняться физикой и метафизикой.

— Ты не боишься превратиться в чеховского ученого соседа?

Он посмотрел на нее рассеянно:

— Ты шути осторожней. Это сейчас единственное, что меня интересует в жизни.

После такой фразы что оставалось делать? Она перестала шутить. И стала ждать, что будет. Все-таки ей казалось, что наваждение кончится.

Боже мой, тут крылась ошибка! Нельзя было ждать. Нельзя было не бороться, отдавать его в полную власть этой Дарьи и гоп-компании. Какая блаженная дура! Ведь было очевидно, что он отходит, отплывает, как корабль от пристани, подняв все паруса и флаги, а она продолжала чего-то ждать, на что-то надеяться. Она не понимала, что он находится на переломе судьбы. Главной мукою было непонимание. Однажды вздумала действовать энергично, будто ничего не случилось, будто между ними не воздвиглось проклятого хобби: не спросивши, купила билеты на какой-то дефицитный фильм, на который рвалась тогда вся Москва. Он сказал, что как раз в десять он занят. Чем же занят? Уходит? Нет, будет дома. Но с десяти он занят.

Было очень обидно, но допытываться не стала, пошла одна, смирив гордость. Не смогла вынести в кинотеатре четверти часа и побежала домой. Неужели вдобавок ко всему стал лгать? Было чувство бессилия: ведь если обманывает, то лишь оттого, что запутался, затормошился окончательно — раньше никогда не обманывал,— а она не может помочь. Нет большей муки, чем непонимание и невозможность помочь! Но когда примчалась домой, увидела: действительно занят.

Сидел в комнате, запершись, хмуро-сосредоточенный, и раскладывал карты Зенера. Эти свои парапсихологические, с квадратами, звездами. Оказывается, у них с Дарьей Мамедовной был назначен на десять вечера сеанс: та в качестве перцепиента, то есть отгадчика, находилась в Болшеве, в доме отдыха киношников.

Этими картами он совсем заморочил Иринку. Первое время говорил, что у нее большие способности, приходится изумляться, процент попаданий значительно выше вероятностного.

— Ты можешь стать мировой знаменитостью! Я не шучу. Тебя будут приглашать за границу, а мы с мамочкой будем ездить с тобой.

Такими сказками хотел увлечь ее и задобрить, потому что вскоре ей стало, конечно, надоедать. И отгадывала она все хуже и хуже. Он нервничал, сердился. Таких высоких очков, как в первые дни, она не получала больше никогда.

— Думай серьезней! Сосредоточься! — говорил он, раздражаясь.— Что с тобой происходит?

Терпения у него не хватало и раньше, когда он пытался помогать Иринке с уроками. Всегда его репетиторство кончалось ссорой. И тут было то же самое. Иринка однажды разревелась. Бабушка ударила кулаком:

— Ну, довольно! Не могу видеть, как ты калечишь ребенка! Сам сходи с ума как хочешь, мракобесничай, ты взрослый человек и за себя ответишь, а Иру оставь в покое...

Они стали спорить. Как всегда, спорили негромко и не грубо, но как-то крайне ядовито и, вероятно, болезненно друг для друга. Александру Прокофьевну еще подогревала, вероятно, память о диспутах Луначарского с митрополитом Введенским.

— Если допустить хоть на секунду существование загробного мира и высшей силы, то есть бога...

— Я этого не говорил. Не передергивай по своей адвокатской привычке.

— Что же это, как не агностицизм?

— А по-твоему, паровоз дошел до последней станции? И дальше пути нет?

— Твой путь, Сергей, ведет не вперед, а назад, во тьму средневековья. Только не понимаю: зачем двойная жизнь? Будь уж последовательным. Надень рясу, прими схиму, уйди куда-нибудь в пещеры или в заброшенные каменоломни — по Павелецкой дороге, кстати, недалеко от Москвы, есть старые каменоломни,— сиди там и созерцай собственный пуп, как тибетский монах. Питайся акридами. Жена будет привозить тебе акрид из зоомагазина... (Надо сказать, старуха иногда блистала злым юмором. Кроме того, ей никак не хотелось верить в то, что во всем этом безобразии виноват он один, без Ольги Васильевны.) Но тебя это не устраивает: ты не уходишь из института, получаешь там зарплату...

— Может, и уйду. Кстати, ты кинула неплохую идей-

ку. Вот если будет создана, как обещают, лаборатория экстрасенсорной связи при одном институте, я бы с наслаждением туда ушел.

Все это говорилось пока что в пылу спора. И для того, чтобы подразнить. Он опять стал говорить, что его интересует наука, и только наука. В этом мире слишком много странностей. Антивещество, квазары, загадочные частицы, не обладающие ни массой покоя, ни зарядом,— почему нельзя предположить, что существуют неизвестные науке, сверхчувственные средства связи?

— Сережа, я с ужасом вижу, что в твоей голове за сорок лет образовалась невероятная каша...

— Зато ты, мамочка, за это время осталась совершенно нетронутой. Своего рода достижение.

— И горжусь этим! Я не думаю о смерти, как другие старухи. Да, я знаю, что с последним вздохом я исчезну из этого мира бесследно — и все тут. Не о чем говорить.

— Да, да, не о чем говорить...— бормотал Сережа, кивая.— Какая ясность, как здорово... И то же касается смерти твоих близких? Они тоже исчезнут совершенно бесследно?

— Я надеюсь, что мои близкие, кого судьба еще оставила мне, не уйдут раньше. Но если такая несправедливость, не дай бог, случится, мои близкие не уйдут для меня — я повторяю, для меня! — совершенно бесследно. Они останутся вот здесь.— Она пошлепала ладонью по тому месту в середине груди, куда ставила в минуты сердечной слабости горчичники.

А Ольга Васильевна не могла выносить такие разговоры. Она знала только одно: не может помочь. И это приводило в отчаянье. Когда через некоторое время зашла в комнату, увидела, что Сережа один.

Он стоял в нерешительной позе, полуобернувшись к окну — то ли собираясь отойти от окна, то ли шагнуть к нему,— и смотрел на двор, вниз. Было похоже, что он о чем-то с громадным напряжением думает. Ольга Васильевна увидела его согбенную спину, опавшие плечи и седину в поредевших волосах. Вдруг показалось, что стоит старичок.

— Мой старичок....— сказала она тихо, подойдя к нему и обняв.

Он не повернулся, не отозвался, продолжая стоять и смотреть на двор, вниз. Лето неслось. Она маялась. Мать гасла в одиночестве на Сущевской. Первое лето, когда

не сняли дачу. И это был эскиз будущего бездомья. У Фаины глаза стали круглые и сверкающие от сладострастного любопытства, она жалела Ольгу Васильевну, жалела изо всех сил, даже стонала от жалости: «Я пойду в профком научных работников! Я покажу этой Дарье, как морочить женатых мужчин!» Голос ее дрожал от гнева. Нет больше сласти, чем сострадать любимой подруге. Слава богу, никуда не пошла. Но рассказала Маре. И все заколыхалось и стало расти, как волшебное дерево, управляемое факиром, на глазах. Она не знала подробностей до того дня, пока не поехали в лес за грибами. Знала одно: он подал заявление об уходе.

Вдруг показалось, что так будет лучше для него.

Осенью, в еще теплом и лиственном октябре,— все кончилось, кроме тепла, кроме грибов, кроме леса,— поехали автобусом в четыре утра от института. Почти вся лаборатория Ольги Васильевны. Он сидел рядом, положив голову ей на плечо, и спал. Было такое наслаждение ощущать тяжесть его головы. Ей хотелось, чтоб все сидели тихо и он бы спал. Желала этого всею силою воли. Серое, дымное, бежало за окном Подмосковье, сначала развороты глины, грязно-меловые блочные горы новостроек, потом поля водянистой зелени, березы, осины, потом ели, дорога ныряла, опять белыми горами среди елей возникали новостройки, редкий дождь пластами лип к стеклу, вдруг пропадал. Когда вышли из автобуса на пятьдесят втором километре, за Пахрой, дождь прекратился. В лесу было мокро. Пахло отсыревшей, усталой травой. Земля под елями, бестравная, усыпанная бурой хвоей, казалась пухлой и темной. Грибов было мало. Все люди куда-то рассеялись. Он сказал: если бы он осудил себя за всю эту чепуховину со стаканчиком, ужалил бы себя, как скорпион, собственным хвостом, они бы все равно не отстали. Климук теперь замдиректора, спихнул с кресла Кисловского, а на его месте Шарипов. Этот Шарипов, двадцать восемь лет, железный малыш, он уже и кандидат, и автор каких-то книг, провел дело недрогнувшей рукой. Что ж, ему разве трудно? Он с Сережей не ел, не пил, впервые столкнулись тогда на лестнице, когда спросил, остановившись на секунду, быстрым приятельским говорком: «Простите, Сергей Афанасьевич, это верно, что вы посещаете спиритические сеансы?» Сережа ответил так же легко, мимоходно: да, посещал прошлой зимой просто из любопытства, а кроме

того, искал людей, обладающих сенситивностью. Ведь он увлечен парапсихологическими опытами. Это очень интересно. Парапсихология, безусловно, наука будущего. Шарипов слушал, сочувственно улыбаясь. Эти железные малыши умеют быстро бегать по лестницам, задавать стремительные вопросы и сочувственно улыбаться. Климук стоял в стороне от дела. Он не стал подписывать заявления, хотя мог бы это сделать — директор был в Болгарии,— и, пригласив Сережу, для видимости отговаривал его и даже пробормотал совершенно нелепые, показавшиеся чудовищными слова: «Как Ольга? Позвоните когда-нибудь...» — на что Сережа, засмеявшись, спросил: «Ты шутишь?» Но нет, ничего ужасного не произошло, ничего не случилось, он рад всему этому, потому что надо начинать другую жизнь. Черт возьми, так мало времени остается для другой жизни. Надо наконец начинать. Что начинать? Делать то, что волнует воистину. У каждого человека должно быть то, что волнует воистину. Но надо до этого доползти, докарабкаться.

Мы удивляемся: отчего не понимаем друг друга? отчего не понимают нас? Все зло отсюда, кажется нам. О, если бы нас понимали! Не было бы ссор, войн... Парапсихология — мечтательная попытка проникнуть в другого, отдать себя другому, исцелиться пониманием, эта песня безумно долга... Но куда же мы, бедные, рвемся понять других, когда не можем понять себя? Понять себя, боже мой, для начала! Нет, не хватает сил, не хватает времени или, может быть, недостает ума, мужества... Вот она, к примеру, биохимик, заведует лабораторией, на хорошем счету, получает премии и прибавки к зарплате, но истинное ее предназначение здесь ли? Сама говорила: как жалею, что не пошла в прикладное искусство! Так люблю что-то делать руками, лепить, вырезать. А он не говорил разве, что история — это магическое зеркало, по которому можно угадывать будущее, и он готов всю жизнь изучать его, вглядываться в него... Говорил, говорил! И так ощущал, так думал. Но, может, тут действовала совсем иная, потаенная тяга: изучать, чтоб угадывать... Потому что теперь ему кажется, что все эти подробности подробностей, эти крохи, сметенные со стола каких-то давних пиров, которые он вылавливает со дна колодца, не нужны никому, кроме пяти или шести человек в целом свете... Если думать о себе, которому эти хитроумнейшие и ничтожные уловы нужнее всего,

тогда, может быть, есть смысл продолжать закидывать свои крючочки, но так скучно думать о себе. Однажды становится дико скучно. И вдруг сверкнет как догадка, как слабая заря за стволами — другая жизнь...

У нее сжималось сердце, было страшно. Откуда, бог ты мой, возьмется другая жизнь? Переехать из дома в дом? Купить новый портфель? Начать ходить вместо той конторы в эту? Ведь, в сущности, повсюду одно и то же. Он ответил: э, нет! Так рассуждать — это все равно что говорить, будто все женщины одинаковы. Но ведь ужас прожить век с женщиной, которая не мила. Большинство так живет, впрочем. Он говорил спокойно, как о чем-то постороннем и совершенно чужом для них, но все равно было страшно. В разговорах они прошли далеко в глубь леса, забыв о грибах. Да грибов и не было. Встретилась женщина с полупустым ведром, где белели волнушки. Стали спрашивать: неужто такие грибы едят? Женщина объясняла охотно, как вываривать, отвар сливать, а еще лучше вымачивать в воде с уксусом. Рассказавши, женщина исчезла. Забыли спросить, как идти в сторону шоссе. Осины и березняк редели, пошел ельник, густой и тяжелый от влаги, здесь совсем ничего не находилось, и они торопились продраться сквозь хвойную чащу, потому что где-то впереди брезжила светлота, там мерещились прогалы, поляны. Там начиналась другая жизнь. Сидели на пнях, он устал, лицо было серое и дышал тяжело, потом шли дальше — сырость в бору давила, от валежника, овражных низин тянуло гнилью,— местами залезали в черную топь, шли и шли, разговаривая, светлота манила, облачный день яснел, но ни просек, ни полян не открывалось за стволами. Она уже знала, что заблудились. Вдруг возникла Иринка, шла рядом, Ольга Васильевна крепко сжимала холодную ладошку. Иринка была маленькая, лет двенадцати. Надо было непременно спросить у Сережи что-то мучающее, что касалось только их двоих, Иринка мешала. Но потом она отошла куда-то, и Ольга Васильевна спросила про Дарью Мамедовну. Правда ли? Ее мучило одно: правда ли? Он засмеялся и сказал, что неправда. Тогда она спросила: «А те деньги, которые ты брал в кассе взаимопомощи? Пришли после смерти и требуют деньги назад. На что ты потратил их? Только говори честно, нас никто не услышит, мы в лесу». Он сказал: «Я не потратил. Просто давал людям, а они не возвращали». Это было

так несуразно и так на него похоже! Он называл имена. Какие-то незнакомые имена. Но все равно она мгновенно и глубоко поверила его словам. Она подумала: как мне жить в этом лесу одной? Надо было скорей бежать, они опаздывали, автобус ждал на шоссе, но неизвестно, где шоссе и куда бежать. Однако бежали — прямиком, через овраги, сквозь ржавый еловый сухостой, обдирая лицо и руки. Наконец появился забор. Глухой и высокий, выкрашенный темно-зеленой краской, они увидели его внезапно, когда подошли вплотную. Что там, за забором? Ничего не слышно, не видно. Растут такие же ели, как в лесу. Пошли вдоль забора по не очень ясной тропинке — хожено тут было мало — и чем дальше шли, тем меньше оставалось надежды. Перед воротами на скамейке сидели четверо мужчин и одна женщина. Среди мужчин был один громадный, рыхлый, с большим вздутым лбом и свиными глазками, с тем выражением добродушной тупости на лице, какое бывает у больных болезнью Дауна. Был еще какой-то старик, который все время качал головой, и были двое средних лет, один бородатый, с мрачным угольным взором, и другой, малорослый, с плоским несчастным лицом, он болтал короткими ножками, не достававшими до земли. Все четверо молчали, а женщина в сером больничном халате читала газету. Ольга Васильевна спросила, как пройти до шоссе. Эти люди не знали. Громадный человек, больной болезнью Дауна, сказал, что здесь нет шоссе. Сережа стал сердиться и доказывать, что шоссе есть, они приехали на автобусе и автобус ждет на шоссе. Нет, сказали они, автобус сюда не ходит и шоссе нет. Сережа горячился. «Не спорьте с ними,— сказала женщина, отложив газету.— Они не знают. Идемте, я вас провожу». Когда они отошли на некоторое расстояние от мужчин, оставшихся сидеть на скамейке, женщина сказала: «Это больные. Они не знают, где шоссе».

Женщина вела их лесом, без дороги. Наверное, это был короткий путь. Ольга Васильевна сжимала руку Иринки. «Вы нас извините,— говорила она женщине.— Мы опаздываем. Автобус ждет нас на шоссе».— «Я понимаю,— отвечала женщина.— Поэтому веду вас самым коротким путем». Густели сумерки. Стало темно. Незаметно истаял день. Надо было зачем-то спускаться по крутому склону, поросшему елями, затем опять углубились в чащу. «Скоро, скоро»,— говорила женщина. Не

было сил идти. Они очень устали. Вдруг женщина сказала: «Вот здесь».

Они стояли перед маленьким лесным болотцем. «Что это?» — спросила Ольга Васильевна. «Это шоссе,— сказала женщина.— Вон стоит ваш автобус». Она протягивала руку, показывая на заросли осоки на противоположной стороне болотца. Ольга Васильевна почувствовала, как немеет, застывает, охваченная мгновенной, как молния, ледяной истомой. И тут треск врубился в сознание. Через миг принеслась весть из другого мира: вставать...

Будильник звонил в семь. Вырывал из вязкого, опустошающего забытья. И так продолжалось много дней, похожих один на другой, хотя временами было солнечно, а то шел дождь или снег, но однажды она проснулась раньше будильника и, босая, подошла к окну, откинула занавеску и посмотрела в сторону парка: там над деревьями, над зубчатым, из крыш и труб, темным окоемом выкатывался в слабо светящееся небо красный шар солнца. Она распахнула форточку. Ветер, летевший со стороны парка, обнял ее усталую кожу, и грудь напряглась от холода. Босыми ногами она почувствовала, как дрожит пол от неясного подземного гула.

Если бывало часа три свободного времени, они уезжали гулять в Спасское-Лыково: троллейбусом до конечной остановки, там немного пройти и затем полчаса речным трамвайчиком. Село стояло на высоких холмах, поросших сосновым бором. Москва давно уже подступила со всех сторон к этому древнему полудеревенскому-полудачному уголку, обтекла его, устремилась дальше на запад, но почему-то не поглотила его совсем: сосны бора стояли, заливной луг зеленел, и высоко на холме над рекою поверх сосен плыла стоймя колокольня старой спасско-лыковской церкви, видная издалека отовсюду. Спустившись с дощатого причала на тропу, которая вилась вдоль берега, они шли и шли, разговаривая, дыша речным воздухом, обходя рыболовов и с неприязнью поглядывая на маленькие автомобильчики, неведомо как прорвавшиеся сюда, хотя проезжей дороги к берегу не было, и стоявшие, загораживая тропу, у самой воды. Тут находилось их убежище, их берег, их трава. Все остальные, очутившиеся тут, были пришельцами, чужаками.

В Москве места не было. Слишком много людей знали его и ее. Никто из этих людей, приятелей и знакомых, не мог ничего понять. И она не понимала, и удивлялась, и стыдилась себя: так внезапно и быстро наступила другая жизнь! Когда-то мечтали о другой жизни, мыкались и рвались достичь. Но достичь невозможно, это приходит само. У него были слабые легкие, он простужался, болел. И всегда болел тяжело, маленькая простуда длилась долго, потому что организм у него был особенный, не принимал антибиотиков, он жил как в девятнадцатом веке — лечился малиной, чаем. И она мучилась оттого, что он болел вдали. Казалось, что люди, которые окружали его, не могли помочь ему, как нужно. Шли тропою по глинистому склону, она рассказывала о новостях на работе, об опытах, термостатах, рассказывала про Иринку, которая собиралась замуж, и не стеснялась говорить про нее сокровенное, а он тоже рассказывал обо всяких делах, неурядицах на службе, о людях, которые ему подчинялись, советовался с нею, но о доме говорил неохотно. И она понимала его.

Однажды взобрались на колокольню спасско-лыковской церкви. Взбираться было тяжело, он раза два останавливался на каменной лестнице, отдыхал, а когда взошли на самую верхнюю площадку, под колокол, сильно стучало сердце, и они оба приняли валидол. Но они увидели: Москва уходила в сумрак, светились и пропадали башни, исчезали огни, все там синело, сливалось, как в памяти, но если напрячь зрение, она могла разглядеть высотную пластину Гидропроекта недалеко от своего дома, а он мог отыскать туманный колпак небоскреба на площади Восстания, рядом с которым жил. Наверху был ветер, вдруг ударило резким порывом. Она потянулась к нему, чтоб заслонить, спасти, он ее обнял. И она подумала, что вины ее нет. Вины ее нет, потому что другая жизнь была вокруг, была неисчерпаема, как этот холодный простор, как этот город без края, меркнущий в ожидании вечера.

1975

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Валентинович Трифонов

СТАРИК

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

М., «Советский писатель», 1980, 352 стр.
План выпуска 1981 г. № 134

Редактор М. В. Иванова
Худож. редактор В. В. Медведев
Техн. редактор Г. В Климушкина
Корректор А. В. Полякова

ИБ № 2751

Сдано в набор 30.06.80. Подписано к печати 21 11.80. А 14319. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать Усл. печ. л 18,48. Уч.-изд. л. 20,1. Тираж 200 000 экз. Заказ № 629 Цена 1 р. 60 коп Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109

